

МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД

1972

повести·рассказы·стихи·рецензии

МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД 1972

**МОЛОДОЙ
ЛЕНИНГРАД
1972**



*Литературно-
художественный
альманах
молодых
писателей*

МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД 1972

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1972

Главный редактор

Арк. Минчковский

Редакционная коллегия

М. Глинка

Г. Горышин

А. Ельянов (составитель)

В. Кузнецов

В. Максимов

В. Суслов

Л. Щипахина



Алексей

Полишкарров

У ПАМЯТНИКА ПОД ХЕРСОНОМ

*Под копытами, под копытами —
Ливни рыжие на полях.
Болью, кровью и потом пропитанный,
Словно бинт, протянулся шлях.*

*В день сегодняшней бег отчаянный
Из тех лет с ураганным ура. . .
И, наверное, не случайно
Здесь над житом шумят ветра.*

*О тачанка, ты — времени вежа,
Словно миг легендарных былин!
И гремит революции эхо
В проводах и моторах машин.*

ЛАДОГА

*Летом голубая и зеленая,
Ты, как слово доброе, светла!
Над тобою тишина студеная,
Как молчащие колокола.*

*Да, была ты мужества проверкой
И «Дорогой жизни» в Ленинград. . .
Дремлет обезглавленная церковь,
Что ни камень — ладожский булат.*

*И, родная Волхову и Волге,
Смыла кровь уже давно волна. . .
И не думать о солдатском долге
Не могу, хоть нынче не война.*

* * *

*По Неве голубая прохлада
Подплыла к берегам незаметно,
За оградю Летнего сада
Засыпает нежаркое лето. . .*

*И наступит пора листопада,
А потом. . .
Не узнаешь —
Все это
Станет белым на белом рассвете,
Но, как прежде, душа будет рада,
Словно между тобою и летом
Только Летнего сада ограда.*

* * *

*Расскажи, по какой из дорог,
По какой из тропинок и просек
Ты явилась ко мне на порог,
Ленинградская русая осень?*

*И в октябрьской глухой тишине
Травы росные клонятся низко,*

*И в окно ты бросаешь ко мне
Золотые свои записки.*

*Отвечать я не стану на них,
Пусть летят и летят без ответа.
Соберу их, и станут они
Ненаписанной книгою лета.*

** * **

*За антеннами, за водопоем
Лег закат золотой полосой,
И на небо, на звездное поле,
Вышел месяц — мальчишка босой.*

*Мой товарищ заоблачный, месяц,
Вот и снова припомнилось мне,
Как с тобою ходили мы вместе —
Ты по небу, а я по стерне.*

*И не знаешь, как трудно и больно
Босиком через лето идти.
Украинское отчее поле,
Ты со мной и всегда впереди.*

*С поля этого Родина наша,
Разоренная долгой войной,
Нас кормила перловой кашей,
Нас, подростков державы степной.*

*Согревала в метель-завируху,
Хоть самой не хватало тепла,
Не хватало и хлеба краюхи —
Дать нам лишний кусок не могла.*

*Слава хатам и слава долинам,
От которых уже поотвык. . .
Ты прости меня, мать Украина,
Что я твой забываю язык.*

Галина

Христофорова

Такая долгая осень

ПОВЕСТЬ

Про себя

Всю жизнь я куда-то тороплюсь. Бегу, возвращаюсь и опаздываю. Все дела, которые я не успела, не смогла или не захотела сделать, остаются где-то там, в той жизни, которую я оставляю. И все кажется, что вот уж сейчас, когда я приеду, — все будет иначе. Я сделаю все. Обязательно сделаю все. И как надо. Я даже знаю — как надо. И как это будет здорово. Я так себе ясно представляю это, что меня даже дрожь пробирает от нетерпения: скорее, скорее — приехать, узнать, сделать.

И ничего не получается.

Это как болезнь. Я всегда опаздываю. И всегда все делаю не так. Вот ведь даже сейчас — я чуть не опоздала на этот поезд. Кажется, чего проще — приехать на вокзал на пятнадцать минут раньше. Так нет же. Я все бегала по сво-

им командировочным делам, хотя знала, что за один день их все равно не сделать и беготня эта бесполезна.

Наконец я устала и опомнилась. Москва от меня никуда не уйдет, а впереди еще суббота и воскресенье, и я могу съездить навестить своих стариков. И я помчалась на вокзал. И, конечно, в последнюю минуту вскочила в вагон. Хорошо, какая-то тетка подсказала мне, где стоит поезд «Москва — Ленинград».

И вот я опять еду. Пассажиры уже освоили свои сидячие места и после всей этой прощальной суеты умиротворенно смотрят в окно. Мое место у прохода. А у окна — пусто. Я огляделась, пересела и от нечего делать тоже стала смотреть на блестящие змейки путей. То скрещиваются, то расходятся, и бегут, бегут, будто боятся опоздать. Вот уж и пригороды смешались с лесом. Промелькнули в темной осенней листве пятнами шиферных крыш.

Солнце светлой полосой скользнуло по вагону, перешло на другую сторону и скрылось за поворотом дороги. Прогрехотали пролеты моста над когда-то широкой, а теперь обмелевшей за лето речкой. На берегу ее, далеко от воды, валялась старая лодка. Над ней желтым островком возвышалась, качаясь на ветру, сухая осока.

Не люблю я поездов. В поезде мне всегда кажется, что я уезжаю куда-то насовсем, а будущее, которое приближается, таит в себе неизвестность. И эта неизвестность настораживает. То ли дело — самолетом. Решил, сел, прилетел. Никаких размышлений: правильно, неправильно.

Впрочем, сейчас-то мне что беспокоиться? Сейчас у меня все в порядке. После двух лет работы в Сибири, куда старикам моим не добраться, я еду навестить их. То-то рады будут. А в Москве все еще впереди. И все дела будут сделаны.

Пришел парень в голубом свитере. Оказывается, сосед. Я отодвинулась подальше — не хотелось разговаривать. Почему-то в поезде все быстро знакомятся и торопятся излить свою душу, как будто всю жизнь только этого и ждали.

За окном тянулись тронутые осенью поля и березы. А у нас в Сибири, наверное, выпал первый снег. Я говорю «у нас», как будто всю жизнь жила там и еду не домой, а в гости. До чего же быстро привыкаешь к месту. Люди снимают легкие плащи и надевают теплые пальто и шапки. С Байкала все чаще дует северный ветер, как бы пробуя свои силы перед зимой и проверяя людей: готовы ли.

Парень рядом молчит и дышит ровно, будто во сне. Я послушала его дыхание и осторожно повернула голову в его сторону. Нет, не спит. Потирая висок, смотрит куда-то мимо. Никогда не узнаешь трех вещей: о чем думает ребенок, который еще не умеет говорить, умирающий, который не может говорить, и незнакомый, который не хочет говорить. Вот о чем думает этот парень, у которого так смешно дрожит холок на затылке? Хотя что мне до него? Молчит — и хорошо.

Поезд покачивается на поворотах знакомой дороги и делает свою привычную работу: везет пассажиров.

Так мы и едем: все вместе и каждый сам по себе.

На станции Вологое я купила миску вареной картошки, соленый огурец и сигареты. Когда поезд тронулся, я достала из сумки хлеб и колбасу. Соседа все не было, и я вдруг подумала с беспокойством: уж не отстал ли этот парень? Но он вскоре пришел и, нерешительно улыбнувшись, протянул мне мороженое.

Так я и познакомилась с ним. С Борисом. С парнем, который многое перетряс в моей жизни. Но пока я этого ничего не знала, и смотрела на него как и на всех других людей. Нет, он был ничего, этот парень, это мне стало ясно сразу. Он не изливал мне свою душу, и это меня обрадовало. Он вообще не говорил о себе. Случайно выронил из сумки смешного верблюжонка и смутился: сыну. И сразу как-то замкнулся. Я поняла, что это место лучше не трогать, и промолчала. Зато как он говорил о своей работе! Он возвращался тоже из командировки. Доставал в Москве какие-то необыкновенные линзы для своего прибора. Какие-то там лазеры, я, честно говоря, ничего не смыслю в этом деле. Но он с таким азартом стал рассказывать мне про свой прибор, что я даже попросила его изобразить эту штуку на бумаге. Все-таки с чертежами оно как-то легче, смотришь, и будто все понятно.

Завидую я таким людям. Завидую я людям, которые увлеченно говорят о своей работе. Вернее, не только говорят. Говорить-то можно сколько угодно, это я по себе знаю. А тем завидую, кто действительно увлечен работой. Из чего состоит жизнь человека? Из работы и домашней личной жизни. Домашняя личная жизнь может быть счастливой и несчастливой. Если она счастливая, то для полноты счастья человеку нужна любимая работа. Ибо нелюбимая — будет отравлять его домашнюю половину жизни, и никакого

полного счастья ему уже не видеть. Ну, а если она несчастливая, эта личная половина, тогда уж тем более любимая работа должна восполнить недостаток счастья. Если этого не произойдет — человек кругом будет несчастен. А это совсем грустно. В общем, как ни крути, а любимая работа позарез нужна человеку. Почему я завидую таким людям, как Борис? Потому что мне они не часто встречаются. Вот взять наш класс. Тридцать человек. Кем только не мечтали стать: и летчиками, и врачами, и учителями. И бутылку закапывали в саду перед школой. И день свиданий назначали. Прошло десять лет. И что вышло? В первый год пришли почти все. Такие радостные, уже повзрослевшие — все-таки самостоятельная жизнь, без уроков и дневников, — полные всяческих надежд и планов. Кто уже поступил в институт, а кто работает, но обязательно собирается куда-нибудь поступить. Потом приходило все меньше и меньше. А потом стало так: встретишь одноклассника, кажется обрадуешься как родному, а говорить не знаешь о чем. Переберешь — кого видел? «Ну как ты?» — спросишь. «Да так, ничего». — «Кончил институт?» — «Да» (или «Нет»). — «Как работа?» — «Да так, ничего». И разошлись. И стыдно чего-то.

Нет, не скажу, что у нас вообще ничего не вышло. Нормальный выпуск, нормальные ребята. Есть и учителя, и врачи есть, и даже летчик, почти все женаты, детьми обзавелись — все как надо. Но не все из нас по-настоящему увлечены своим делом.

А почему я, собственно, завидую Борису? Или мне тоже нечего сказать о своем деле? Когда мне приходят такие мысли в голову, я себя быстренько одергиваю: ты разве чем-нибудь недоволен? Институт у тебя кончен? Кончен. Работа? Что работа... Ну, что молчишь-то? Всякое бывало. Ну так и что? А сейчас? Работа интересная. Полезная. Лабораторию кому поручили? Тебе. Своя собственная лаборатория. Об этом мечтать только можно. А ты? Испугалась, что ли? Так что, милая, у тебя все в норме. Полный порядок. И давай жми дальше. Делай свою жизнь собственными руками. И все же...

Наш поезд уже устал. Он стремится скорее закончить свой путь, чтобы отдохнуть где-нибудь в тупичке. Ведь завтра ему снова в дорогу. И он то замедляет ход и делает передышку, то торопливо выстукивает: «Зеленый свет, зеленый свет, дайте мне зеленый свет». И впереди зажигается

зеленый свет, и щелкают стрелки, уступая поезду короткую и прямую дорогу.

Борис дал мне номер телефона, и я обещала ему позвонить.

Мои родители

Плохие родители бывают редко. «Мои родители лучше всех» — так говорят чаще всего. И я тоже так говорю. Мои старики — чудо. Я никогда не задумывалась над этим. Я просто это знала! Но впервые осознала это, когда уехала в Сибирь и, как говорится, вступила в самостоятельную жизнь. Вот тут-то я запела «веселые» песенки. Надо признаться, меня никогда особо не беспокоили всякие там домашние обязанности. Мама скажет: «Сходи в магазин». Пожалуйста, я схожу. Приготовить обед? Отчего же не сделать. Во всяком случае проблемой домашние дела у нас не были. В нашем доме вообще все решалось очень тихо и незаметно: кто может, тот и делает. И я понятия не имела, сколько у человека окажется забот, когда он останется один. Квартира — проблема номер один. Кое-как ее еще можно утрясти. Но потом появляются дрова, вода из колодца, стирка, столовые, что-то надо зашить, что-то надо купить — и прочее до бесконечности. Вот тогда я поняла, что такое мамы заботливые и все успевающие руки. Сколько раз я ревела, когда она присылала мне варежки, носки или десятку, которая всегда оказывалась как раз вовремя. Но это не главное, конечно. Когда прижмет — всему можно научиться очень быстро. Главное — я поняла, как мы нужны друг другу. Я приходила в пустую квартиру и сразу вспоминала: мои старики там одни. И сразу чувствовала себя такой маленькой, беспомощной и одинокой до слез. Мне не хватало моральной поддержки, их совета, их понимания.

Хотя раньше я вроде бы в этом и не нуждалась. Все было как-то само собой. Трудно становится самостоятельной. А надо.

Отец мой — преподаватель физики. Он очень занятой человек, и я его всегда так и представляла — сидящим за письменным столом среди груды книг и конспектов.

В детстве все думали, что я пойду по его стопам. У нас большая библиотека, и все физика, физика. Он никогда не помогал мне решать задачи, заставляя, чтобы сама. Так что я даже действительно полюбила физику и всегда получала за нее пятерки. Но физика из меня не вышло. Потом думали, что я буду художником. Я очень забавно рисовала куклу Машу с ружьем и Медного всадника. Но этим и ограничилось. Спортсмена из меня тоже не получилось. Чем только не занималась. И успехи были, и разряды. А вот чтобы классным спортсменом стать — нет, упрямства не хватало. Наконец, я ударилась в геологию, поступила в Горный институт, потом бросила. Разочаровалась. Тут, наверное, моему доброму, тактичному папе надоело заниматься воспитательной работой, и он махнул рукой: «Будь что будет, не маленькая».

Мама тоже, по-моему, устала от моих поисков места в жизни и теперь только наблюдает со стороны, что же я буду делать дальше. Хотя именно в этом, как мне кажется, она поступает не совсем правильно. Потому что именно она для меня всегда была главным авторитетом.

Моя мама — врач. Она почти не бывает дома, даже в воскресенье.

Больше всего я любила наши загородные прогулки, когда мы могли вдосталь наговориться. Наши разговоры часто кончались спорами. Во мне с детства сидит дух противоречия, хлебом не корми — дай поспорить. Только мамино терпение и способно это выдержать. Отец же просто уходит в сторону, считая наши споры бесполезной тратой времени.

Они пришли на вокзал, и я их уже заметила, а они меня все ищут, ищут, заглядывают в окна. Как отец поседел! Что же это? Милые, милые, родные мои старички! Здравствуйте! Я здесь! Здесь я!

Мой город

Наше такси сделало круг по площади и повернуло на Невский проспект. Отражаясь в мокром после дождя асфальте, убегали под колеса и таяли в дрожащем тумане огни реклам.

Подъехали к Литейному. У Дома кино я успела заглянуть под арку двора, где жили мы раньше. Какой малюсенький пяточок. И как мы только играли там в лапту и даже в футбол! Там, справа, на первом этаже, жила учительница, старушка уже. Мы ей часто били окна. А она приводила нас к себе и угощала яблоками. У нее было очень много кошек. Штук десять. Жива ли она?

Как все знакомо. Вот Аничков мост. Кони на месте, все так же натягивают узду и бьют воздух копытами. А дальше, на Фонтанке — поликлиника, в которую я так любила ходить в детстве. Я очень любила ходить к врачам. И так надоедала маме из-за каждой шишки и царапины, что потом уже мама сама, увидев новый синяк, говорила: «Иди в поликлинику». И я бежала и пропадала там по нескольку часов. А на сердитые выговоры мамы показывала замазанную синькой шишку или забинтованный палец и говорила: «Очередь».

А еще дальше — Публичная библиотека. К ее входу идет подъезд с двух сторон и заканчивается большой площадкой-кубом, с которой я когда-то любила прыгать. Сначала мне казалось, что площадка высоко над землей, и, прыгая, я падала на четвереньки и пачкала руки и колени. А потом я выросла и перестала прыгать с площадки, потому что было уже не интересно, так как земля была совсем рядом.

Мое, мое, все мое! И эти выщербленные спуски к воде, и эти шершавые шарики решетки, и эта набережная. Там, дальше, Михайловский сад и Марсово поле — первые стихи. . . Смешная девчонка. Мой город. Он не помещается во мне, и меня просто распирает от радости и желания все обнять и принять в себя. . .

Промелькнул Казанский собор. В начале Невского, в темноте Александровского сада, блестя тусклым золотом, высятся игла Адмиралтейства. За Невой корпуса Университета. И, наконец, Петроградская сторона. . .

Я положила голову маме на плечо и, кажется, никогда не была так счастлива. Мама улыбается и гладит меня по голове. И тут до меня окончательно доходит, что я действительно дома. Дома. Дома. Дома.

Беды и бедки

Ничего не бывает хорошо бесконечно. Легли мы спать часа в три. А утром не успела я проснуться, как мама уже куда-то исчезла. Не изменилась нисколько. Отец суетится вокруг меня и все пыгается еще что-нибудь дать поесть. Как и раньше. Всегда им казалось, что я голодная.

Прежде всего надо было достать билет на обратную дорогу, и я поехала на вокзал.

Стоял сентябрь. Но в городе было жарко, даже душно, совсем по-летнему.

У нового стеклянного стадиона на Ждановской набережной кучки болельщиков спорили о результатах матча, который еще не начинался. . . Горели факелы на Ростральных колоннах. И все так же лазали ребятишки на гранитных дедах у подножия колонн. На пологом спуске к воде, заканчивающемся большими серыми шарами, сидели рыболовы. Отсюда совсем рядом была Петропавловская крепость и то место, откуда во время салютов стреляют пушки. Все было знакомым и чуть-чуть новым, и от этого становилось немного грустно.

На вокзале мне не повезло. Все билеты на Москву были проданы на три дня вперед. У касс толпились желающие уехать и чего-то ждали, хотя ждать было бесполезно.

В общем-то мне стало ясно, что раз день начался так неудачно — хорошего от него не жди. Так оно и вышло.

Позвонила Борису. Брат у него работает диспетчером на вокзале, и Борис говорил, что в случае чего он поможет. Неудобно очень получилось. Я ведь собиралась позвонить Борису просто так, а вышло как будто я только из-за билета. Пришлось нам с Борисом ехать на залив, к его брату на дачу. Прямо оттуда Борис поехал навестить своего сына, который жил с бабушкой на даче где-то в другом месте. И я возвращалась в город одна. Непонятно, отчего я вдруг разозлилась. Мне вдруг почему-то ужасно не понравилось, что я еду в одну сторону, а он в другую. И я ехала и ругала себя всю дорогу: человек сделал тебе доброе дело — чего тебе еще надо? Но досада все равно не проходила.

Когда поздно вечером я вернулась домой, то еще в прихожей почувствовала запах лекарств и какую-то странную гнетущую тишину.

Не раздеваясь, я прошла в комнату. Мама лежала на кровати, отвернувшись лицом к стене, и прерывисто, с трудом дышала. Отец стоял рядом и как-то жалобно и беззащитно смотрел на меня.

— Мама, мамочка, — я растерялась.

Мама повернула голову и открыла глаза.

— А... — сказала она. — Ничего... Все хорошо уже...

Иди поешь.

Опять поешь! Боже ты мой!

— Мамочка, это из-за меня, да? Ты волновалась? У тебя сердце болит?

— Нет, нет. Иди, маленькая, — мама снова отвернулась к стене. — Все хорошо...

— Не мешай ей, пусть поспит, — сказал отец, весь как-то сморщился и ушел в другую комнату.

Я пошла на кухню, встала у окна.

Второй год продолжались эти приступы. Приезжали машины скорой помощи, врачи выстукивали, осматривали, делали уколы и уезжали. Они говорили: наверное, печень и, возможно, язва. А лекарства, уколы и диета не помогали. Приступы были редкими, но с каждым разом все тяжелее. И когда долго не было писем из дома, я не находила себе места. Потому что отец не любил писать, письма писала всегда мать. Раз нет писем, — значит, с ней что-то случилось. И я посылала телеграммы, и изводилась до тех пор, пока не получала обычный ответ: «Все хорошо, маленькая, все хорошо». И я успокаивалась, хотя в глубине продолжала чувствовать какую-то свою вину и недоверие к своему успокоению.

За окном спал город, спали улицы, дома и люди. В оконном стекле вспыхивал и гас красный огонек сигареты. Как будто кто-то из темноты посылал таинственные предупреждающие сигналы. И в ответ ему у дома напротив, как маяк, мигал белый свет качающегося фонаря.

Я курила одну сигарету за другой, смотрела на мигающие в стекле красные и белые точки, слушала звонкую тишину в квартире, и мне казалось, ночь так крепко обняла всю землю, что никогда не наступит утро. Но утро пришло солнечное и ясное. И мама, еще бледная и осунувшаяся, уже улыбалась и просила есть. Я приготовила ей завтрак, но она отказалась есть в постели.

— Я не больная, — сказала она, поднялась и пошла на кухню, — я хочу вместе с вами.

По записке брата Бориса дежурный диспетчер в пять минут достал мне билет. Правда, только на понедельник. «Ничего, — решила я, — объясню. Поймут же».

Я вышла из здания вокзала и остановилась на ступеньках. Легкий теплый ветерок, играя, ворошил под деревьями опавшие листья. Машины-уборщики мыли привокзальную площадь. У метро и вокзала стояли назначившие свидания, спешили туристы с рюкзаками, хозяйки с сумками.

Я посмотрела по сторонам, на людей озабоченных и беззаботных, вспомнила дачу, залив и вздохнула облегченно и радостно. Потом я вспомнила прозрачные мамины руки в голубых жилках, ее сжатые губы, в ставшей вдруг заметной сеточке морщинок запавшие коричневые веки, и стало горько. Горько оттого, что всюду рядом с радостью ходит боль.

Вечером приехал Борис.

Родители ничего не сказали, только переглянулись. Мы все вместе поужинали. Отец быстро нашел с Борисом общий язык, и они долго вели какой-то серьезный, мудрый разговор, пока мама не перевела беседу в более привычное общее русло. После ужина отец и Борис были уже совсем друзьями. Мы хотели пойти погулять, но отец уже сел на своего любимого конька, вытащил кинопроектор, повесил экран и стал показывать свои фильмы, потом фотографии и так заговорил всех, что опять просидели допоздна.

Борис сказал, что не сможет проводить меня завтра. Я обещала ему писать. А почему бы и нет?

Что трудно

Больше всего не люблю прощания перед дорогой. Особенно последние минуты. Когда ты вся вроде бы едешь, уже в другой жизни, не принадлежишь никому кроме себя. И в то же время вся еще тут, на месте, принадлежишь всему, что именно здесь и сейчас... Какие-то тягучие минуты вне времени.

С отцом я попрощалась дома.

А мама, сколько я ее ни отговаривала, все равно поехала на вокзал.

Мы сидели в купе, и мама уже в который раз давала мне последние наставления. Потом она вдруг вспомнила, что забыли купить лимонад, и забеспокоилась, что мне нечего пить в дороге — поезд-то ночной.

Я выскочила из вагона и на перроне купила в киоске бутылку кефира — лимонада не было.

— Сюда, сюда, — стучала мать в окошко, пока я бежала от киоска, — иди скорее.

По радио объявили, что до отхода поезда осталось три минуты. Мы вышли в тамбур.

— До свидания, детка, — сказала мама. — Пиши нам. Не забывай.

И вдруг разрыдалась. Горько. Вздох.

Острая, тяжелая боль захлестнула меня. Я целовала мамино лицо, руки и все говорила, говорила ей что-то ласковое и боялась отпустить ее. . .

Поезд тронулся. Замелькали лица, пути, огни, и все скрылось в темноте. Я вернулась в купе, легла на постель и долго лежала с открытыми глазами.

Дела и люди

Итак, мне поручили «пробить» кинолабораторию. Везде сейчас кино в НОТ. Уж на что выше нас этажом «Техпроект-монтаж» — и тот имеет свою кинокамеру. А наша организация солидная — Институт труда. Проблем много, проблемы сложные, и без кино не обойтись. Это я усвоила хорошо и полная решимости приехала сюда в Москву, в головной институт. Полная решимости еще и потому, что мне, может, даже больше, чем институту, нужна эта лаборатория. Я не могу объяснить почему, но я чувствую, что так. Что-то в моей жизни идет наискосок. . . Вот только что? Главное, мне некого и не в чем упрекнуть. Потому что все, что я ни делаю, — по собственному желанию. И институт, и Сибирь, и работа — все.

Иванова, заведующего кинолабораторией головного института, на месте не оказалось. Я сказала, что найду еще:

раз, записалась на завтра к заместителю директора Бурову на прием, и больше мне в институте пока делать было нечего.

В принципе о нашей лаборатории уже договорились в высоких инстанциях, а меня послали добывать и утрясать. Впереди было самое трудное, как меня предупреждали, — Главснаб.

И вот я еду в Главснаб заказывать аппаратуру. В Главснабе сказали, что кое-что могут дать даже в этом году, а после долгих препирательств согласились дать все, при наличии письма от вышестоящего над институтом Комитета. В Комитете я уговаривала, ругалась сначала с одним членом президиума, потом с другим, третьим, ездила в институт, писала, печатала на машинке, бегала за разрешениями, подписями, но без подписи зам. директора Бурова в Комитете не соглашались подписывать письмо в главк. И я снова ругалась и уговаривала, снова ездила в главк и договаривалась и ругалась, и в конце концов, измученная и взвинченная до предела, пробила-таки все наряды на оборудование на этот год.

Злая и усталая я вышла из Главснаба и решила никуда сегодня больше не ездить, а пойти наконец поесть.

За соседним столиком в кафе «Националь» четыре пажона курили болгарское «Солнце», вставив его в двадцатисантиметровые мундштуки, и, размахивая руками, рассуждали о театре, музыке и искусстве вообще. Около них сидела девочка в мини-юбке и шикарных красных сапогах до колен и рисовала их портреты. Я слушала их заумный галдеж и думала, что хорошо бы стукнуть кого-нибудь из них стулом.

Когда мне принесли кофе, девушка в мини-юбке встала и, глядя поверх голов, прошествовала к выходу, позванивая колокольчиками на сапогах. За нею потянулись остальные, отчаянно жестикулируя, с лицами, выражавшими одухотворенность и причастность к иному, возвышенному миру, к которому не принадлежали сидящие в зале и жующие бифштексы люди.

За столиком остался только один из них, который, любясь своим египетским мундштуком, пускал кольца дыма и задумчиво разглядывал меня.

Я тоже смотрела на него и придумывала ему некое экзотическое прошлое, соответствующее его мундштуку. Заметив

мое внимание молодой человек встал и, очень любезно поклонившись, пересел за мой столик.

— Разрешите представиться, если не возражаете, Миша Сокольский. Вы меня не знаете? Нет? Хм. Очень странно. Мне ваше лицо кажется знакомым... Вас зовут Ната? Натали!.. Я буду звать вас Натали. Вы не против?.. У вас хорошее лицо. Вам надо играть в театре. Да, да, не смейтесь...

Ах, Натали! Вы не знаете Сашу Белого? Ну что вы, он сидел рядом со мной... Вы, очевидно, не москвичка и не принадлежите к миру искусства? Да? Так я и думал. Но у вас все же лицо актрисы. Вам надо на сцену, поверьте мне, на сцену!..

...Чем они живут? Какая наивность! Где работают? Нигде, конечно. Саша — критик. Вы не читали его статьи? Нет? Что вы! Вы отстали от жизни. Он много пишет. Рецензии на спектакли, статьи... ну и всякое прочее. Мы люди творческого труда...

...Кто я? О, не удивляйтесь, я математик. Причем здесь искусство? Видите ли, я не только математик, но еще и художник. Поэт. Люблю театр. И хотя внешне я занимаюсь чисто математическими проблемами, но решение их должно поднять театр на невиданную до сих пор высоту! Я понятно говорю? Нет? Это потому, что вы не в курсе всех этих проблем. Вот сейчас я еду в Луганск, в местный театр драмы, там я уже год веду исследовательскую работу. Математический анализ скрытых ресурсов в творческом процессе. Цель? Активизация творческого процесса на основе анализа всех потенциальных возможностей. Я понятно говорю? У меня даже есть статья по этой работе. Вместе с Сашей Белым мы создали программу по реконструкции современного театра. Хотите посмотреть? Не сейчас? Ну хорошо. Попозже... А что, не взять ли нам бутылочку сухого и не поехать ли ко мне?.. Там вы посмотрите программу, и я познакомлю вас с Сашей... Он должен ко мне приехать. Не хотите? А что вы предлагаете? Ничего? Как ничего?.. Послушайте, я, может, отвык, так сказать, ухаживать и говорю что-нибудь не то, но я понимаю так: раз мы с вами знакомы, то, как между любыми знакомыми мужчиной и женщиной, должны же у нас быть какие-то отношения!.. Или я полностью подчиняюсь вам, или вы полностью подчиняетесь мне. Или — или. Середины не может быть. Вы не хотите подчиняться мне? Тогда я буду вам подчиняться. Сегодня. А там

посмотрим. Нет? Нет, без подчинения нельзя. Кто-то должен быть сильнее. Хотите домой? . . Ну, как хотите. Я настаивать не могу. Только добровольно. Хотите вина? Уже идете? Я вас провожу, если позволите, хотя бы до такси, поговорим по дороге, может вы поймете, что я прав. . .

Тут я подумала, что на сегодня с меня хватит, и сказала этому экзотическому экземпляру пару ласковых слов. Он открыл рот, встал и снова сел, а я с удовольствием оставила его в одиночестве. Пусть переварит.

Какие разные люди ходят вокруг! Каждый — судьба, и ты маленькая песчинка в этом океане людей. Избитая истина, но как эта истина осязаема именно в Москве, в вечерней Москве. И в вечернем московском метро, когда бурлящий людской водоворот несет тебя так, что не успеваешь опомниться и в конце концов теряешь уже понятие — где ты и куда едешь!

Мне кажется, только в метро можно увидеть картинку, которую увидела сейчас я.

Битком набитый вагон. В углу около двери сидит дед. В длинном светлом брезентовом пальто, в аккуратной желтой кепочке, седая щетина на щеках. У ног набитая здоровенная сумка. И дед этот спокойно, ни на кого не обращая внимания, ест мороженое. Из картонного стаканчика. Ковыряет палочкой, подцепит и раз — быстренько себе в рот, раз — и в рот. Я оглянулась: кто газету читает, кто смотрит в окно на свое отражение, кто переживает давку, — а дед ест себе и ест. И так у него вкусно получается, что невыносимо мне этого самого мороженого захотелось. А дед доел, сложил стаканчик. И только потом поднял глаза и посмотрел на стоящих вокруг. Хитренько так, с веселинкой. Должно быть, этот дед мудрый и веселый человек. Могла бы я вот так сидеть и ковырять палочкой мороженое? Условности помешали бы, неудобно.

Какие разные все-таки вокруг люди!

Остановилась я у дальних родственников, таких дальних, что я даже не знаю толком, кто кому кем приходится. Муж и жена. Валя и Виктор. Живут они в Новых Черемушках, в уютной квартире, в окна которой всегда глядит солнце и ветви сирени протягивают свои мохнатые лапы. У них есть сын Вовочка семи лет и сиамская кошка Норка. Виктор — начальник какого-то отдела в каком-то министерстве.

Когда я приехала к ним, Виктор и Вовочка уже спали, а Валя сидела на кухне и накручивала на бигуди свои черные волосы.

Она очень уставала за день. Вовочка только что начал ходить в школу, и она взяла отпуск, чтобы ребенок под ее руководством привык к новому распорядку дня. Кроме того, была самая горячая пора маринования и соления всяких овощей и фруктов. А это было Валино «хобби».

На кухне очень вкусно пахло сладким и тушеным. Я поговорила с Валею о Вовочкиных успехах в школе, об аппетите Норки. Она ждала прибавления семейства и плохо ела от волнения. Норка спала в Вовочкиной комнате. Там стоял столик, черная доска, как в классе, и счеты на ножках. На ковре и у стен были аккуратно расставлены машины, самолеты, лодки, плюшевый мишка, слон и разные другие игрушки. Сам Вовочка спал с папой.

Покончив с бигуди, Валя пришла ко мне, села на кровать и снова стала беседовать. Она рассказала мне свою жизнь и все расспрашивала меня, почему это я развелась со своим мужем и как это я живу одна. И смотрела на меня с любопытством и тайным осуждением.

Я с трудом отвечала ей и наконец уснула, не дослушав романтического и безгрешного Валиного приключения в доме отдыха. Ночью мне приснился плачущий Вовочка с салфеточкой на груди и злое разочарованное лицо Миши Сокольского.

Москва — Ленинград

Всего час лету, а как ты далеко-далеко. Я все вспоминаю дачу. Как мы брели с тобой по берегу залива. И был слепой дождь. Как это было странно. Солнечная рябь по воде, в небе ни одной тучки, и вдруг откуда-то заморосило. Часто-часто. Сквозь сетку дождя солнце казалось поблекшим и чуть дрожало. Теплые капли падали на лицо и за шиворот, и я все подставляла руки и удивлялась — откуда это? И также внезапно все прекратилось. Можно было подумать, что



он просто привиделся, этот дождь, если бы не темные ямки на песке и не мокрые листья деревьев.

А сейчас на заливе, наверное, холодно. Серые волны, как ленивые бегемоты, медленно тянутся к берегу. Ветер сры-вает с их скользких спин белые клочья пены. И тоскливо кричат чайки в поисках рыбы, опуская в воду замерзшие лапы...

Рядом со мной на кровати мурлычет сиамская кошка Норка, которая ждет котят и оттого то вдруг делается очень ласковой и важно ходит, подняв хвост трубой, то дичает и бегаёт по квартире, ищет место, вздыбив шерсть и сверкая малиновыми безумными глазами. Вот она устроилась

у меня на плече и, закрыв глаза, хрипло исповедуется мне на ухо и щекочет усами. . . Сегодня у меня трудный день, Борис!

Ленинград — Москва

У меня ничего не получается, Натка. Вчера весь день сидел за стендом. Все взрывается, все горит. Настроение скверное. Шеф ругается. К ноябрю должны закончить тему, а практически — сделана половина. Все на взводе. Вышел с работы поздно вечером. Моросил дождь. Пошел пешком с Васильевского острова до Театральной площади. В телефонной будке около нашего дома увидел девушку в таком же черном плаще, как у тебя. Подбежал и вспомнил: ты ведь уже в Москве, ты ведь не можешь быть в этой будке. Поплелся домой. Однако сентиментален я стал. Старею. Как всегда, утром не могу проснуться. Опаздываю. Трамвай ползет, как старуха на богомолье, тарыхтит, дребезжит и раздраженно скрипит на поворотах. . . Жду твоего письма.

Начальство

К десяти часам утра я была уже в приемной Бурова. Секретарь пошла доложить Бурову о моем приходе. Выйдя, она сказала, что Буров сегодня в удивительно хорошем расположении духа и я должна поспешить воспользоваться этим. Я постучала в дверь и вошла в кабинет.

За столом в кресле сидел, твердо расставив ноги, грузный пожилой мужчина с брезгливым выражением гладко выбритого лица. Он посмотрел на меня и показал на стул у стены: «Садитесь, рассказывайте».

— Я из Сибири, — сказала я.

— Знаю. Дальше что? — он достал из папки какую-то бумагу, прочел ее, подписал и снова взглянул в мою сторону.

— Ну и? . .

Я вспомнила, что Иванов советовал мне, если я хочу чего-то добиться у Бурова, не теряться, быстро и сжато рассказывать ему все, а потом слушать его. Он может говорить долго. Главное, не перебивать его. И не спорить. Дать выговориться. Терпеливо слушать. И не волноваться, ни в коем случае не волноваться. Очевидно, Константин Сергеевич знал, почему не следует волноваться в кабинете Бурова.

— Ну и?.. — сказал Буров и снова углубился в чтение бумаг. — Я вас слушаю.

— Я из Сибирского филиала вашего института. Мы хотим создать у себя кинолабораторию, подобную вашей.

— Зачем?

«Будто не понимает», — подумала я и начала «популярно» объяснять:

— Вы же знаете, промышленность Сибири развивается. На предприятиях все шире внедряется научная организация труда. Киносъемки в НОТ имеют большие перспективы. — Я посмотрела на кактус на окне и механически продолжала: — Микроанализ отдельных трудовых движений позволит улучшить организацию рабочего места, повысить экономический эффект всего производства. Наконец, популяризация передового опыта на предприятиях и учебные фильмы по отдельным профессиям.

Может, хватит? Но Буров молчал, склонив голову набок.

— Наш институт занимается лесной, химической и легкой промышленностью. Уже сейчас в институте есть темы, в разработке которых применение киносъемок принесло бы большую пользу.

Буров откинулся на спинку кресла.

— В Сибири никто еще этим всерьез не занимался. Создание лаборатории необходимо. . .

Буров хитро прищурился, встал, налил из графина в стакан воды, прошелся с ним по кабинету, потом сел и, отпив несколько глотков, спросил меня в упор:

— Как вы попали в Москву?

— То есть как? — опешила я. — Командировка у меня.

— Вот как? А я просмотрел все бумаги и не нашел вашего вызова. — Он повысил голос: — Вы знаете это?

Я промолчала, подумав: «Что же будет дальше?»

— Вы делали запрос?

— Конечно.

— Где же он?

— Откуда я могу знать, у вас где-нибудь.

— У меня нет. Покажите ваше командировочное удостоверение.

Я вытащила удостоверение и положила на стол.

— Странно. Если вы приехали без вызова, то вы нарушили трудовую дисциплину и будете за это наказаны. Я выйду.

Мне захотелось встать и уйти, но я вспомнила Константина Сергеевича и сдержалась. Буров молчал и задумчиво смотрел в окно. Прошло минуты две. Казалось, он забыл обо мне. Наконец он повернул голову и тихо сказал:

— Чем вы здесь занимались?

— Знакомилась с работой вашей лаборатории. . .

— Работа! — Буров заерзал в кресле. — Работа! С какой это работой они вас знакомили? — Он встал, раздраженно походил по кабинету, снова сел.

— Ну, почему же, — сказала я, — в вашей лаборатории создана уникальная дешифраторная установка. . .

— Не спорьте. Я лучше вас знаю. Все эти лаборатории нерентабельны. Одни слова и планы. . . — Буров разошелся и долго говорил, не глядя на меня, как будто сам с собой.

Я терпеливо молчала, рассматривала его бритое лицо и печально думала: «Какой же ты злой и нехороший человек, Буров. Какой ты зануда все же. Ну, был начальник пьяница. Ну, был плохой специалист. Но ведь новый-то руководитель лаборатории — человек дела. Так нет, надо ведь всех охаять, всех под одну гребенку».

Когда мне уже стало казаться, что он никогда не кончит, Буров вдруг умолк, строго посмотрел на меня и спросил:

— Сколько?

— Что сколько? — не поняла я.

— Сколько нужно денег, штатных единиц, сколько времени потребуется для непосредственного начала съемок?

Я обрадовалась: наконец-то дошел до дела.

— Денег не нужно. На этот год есть десять тысяч. На оборудование хватит. Штаты — девять человек.

— Много. Дадим пять.

— Пять мало. Будет трудно. . .

— Обойдетесь.

— Ну хорошо. Минимум полгода нужно на получение, установку и наладку оборудования.

— Значит, весной начнете снимать?

— Пожалуй, да. Оборудование уже заказано, — я вытщила бланк Комитета, на котором был отпечатан список, — вот подписи. В главке я уже договорилась, там выписали наряды, но эту бумажку все равно нужно подписать и отнести в Комитет на подпись члену президиума.

— А это еще зачем? — Буров недоверчиво посмотрел на список.

— Такой у них порядок. Он подпишет и даст другую бумажку на наряды, которые уже выписаны. . . Ее я отнесу в главк.

Буров взял список, внимательно прочел его и задумался. Взял ручку, хотел подписать, но потом положил ее на стол и отодвинул бланк:

— Не подпишу.

— Но почему?

— А вдруг не возьмете?

— Да как же не возьмем? Деньги ведь выделены на оборудование. Меня специально за этим послали!

— Да? Ну, ладно. Тогда напишите директору своего института, пусть он пришлет нам докладную, ее Иванов подпишет, потом я подпишу. . .

— Так ведь нельзя же ждать. Пока я ему буду писать, потом он вам, пока вы ему. . .

— А вы телеграмму.

— Я сегодня должна быть в Комитете. Оборудование уже заказано. На этот год. Может в любой момент подойти. Нельзя терять времени на переписку.

— Хорошо, — Буров встал из-за стола. — Раз вы такая настойчивая, напишите эту докладную сами. Сейчас. Все, что говорили мне. И пусть ее подпишет Иванов. И список тоже. Потом придете ко мне, я подпишу. — Он протянул руку. — До свидания.

Я растерянно пожала ему руку и вышла из кабинета, удивляясь, как это он вдруг согласился. В приемной сидело несколько мужчин с портфелями и папками. Они смотрели на меня неодобрительно. Я долго сидела у Бунова, и они были недовольны этим. Но я уже вышла из кабинета, а им еще нужно было туда идти.

Главное — спокойствие

— Наталья Андреевна, — сказал зав. лабораторией Константин Сергеевич, плотный добродушный парень с немного отечным лицом, — то ли еще будет. Давайте лучше я заварю кофе.

Был обеденный перерыв. Из соседней комнаты раздавались взрывы хохота. Молоденькая и изящная монтажница Эмма рассказывала ребятам анекдоты. В раскрытые двери было видно, как некоторые из них, пикантные и безобидные, она вполне профессионально изображала в лицах.

Покончив с анекдотами, Эмма рассказала, как неделю назад она познакомилась в Филармонии с одним чудаковатым музыкантом, который очень хотел ввести ее в мир искусства. Эмма встала в позу, сделала на лице выражение, и вдруг я услышала знакомые интонации: «У вас красивое лицо. . . Вам нужно быть актрисой! Да, да, не смейтесь, вам нужно на сцену. . . Богема, творчество, вдохновение. . .»

«Бедный Миша Сокольский, — подумала я устало. — Твой репертуар стар. Его уже все знают.»

Кофе подкрепил мои силы. Я снова могла ругаться. В последние дни я столько ругалась, что это уже стало моим нормальным состоянием. Я даже удивлялась, если меня сразу понимали и не надо было ничего доказывать. Мне это казалось неестественным. Вот и сейчас этот Костя (мы перешли на «ты», так как были одного возраста, и вообще я еще не привыкла к имени-отчеству) явно меня раздражает. Вся его плотная добродушная фигура прямо-таки кричит о полном душевном спокойствии. Он, конечно, все понимает. Ему ничего не надо доказывать. Мы сочинили с ним докладную Бурову, обсудили досконально оборудование, штаты, планы, он подарил мне различные методики. Он вообще дал мне множество полезных советов. Но ожидать практической помощи от него не приходилось. Так и читалось на его лице: «Вот какой я, вот что у меня есть, сам все добыл, попробуй и ты так». А бумажки, слова — это ведь просто.

Я постепенно накалилась от его бумажной доброты и, когда мы уже уходили из лаборатории, не стерпела — съехидничала:

— Послушай, — спросила я, проследив за его взглядом, любовно оглаживающим стены комнаты, — неужели тебе действительно нравится сидеть в этой дыре?

Лаборатория находилась в подвале и имела довольно-таки мрачноватый вид. Не замечал он этого или не хотел замечать, не знаю.

Костя удивленно поднял брови и даже остановился.

— И вообще, неужели тебе действительно интересно снимать какие-то там производственные процессы? Деталь взял, деталь положил. . . Ты что, к этому себя готовил? Ты-то ведь режиссер!

— Ну знаешь! — резко сказал Костя, и лицо его стало злым. Он прошел несколько шагов, очевидно успокоился и улыбнулся снисходительно: — Начальник лаборатории. . . Новое дело, полезное. А ты как думала?

Не подкопаешься. Железная логика. Материальный стимул, сознательность — все налицо. Ну как ему не быть добродушно-спокойным?

— А ты-то сама? — спросил Костя совсем уже по-братски, похлопал по плечу и подмигнул: — Как, а?

Вот так надо ставить на место. Не лезь со своими психологическими изысканиями.

Впрочем, что это я? Меня кино интересует давно. И в данном случае вопрос стоит не в том, что снимать, а в том, чтобы вообще снимать, работать над сценарием, работать с камерой, работать с людьми, наконец вообще работать самостоятельно.

Так что пусть он мне эти вопросы не задает. Нечего путать.

В Комитете труда меня уже заждались. Член президиума подписал список оборудования, дал бумажку в главк и потом долго расспрашивал меня, как там в Сибири живется, а под конец, совсем растрогавшись, пожал руку.

В главке никого уже не было. Был конец рабочего дня. Секретарь в канцелярии убирала свои бумаги и запирала сейфы. Она заворчала на меня, но я, уже закаленная в кабинетных разговорах, стойко выдержала ее ворчание и упростила все-таки принять письмо из Комитета труда. Дело было сделано.

Перед отъездом

Над городом чирикали воробьи. Потоки людей переливались из улицы в улицу. Через море голов, шляп и плащей солнечные лучи с трудом пробивались к асфальту и там судорожно металась теньями и бликами под ногами толпы.

В конце улицы высилось здание ГУМа, звенящее от напора изнутри и снаружи.

Я вступила в толпу и медленно вплыла вместе с нею в это здание, оглушенная шумом, духотой и собственной усталостью. Мне надавали кучу поручений перед отъездом в Москву, и теперь их надо было выполнить. Люди ждали из Москвы шариковые ручки, рейтузы, перчатки и даже баночку майонеза. Напрасно ждали. В ГУМе было столько народу, что, потолкавшись по переходам целый час, я так ничего и не купила из порученного. Отчаявшись поставить хоть одну птичку в своей записной книжке, я неожиданно для самой себя приобрела яркий, красный в белых горохах, пляжный ансамбль. «Вот и хорошо, — решила я, — два года не купалась. Сейчас куплю билет на самолет и пойду в открытый бассейн «Москва». Наплаваюсь за все».

После Москвы у меня была еще командировка в Новореченск в кинолабораторию Академии наук.

Я купила билет на самолет на час ночи.

Дала телеграмму директору своего института, что вылетаю в Новореченск, и поехала в бассейн.

Я была в нем только один раз, лет пять назад, во время институтской практики. С тех пор мне ни разу не удавалось побывать там, и он припоминался мне как нечто сверкающее бело-синее с желтыми пятнами загорающих.

Сейчас я едва успела к последнему впуску.

Народу было немного. Я быстро вымылась в душе. Надела купальный костюм и вышла в молочный туман бассейна, сквозь который неясно, как тени, были видны трибуны и блуждающие фигуры людей. Я спустилась в воду, окунулась в теплое молоко тумана и поплыла, сразу потеряв представление, где я и куда плыву. И хотя было неприятно плавать так вот в неизвестности, и не было того сверкающего бело-синего, что представлялось, на душе все же сделалось как-то странно и празднично. Из репродуктора по-

сле разудалой «Летки-Еньки» вдруг полились заунывные звуки болеро.

Я повернулась на спину, закрыла глаза и увидела знойную пустыню, серые кактусы и величественно шагающих под музыку болеро, изнывающих от жажды верблюдов, между упавших горбов которых сидели черные погонщики в белых тюрбанах.

И когда наконец верблюды перешли свою бесконечную пустыню, зазвонил колокольчик, напоминая посетителям, что бассейн закрывается.

Я вылезла из воды и пошла одеваться. Голова немного кружилась, как будто я побывала в планетарии, где в темном зале на черном куполе вертятся далекие звезды.

На город уже спустился вечер. Звезды над крышами не вертелись, а спокойно висели на своих местах. Стало жаль, что уже нет верблюдов и планетария.

Через три часа, распрощавшись с родственниками, я уезжала из Москвы.

Аэропорт «Домодедово» светился бессонной прозрачной громадой. Он был настолько велик, этот аэропорт, что даже ночью, когда в других аэропортах становится тесно и сотни людей томятся в ожидании рейсов, не зная, куда себя приткнуть, он оставался просторным и безлюдным. И только когда по радио объявляли посадку на очередной рейс, откуда-то появлялись стайки пассажиров и торопливо бежали по гулким стеклянным переходам и витым лестницам к маленьким красным автобусам.

Я зарегистрировала билет, побродила по залам, нашла буфет, взяла черный кофе и плитку шоколада.

Кофе был очень горячим. Я грела пальцы о чашку и смотрела сквозь прозрачную стенку на летное поле.

Большая тупоносая машина, натужно ревя, перевозила серебристую сигару самолета к взлетной полосе. Впереди мигали красные и синие дорожки огней.

Объявили посадку на мой рейс. Я вырвала листок из записной книжки и написала: «Ну, вот и улетаю, Борис. Последние минуты в Москве. Сибирь — это так далеко, что 600 километров, которые разделяют нас сейчас, кажутся двумя трамвайными остановками.

Не хочется отсюда уходить. . .»

Вложила листок в конверт и допила кофе.

Сибирь

Над Новореченском нависли тучи. Десятки заводских труб выплевывали струйки дыма, и они стояли в небе черными и желтыми свечками. До Академгородка было далеко. Я смотрела на город из окна автобуса, и казалось, что я еду по давно знакомым и родным местам. Красный проспект у Дома офицеров напомнил бульвар Профсоюзов в Ленинграде. Так же посреди улицы шла широкая аллея деревьев и кустарника.

В Новореченск уже пришла и чувствовала себя полноценной хозяйкой холодная северная осень. Деревья и кусты роняли последние листья на влажную, пожухлую траву и грустно топорщились серыми колючими ветвями. Большие, какие-то «домашние», совсем ленинградские дома, добродушно глядели на улицы, поблескивая изумрудными стеклами. В этих домах должны были жить только счастливые люди, такой у них был солидный и ласковый вид.

И в то же время во всем: в плавном, неторопливом движении пешеходов и транспорта, в широте улиц и площадей, в самом воздухе — чувствовалась Сибирь, ее простор и спокойствие.

Даже в том, как за Обью, в овраге, так же, как на правом низком берегу Ангары в Сосновске, гнездились «последние могики» — вросшие от старости в землю деревянные домишки, было тоже что-то чисто сибирское.

Сибирь дышала полной грудью. Днем и ночью плевались гарью заводские трубы, протирались на стройках рабочие рукавицы и звенели звонки на подъемных кранах. И оттого «могики» весело дымили покосившимися трубами, не теряя надежды переродиться вскоре в добрые, красивые дома, в окна которых будут отражаться не ноги в сапогах, шлепающие по грязи, а небо, солнце, облака и такие же добрые и красивые соседи.

В Академгородке я с трудом устроилась в гостинице, поднялась в номер, приняла душ и, решив отдохнуть полчаса, легла на кровать и проспала до двух часов дня. Чертыхаясь и проклиная разницу во времени, я вскочила с постели и побежала искать Морской проспект, где находится Институт гидродинамики, в котором и была нужная мне лаборатория.

Это такой город

Как выяснилось, в этой лаборатории не занимались съемками трудовых процессов. У них были заказы на чисто исследовательские темы из различных институтов. Но кинолаборатория была большая, и у меня появилась надежда закупить здесь кинокамеры, в главке их было не достать. Я решила подождать заведующего, который через два дня возвращался со съемок. Не везет мне с заведующими. Почему-то обязательно я приезжаю, когда их нет. Ну да ладно.

День был холодный, но я решила пройти к гостинице пешком, чтобы побольше увидеть Академгородок.

Солнце, перед тем как уйти на покой, собрало силы и; пробив серые пухлые тучи, разгуливало по Морскому проспекту, заглядывая в окна опустевших институтов, которых тут было великое множество. Академгородок был очень современным. И очень чистым. И очень желто-зелено-розовым.

Зеленым был лес из лиственницы и сосны, который тянулся сплошным сочным массивом до самого Обского моря. А желто-розовыми — жилые корпуса с разноцветными балконами, разрезающие этот массив на различные геометрические фигуры. Мне говорили, что в этом лесу водятся белки, и притом ручные.

Было что-то деловое в самой атмосфере Академгородка. То ли от множества институтов, то ли от педантичной аккуратности улиц, домов и природы. Это деловое казалось таким значительным, что у меня даже появилось сожаление, что я здесь временная, чужая и вообще не причастна к этому. Но потом вспомнился Байкал у истока Ангары, где багрово-золотые крутые скалы свешиваются над осыпавшимися берегами, и сожаление как-то незаметно исчезло. Захотелось как можно скорее очутиться у этих берегов, забраться на пик Черского, сесть на вершине и смотреть на Сосновск в серой дымке вдаль, Ангару, стремительно несущуюся к плотине, «Шаман-камень» в пенном водовороте, и эти скалы, и эти синие волны до самого горизонта. И дышать, и дышать воздухом тайги, древних гранитных скал и чистой байкальской воды.

У самой гостиницы, рядом с кинотеатром, стоял универсам, блестя сплошными стеклянными стенами. Я, любопыт-

ства ради, зашла в универмаг и обошла его залы. Нельзя сказать, чтобы там все было. Вернее даже, там многого не было. Ни рейтузами, ни перчатками, ни нейлоновыми плащами, которые мне заказали, там и не пахло. Но чувствовалось, что снабжение столичное и универмаг с лихвой выполняет свой план. Спускаясь по лестнице к выходу, я столкнулась с двумя вихрастыми, с замерзшими носами мальчишками и услышала, как один из них, обходя меня, сказал другому: «Уравнение Каплера можно решить сложным дифференцированием. . .»

Я открыла рот и посмотрела на удаляющийся круглый затылок. «Ну и детки, однако, в этом городке, — подумала я, — сложное дифференцирование им подавай».

Я подумала, что сейчас я и теорему Фурье, пожалуй, не докажу, и мне стало стыдно.

Листья падают. . . Падая в лужицы сухими свернутыми красными трубочками, они плавают в них, как маленькие кораблики.

В лужи смотрят тучи. . . А на тучи смотрят белки. . . Такие маленькие коричневые белки с мягкими пушистыми хвостами и кедровыми шишками в лапах, которые продаются у нас в Сосновске в магазине подарков. . . Ты видел белок? . . . Видел, конечно. Ты ведь охотник. А я вот ни разу не видела. Даже в зоосаде. Как-то не пришлось. Только в детских книжках да в магазине подарков. Набитых соломой и сидящих на бревнышке с испуганными стеклянными глазами. А жалко. . .

Ну, ладно, Борис, сплю. . . Ты мне еще не написал? . .

. . . Черное небо уронило звезду, она медленно катится серебряным елочным фонариком в холодные байкальские волны и тонет в них зеленым светляком. . .

Как хорошо, что ты есть, Борис.

Все то же

Камеры я достала. При помощи Вадима Александровича из Института гидродинамики. Он без всяких лишних слов позвонил в отдел неликвидов при Академии и попросил оставить для него две «Адмиры-16». Вернее для нас, потому что они-то уже снимали на широкой пленке.

Где же истина?

На прощанье, чтобы запомнить этот город, решила сходить в Филармонию.

Я люблю те минуты, когда оркестр уже в зале и тишина. Прошелестели ноты на пюпитрах, и оркестр замер, глядя на дирижера. И ожидание зала и ожидание оркестра слились в одно — в ожидание чуда, когда первые звуки музыки прорвут тишину. За ними лавина других звуков заполнит все и соединит вместе зал и сцену. . .

Скрипач был старый и худой. Он походил на кузнечика в парадном фраке. Звуки скрипки входили в меня звенящей иглой, пронзали плечи и отдавались болью в ладонях.

Впереди плешивый мужчина с розовой шеей ел пирожное. Лениво двигались его челюсти и уши.

Девушка, его соседка, покачивала головой в такт музыке и вздрагивала, когда сосед прищипывал языком, вытаскивая из зубов крошки.

Скрипели стулья. Сверкали электрические солнца на коричневых боках контрабасов.

И скрипач вытирал пот с лица.

В конце второго отделения ему преподнесли хризантемы.

Он прижал их к груди, улыбнулся и пошел со сцены.

У двери он повернулся, придерживаясь рукой за стенку и еще раз поклонился залу. Нетерпеливо захлопали сиденья кресел. Их стук заглушила овация. Скрипача вызывали на бис. В людях еще звучала музыка, пробужденная его искусством. Одни отодвигали минуту, когда она затихнет в них, и не хотели уходить. Другие оставались на местах из любопытства, прислушиваясь к себе или досадуя на тех, кто уже стоял в очереди в гардеробе.

Скрипач последний раз пожал руку дирижеру и первой скрипке.

Дирижер поднял оркестр. Концерт закончился.

Когда я уже шла по улице, вдруг представила себе: зал уже опустел, оркестранты складывают свои инструменты в футляры и расходятся по домам, а скрипач сидит за кулисами в маленькой артистической уборной с дощатыми стенами и устало курит. К нему приходит дирижер и деловито сообщает начало репетиции на следующий день.

Скрипач надевает пальто и выходит на улицу. Ему нужно собраться с силами, чтобы завтра он мог снова отдать людям всего себя. На перекрестках стоят женщины с корзинами цветов. Он идет мимо них. В одной руке он держит футляр со скрипкой, в другой авоську с продуктами. Под мышкой, как веник, торчит букет хризантем. «Ну как?» — спросит его дома жена, привычно забирая букет. «Хорошо», — скажет скрипач и пойдет снимать свой концертный фрак.

А неправ ты все-таки был там, на даче. Тогда в нашем споре мы так и не пришли к общему знаменателю.

Ну и пусть он держит букет как веник. Он устал. Зато он счастлив.

Жить для себя или для других? Открывать мир для себя или для других?

Каждый свой мир открывает сам — так ты сказал? И для себя.

А я поняла сейчас, что если то, что ты открыл для себя, осталось только в тебе одном, так это все равно что ты ничего не открыл.

Для тебя главное — работа. И впереди как маяк — диссертация. Легко тебе.

А я вот не знаю, что для меня главное.

До сих пор я думала, что главное в жизни, чтобы была чистая совесть. При любых обстоятельствах.

Но достаточно ли этого, чтобы жить спокойно на этом свете?

Опять Сосновск

Опять работа. До чего же тоскливо вставать каждый день в семь утра и идти в эту бухгалтерскую организацию. Слушать целый день стук костяшек на счетах. Пока нет лаборатории, чувствуешь себя не у дел. Все смотрят укоризненно, как ты слоняешься из угла в угол и ищешь, чем бы заняться. А что делать, если от этой бухгалтерии через час в сон клонит? Сейчас хоть забота будет. Надо писать отчет, докладную придумывать, искать помещение для лаборатории. Хоть можно будет выйти на улицу, подышать свежим воздухом. И кто это придумал работать днем? Лучшее вре-

мя, когда только гулять и отдыхать, сидят люди в душных комнатах, корпят над бумагами и книгами. Работали бы ночью. Когда не так хорошо, когда природа спит и не на что смотреть. А спали бы вечером. Почему-то все наоборот.

Хочется на Байкал.

Ну вот, сорок ступенек вверх, по коридору направо, третья дверь после туалета, сделаем глубокий вдох: «Приветствую вас, уважаемые сотрудники и сотрудницы! Как поживаете? Все считаете? Повышаете производительность труда?» Где тут мой стол? Ага, вот он. Прямо перед ясными глазами начальства. Сели. Достали папочку. Листик бумажки. Открыли ручку. Ну что, начнем? О, господи, еще целых пятьсот пятьдесят минут впереди! Как выдержать?

Ленинград — Сосновск

«Натка, я очень много думал эти дни. Мы не должны встречаться и писать друг другу. Я устал, зачерствел и не смогу делиться на тебя и сына. Прости меня. Борис».

Что с ним? Разве я что-нибудь требую? Да и что я могу требовать?

... Это было давно. Мы расстались нелепо. Из-за пустяка. На суде он снимал пушинки с моего платья и все не верил, что я — всерьез. Все ждал, что сейчас мы встанем и пойдем домой. А я? Мне было восемнадцать. Тогда я решила все просто и навсегда.

Потом? Потом было плохо. Он уехал.

Годы шли. Жизнь текла тихо, медленно и незаметно.

«Когда-нибудь, — думала я, идя с работы, — случится чудо. И это будет так: я выиграю мотоцикл. Да, да, мотоцикл. Черный блестящий «Дракон» с красным седлом и красной молнией на бензобаке. Тогда я куплю себе черную кожаную куртку, черные краги, очки и шлем. И красный свитер под куртку. Что дальше? Дальше — я найду Его. Он может уезжать куда угодно. . . Я разыщу Его все равно.

Это будет летом, обязательно летом. В теплом, ясном июне. Он будет там, в нашей деревне. Он придет туда

в отпуск с женой и сыном. Да, уже с другой женой. И сыном. Но это не важно. Важно другое.

Я промчусь на своем «Драконе» по главной улице и заторможу у магазина напротив его дома. Напротив нашего дома. Черная куртка, красный свитер, шлем и очки.

Все будут думать: откуда этот новый приезжий и к кому он? А я? Я посмотрю на Его окна, на куст сирени в саду, березовый забор... Но долго глазеть нельзя, это покажется странным.

И я пойду в магазин. Куплю что-нибудь и выйду обратно.

Конечно же, вокруг «Дракона» соберутся мальчишки, будут восхищенно щупать, разглядывать черно-красное чудо-вище. И... это Его сын. Я его сразу узнаю... У него такие же глаза с китайским разрезом, такие же губы, так же уши торчат. Как он похож на Него! Как похож!

— Здравствуй, — скажу я ему, — ты ведь хочешь прокатиться со мной, правда?

Он вцепится в мою куртку, и я повезу его мимо удивленных мальчишек через всю деревню... Туда, туда, туда.

Это поле... Оно ничуть не изменилось... Зеленая трава по пояс... Синее небо над ним.

И также цветут дикие яблони.

Пряным их резким запахом, кажется, пахнет трава и цветы... И так же кружится голова, как тогда... Так же кажется, что нет ничего на свете, кроме этого поля, и нет большего счастья, чем молча лежать на этой траве и дышать этим пряным яблоневым цветом.

Только это не Он рядом. Это Его сын. Я хочу спросить его: «Как папа?» И не решаюсь. И горько, и больно. Горько и больно.

Или нет! — думала я. — Не так все будет. Совсем не так. Не надо сына...

И мотоцикл я не выиграю. Я его куплю. Я буду откладывать с каждой полочки. Когда-нибудь я же накоплю на него!

И потом, когда я куплю мотоцикл, я найду Его. Я буду долго-долго ехать к нему, стройная, смелая, красивая, в черной кожаной куртке и красном свитере, на черно-красном «Драконе». И мотоцикл, куртка и шлем пропылятся от этой длинной дороги. Но это не важно. Важно другое.

Я приеду к Нему.

Это будет в июне. В теплом, ясном июне. Он будет там, в нашей деревне. Один. Я промчусь на «Драконе» по главной улице и сверну на тропинку прямо к речке. У старого развалившегося моста будет стоять дряхлая лошадь-водовозка и, фыркая, пить из речки. Как тогда.

Я заторможу у моста, заберусь на деревянные сваи и стану смотреть и ждать Его. А Он? Он будет бродить вдалеке по мелкой воде и ловить толстолобых бычков вилкой. Как это было здорово! Отвернешь осторожно камень — бычок притаится, не шелохнется, в надежде, что не заметят. . .

Потом Он подойдет ближе, поднимет голову и. . . увидит меня. И тогда. . . И тогда. . . И тогда я скажу ему: «Иди сюда, я так соскучилась без тебя. . . Прости меня. . .»

. . . Был нестерпимо яркий зимний день. Я стояла в очереди за апельсинами.

— Не вертись, — строго сказал мальчишке мужчина, стоявший впереди меня.

Я замерла, услышав этот голос и не смея верить.

— Я кому сказал? — повторил мужчина и, повернувшись к мальчишке, взглянул на меня. Мы оба вздрогнули и растерялись.

Это был Он!

Ясный, теплый июнь, пыльная улица, речка, зеленое поле и яблони — все это мгновенно пронеслось у меня перед глазами.

Я хотела сказать ему. . . Я хотела ему сказать! . .

А он покраснел, суетливо задергался и подтолкнул мальчишку в сторону: «Иди домой. Иди. Я сейчас».

И когда сын отошел, оглядываясь, он повернулся ко мне, все еще красный и растерянный, и спросил, косясь на очередь: «Ну, как жизнь?»

Я опустила голову и. . . ничего не сказала.

Вот и все.

Больше я не жду чуда.

А ты. . . Разве я сказала тебе, что люблю тебя? Мне грустно без тебя — это правда. Я думаю о тебе — это тоже правда. Мне легче живется, оттого, что где-то там, далеко, есть ты, — и это тоже верно. . . Но «люблю»? . . Это такое огромное слово. . . Мне трудно его повторить.

Не надо делиться на меня и сына. Я никогда не встану

между вами. Твоя радость — и моя тоже. Пусть же он всегда смеется, твой парень. И ты с ним.

«РЕБЕНОК, ПОЧЕМУ НЕ ПИШЕШЬ? ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.

ЦЕЛУЕМ. МАМА. ПАПА».

В пятницу, в конце дня, мне на стол положили букет цветов и пакетик с розовой ленточкой. Я не знала, куда деваться от смущения. «Что же делать? — думала я. — Надо же как-то отблагодарить их за внимание, отметить как-то. Не знаю, как это делается, не умею, неудобно». Я вышла в коридор и стояла там. Потом в коридор вышли две девушки из отдела, быстро сориентировались в обстановке, популярно разъяснили мне, что надо сделать, и потащили в магазин. Когда мы вернулись, на двух столах посреди отдела уже стояла закуска.

Домой я вернулась часов в девять, слегка навеселе.

Квартира уже была полна гостей (все запасные ключи я раздала друзьям). Собралось человек пятнадцать. Пришли ребята из телевидения и кинохроники. Две подружки-учительницы, Нина и Таня, и ребята с Байкала, с биологической станции в Кютах, с которыми я прошлым летом лазила под воду с аквалангом. Девочки хозяйничали на кухне. Ребята пытались сообразить что-то вроде стола. Олег с телевидения, как всегда, бренчал на гитаре и пел с одесским акцентом, развлекая общество. У меня был только один стол, он стоял на кухне и был занят закуской, бутылками и тарелками. Ребята сдвинули журнальные, но этого было мало, и пришлось снимать все со стола в кухне и протаскивать его в узкую дверь. Легче было бы, наверное, носорога протиснуть через замочную скважину, так как этот шедевр моего произведения из стальных труб и бакелитовой плиты, собранный прямо на кухне, был тяжелый, как надгробный памятник.

В десять часов наконец сели.

Пели, беседовали и обмывали мою старость до позднего вечера воскресенья. Потом все разошлись. Стало тихо и пусто.

Пошли будни.

Ленинград — Сосновск

Дорогая моя девчонка, телеграмму твою получили. Очень рада, что ты наконец благополучно добралась до дому. У нас все хорошо. Папка уже читает лекции. Я стала еще больше скучать, больше, чем до твоего приезда. Раньше хоть ждала, что ты скоро приедешь. А теперь сколько ждать? Уж ты не обижайся, что я пилила тебя иногда, к старости все такие, еще даже хуже бывают. И хоть я тебя и пилила, — ребеночек ты у меня хороший, ласковый и любишь свою маму, я ведь знаю.

Ну ладно, доченька, не скучай. Пиши.

Крепко, крепко тебя целую. Мама.

Ленинград — Сосновск

Натка! Абсолютно нет вермени. С момента твоего отъезда я, кажется, ни разу не приходил с работы раньше одиннадцати. Работа не клеится, и необходимый результат никак не удается получить. Срываются городские обязательства, соответственно горит премия всему отделу.

Черт знает что такое!

В общем, оправдания мне все равно нет.

Впрочем, я не надеялся, что ты мне напишешь после того письма. Постараюсь свою вину искупить — это касается дня рождения. У меня есть отличная мысль, но об этом позже. Пробовал записаться на пленку, но прихожу такой усталый от неудач, что ничего не получается. Двадцать раз начинал, и все без толку. Не те слова, не то, что я хотел бы тебе сказать.

Глаза слипаются. Бог с ним, не могу не поделиться. Собираюсь на праздник прилететь к тебе в Сосновск. Вот так-то. Написал, и на душе как-то весело стало.

Кажется, я собрался заполнить все девятнадцать конвертов сразу.

Борис.

На работе наступила веселая жизнь

Сегодня мне приснилась радуга. Она висела в голубом шелковом небе и дрожала и струилась, как северное сияние. Я проснулась, она растворилась и больше не появлялась. Встала я с каким-то щемящим чувством тревоги и ожидания — что-то должно произойти. Вышла на улицу и даже вздрогнула: снег. Зима пришла! Да здравствует зима! У подъезда на тротуаре синий снег с искрами — жалко ступить. Сияет солнце, и деревья позванивают коралловыми веточками. Дзинь-дзинь, как бубенчики.

Две недели я шлепала по грязи, то под проливным, то под морозящим дождем, то по лужам, которые от него остались. Я забыла о понятиях «сухое» и «теплое». В резиновых сапогах выше колен, ватных, промасленных штанах и набухшей, чугунной телогрейке пятидесятого размера, пыхтя и обливаясь благородным трудовым потом, я преодолевала каждое утро геологические образования, созданные руками человека. А потом сидела на вершине одного из них, высунув язык, и, удерживая сердце, как взбесившегося коня, закусившего удила, любовалась далями и горизонтом под скрежет удалых экскаваторов и грохот задорных бурильных станков.

Земля обетованная, шахтерское Черемхово! Куда меня только не заносит! Все та же уважаемая фотография рабочего дня. Разбор става, наращивание штанги, подъем патрона, бурение. Опять нарастили, еще побурили, побурили — переехали. Пошли новую дырку долбить в земле-матушке. И так всю смену. Гудят и трясутся геологические образования, пляшут дикую пляску, вибрируя пневматическими ногами, боевые станки-работяги. Потом в эти дырки мешочки взрывчатки, и — ка-ак шарахнет!

Вот он, уголек родимый!

Зубастые экскаваторы сыплют щедрой ладонью мокрые глыбы, блестящие, как полированные бока кашалота, в гулкие железные кузова МАЗов. Поехали на фабрику — омолаживаться.

Ну и труд!

Не мой, конечно, хотя и мне предстоит не меньше месяца обрабатывать пятнадцать записанных тетрадей. Шахтерский труд! Что моя усталость: после смены добратся бы до подушки и свалиться? Мышиный писк по сравнению



с величием этого труда. Любой труд благороден. И наша бухгалтерия приносит пользу, но какую? Заелись мы. Сидим в теплых квартирах, телевизор смотрим. И ничего не видим. Почаще бы такие командировки.

Звонила в Москву. Приехать приглашают меня настоятельно. Кажется, дело подвигается.

Ленинград — Сосновск

Послушай, что же ты молчишь? Взяла попросту и исчезла. У меня появилось непредвиденное обстоятельство. Хотят назначить заместителем заведующего отделом. Я попро-

сил подождать с ответом неделю. Дал тебе телеграмму. Если к концу недели не будет ответа, я вынужден буду согласиться. Это осложнит мою поездку к тебе. Во всяком случае, я уже не смогу приехать на тот срок, на который рассчитывал. Если ты ответишь, я попрошу отложить этот вопрос до праздников. Хотя мне и вообще не хочется соглашаться. Начнутся бесконечные командировки, административные дела, и наукой заниматься будет некогда.

С женой мы расстались. Сын у тещи.

Зол я, кругом одни вопросы и неопределенности. . .

О каких отгулах ты говоришь? У нас так вопрос с отгулами не ставят. Я работаю по вечерам не потому, что меня просят или заставляют, а по собственной инициативе. И так все. Наука на первом плане. В конце концов все мы работаем на себя и свои диссертации.

Разумеется, если я потребую, меня отпустят и даже за свой счет дадут. Но для этого надо быть нахалом и безответственным.

Жду от тебя письма.

Пиши же, наконец.

Борис.

Телеграмма.

*«ВЫЛЕТАЙ СРОЧНО. МАМА УМИРАЕТ.
ОТЕЦ».*

Такси. Сборы. Институт. Снова такси.

«У меня телеграмма! Пропустите меня. Дайте мне билет! У меня телеграмма!»

В голове было пусто, билась в висках, как пойманная муха, одна мысль: «Успею, успею, мамочка, родная, я успею!»

За полчаса до Ленинграда самолет развернулся и пошел на Москву. Ленинградский аэропорт не принимал. Там был туман. Обычный, будничныи, занудный, ленинградский туман.

Двое суток рейс откладывали на полчаса, на час, на три часа. Двое суток я просидела на чемодане. Слез не было.

Когда я подъехала к дому, поднялась на третий этаж и остановилась у двери — сердце сжалось, я стояла, прислонившись лбом к косяку, и боялась позвонить.

Открыл отец. Я взглянула в его почерневшее лицо. . .

— Мамочка...

— Еще нет...

Успела.

Я вошла в палату, наклонилась над койкой, поцеловала сухие, сжатые губы.

— ...Маленькая... Приехала...

Она умерла в праздник, у меня на руках. Она лежала и тихо стонала, потом стала переворачиваться на бок. Я помогла ей, положила удобней и взяла за руку. Она затихла и чуть слышно изредка всхлипывала, уткнувшись носом в подушку, так что был виден один закрытый глаз. Вдруг в горле у нее что-то заклокотало, забулькало, черная капля выступила в уголке рта и поползла по подбородку. Она вытянулась, вздрогнула и широко открыла коричневый птичий глаз, уставившись в меня пронзительным ясным взглядом, который кричал и звал на помощь, и так и замер в этом крике. Я, похолодев, смотрела в этот глаз и никак не могла поверить, что это — конец.

Прибежала маленькая старушка в халате, мама подруга еще с войны.

— Все, — сказала я, — ее уже нет.

Старушка всплеснула руками и сразу заплакала, запричитала в голос. В дверях собрались любопытные. Они вытягивали шеи, заглядывая в угол, и смущенно отходили в сторону.

— Бедная девочка, — плакала старушка, — бедная девочка.

Она была хорошим человеком. Все эти месяцы она приносила из дому бульоны и бегала по магазинам, разыскивая то, что захочет вдруг мама, хотя она и есть-то уже не могла. Но сейчас я не могла видеть ее слез.

— Выйдите, — сказала я не очень вежливо. — ...Выйдите, я прошу вас! Оставьте меня одну!

Я устало опустилась на табуретку рядом с кроватью...

— Ничего, — сказала я и погладила руку мамы. — Ничего. Главное — выдержать. — Я снова погладила ее руку и прижалась к ней лицом.

Город праздновал. Толпы людей текли по шумным нарядным улицам, улыбаясь и радуясь. Я плыла вместе с толпою и смотрела на разноцветное зарево в небе. «Пушки бьют. Салют. . . А мамы нет. . . Снова пушки бьют. Салют. . . Это и в ее честь и память. Она заслужила. . . Но ее уже нет. Нет! . . Нет! . . Нет! . . » И я снова смотрела на зарево в небе и плыла вместе с толпою. Ближе к дому. Отец еще ничего не знал.

Всю ночь

Я не могла уснуть. В соседней комнате всхлипывал и ворочался отец. Стоило прикрыть глаза, и я снова отчетливо видела белые стены покойницкой. Молоденькая медсестра, очевидно практикантка, попросила помочь ей. Был праздник, и дежурных сестер не хватало. Я встала к носилкам, и мы понесли их через двор к длинному мрачному зданию. Здесь нас встретила пожилая медсестра. Девушка убежала в отделение, а эта медсестра открыла тяжелую дверь, и мы вошли в большую полутемную комнату.

Мы поставили носилки на пол, сестра достала ключ и открыла дверь в конце комнаты. Снова подняли носилки и вошли в ярко освещенное помещение с белыми стенами. И здесь были столы. . . Стало горячо и больно глазам. Мы пронесли носилки через всю комнату к свободному столу и стали перекладывать на него то, что два часа тому назад было моей мамой. Тело было легкое и маленькое, как у ребенка. Я и обхватила его как ребенка, и голова мамы на мгновенье прижалась к моей груди. Я уложила ее на стол, поправила губы, глаза и поцеловала в лоб.

— Вы мужественная девушка, — сказала медсестра.

День

Есть я не могла. Приготовила отцу завтрак, но и он поковырял вилкой в тарелке и молча встал из-за стола, вытирая глаза и сморкаясь в платок.

Я поехала в больницу одевать маму и заказывать гроб и венки, а отец остался по хозяйству.

У ворот больницы я встретила младшую сестру мамы, которая, увидев меня, заплакала и засеменяла навстречу, размазывая по лицу слезы:

— Как же так, Наточка, а я пришла, думала — приемный день сегодня, пойду навещу, а мне говорят: уже нет ее. . . Как же так. . .

Я стояла и молча смотрела на мамину сестру.

У мамы было три сестры, и эта была самая младшая из них. Старшие сестры прожили трудную, заслуживавшую уважения жизнь. А младшая всегда была какая-то нескладная и несчастная. Муж бросил ее, она пила, опустилась. У всех родных она вызывала брезгливую жалость. Она все время у кого-нибудь что-нибудь просила, и все помогали ей, морщась и относясь к ней как к неизлечимо больному ребенку.

Она перестала плакать и быстро взглянула на меня.

— И почему ты такая жестокая? Как каменная, ни слезинки не проронила. . .

— Слезы — еще не мера горю, — оборвала я ее, — поезжайте к нам, отец там бегаёт по магазинам, должны подъехать наши, помогите им готовиться к поминкам.

— Я не могу сейчас, — встрепенулась она, — мне нужно домой, у Верочки ключа нет, она пошла в театр, скоро должна вернуться.

«Вот всегда так», — подумала я и отвернулась.

— Как хотите. Хоронить будем завтра. Позвоните вечером, узнаете, когда будем выносить.

Я пошла к покойницкой, постучала и спросила, когда можно будет одеть маму. Сказали, что нужно подождать час, потому что врач еще не закончила вскрытие.

Я села на скамеечку во дворе и стала ждать. По небу плыли тучи, дымила кочегарка, из открытой форточки за моей спиной раздавались крики какой-то женщины, которая жаловалась, что ее неправильно уволили. Было жутко сидеть, дышать, курить, смотреть по сторонам и знать, что сейчас делается в комнате с белыми стенами.

Вышла врач, неся заключение вскрытия. Я поднялась ей навстречу.

— Вы кого ждете? — спросила врач.

Я назвала фамилию.

— Вот, — подавая заключение, сказала она. — У вашей мамы опухоль была, — она развела руки, — с кочан капусты. Метастазы во всех лимфатических узлах, и уже начался распад. Безнадежное дело, все равно бы не выжила, даже если бы мы пытались сделать операцию.

Я молчала. Болело сердце, стучало в висках, невыносимо хотелось одного: проснуться. . .

Я одела мать, сходила в райсовет за свидетельством о смерти, съездила на кладбище и заказала место, потом помогала дома по хозяйству, и весь день меня не покидало ощущение нереальности происходящего, как будто не я шевелю руками, переставляю ноги, что-то говорю, что-то делаю, а кто-то совсем другой, а я только наблюдаю со стороны. . .

Ночью я опять не сомкнула глаз.

Еще день

На следующий день маму хоронили. Собралось много народу. Я даже и не предполагала, что у нас столько родни. Приехали товарищи по работе и представители партийной организации. Двадцать лет мама проработала в военном госпитале. Одна женщина — я ее знала, она работала с мамой, — произнесла прощальную речь и расплакалась. Потом все разместились по автобусам и поехали на кладбище.

На кладбище, пока ждали катафалк и все тихо переговаривались, поеживаясь от холодного ветра и переминаясь с ноги на ногу, ко мне прицепился вислоухий толстолапый щенок. Он подскакивал, подрагивая хвостиком, кусал за ноги, ложился на спину и глядел недоуменно: почему это я не хочу с ним поиграть? Гроб поставили на катафалк, и процессия потянулась через все кладбище.

Лошадь шла привычно медленно и чинно, лениво помахивая хвостом. Щенок увязался за мною, сначала он путался под ногами, а потом весело побежал впереди, поглядывая на меня. Потом он обиделся за невнимание и свернул на боковую аллею искать более отзывчивых друзей. Наконец дошли до места. Дальше ехать было нельзя. Гроб сняли и на плечах поднесли к могиле. И снова какой-то незнакомый мужчина в широкополой шляпе произнес речь, и все

стали подходить прощаться с мамой. Она лежала в гробу вся в цветах, далекая и непохожая на себя.

Гроб накрыли крышкой, заколотили. . .

Я бросила в темное горло ямы букет цветов, потом маленький твердый комочек глины.

Через полчаса на месте могилы образовался небольшой холмик, аккуратно оправленный белой раковиной, которой не было видно под цветами и венками. Все было кончено. Народ медленно потянулся к выходу с кладбища.

Я оцепенело шла рядом с отцом, держа его за руку. Мне так и не верилось, что теперь уже не придется приезжать домой, слушать ласковое ворчанье мамы и пить чай с вареньем, а придется приходить сюда. И зимой и осенью. И класть цветы на маленький горбик вспученной почвы или поправлять его осевшие бока и отгребать от них снег.

После поминок, когда все разъехались, я убирала посуду и мыла пол, и все было так буднично и просто, как будто время остановилось где-то в прошлом и после этого уже ничего не случалось. Только хотелось молчать, и в сердце покалывало иголкой и звенело верхнее скрипичное «до-о».

Так же буднично и просто было и в последующие дни.

Я бродила по городу, все еще празднично разодетому, с гирляндами ламп, висевшими поперек улиц, как елочный игрушечный «дождь»; гуляла по Неве, где стояли корабли, горевшие по вечерам, как серебряные брошки на черном фоне темноты; дома читала книги, кормила рыбок в аквариуме, смотрела телевизор и только боялась наступления ночи.

Ночью я лежала, глядя на силуэт горшочка с цветами, висевшего на стене, и слушала, как тикают часы и тяжело дышит отец, изредка постанывая во сне.

Надо решать

За городом уже наступила зима. При подъезде к станции, снег, освещенный фонарями, становился голубым и искрился тысячами маленьких солнц, а потом солнца медленно гасли.

В вагоне был полумрак, где-то пели. И мне было как-то странно и дико слышать это пение: казалось, я совсем забыла, что это такое.

В Зеленогорске я вышла и села в автобус. В автобусе никого не было. Я прошла в конец его и села на заднее сиденье. Кондуктор дремала на своем откидном стульчике. Был конец смены, она уже устала и хотела скорей домой, в тепло, к мужу и детям. За окном гудел ветер. Лес обступал дорогу с обеих сторон, и автобус долго петлял по дороге, подставляя ветру то лоб, то бока. Дребезжали стекла, потому что автобус торопился, и из-под его колес со звоном рассыпались мелкие камешки и песок.

Стонал лес, изнемогая под ветром, и этот стон доносился в автобус и сливался с дребезжанием стекол и усталым ворчанием мотора.

...Снег, снег, снег... Белые мухи кружились в воздухе и садились на лапы елей и сосен. По дорожке к заливу, сбегавшей круто вниз с пригорка, снежинки катились, словно головки одуванчиков.

На заливе было холодно и тихо. Ветер, нагулявшись в со снах, уставал, добираясь до берега, и снежинки висели в воздухе мерцающим белым дождем, из-за которого ничего не было видно.

Залив угадывался только по шуршанию волн о холодный, твердый песок. Но иногда вдруг откуда-то налетал вихрь, снежинки разлетались в стороны, и тогда меж ними мелькали голубая луна и зеленые звезды. И все кружилось, кружилось, кружилось. Потом вихрь уносился дальше, и все стихало, и снова был только мерцающий белый дождь.

Я стояла, прижавшись спиной к сосне, смотрела на снег и думала: «Как жить дальше?»

«Ах, ничего у нас с тобой не получится...»

«Как ты любишь голубую мукой мучиться...» Где я это слышала? Ах да, в вагоне... «Видишь, я стою босой перед вечностью. Так зачем косить косою — человечностью».

До чего же верные слова бывают у песен. В самую точку...

— Борис? Здравствуй, Борис. Я рада тебя видеть. Да, я опять уезжаю... Жена твоя? Где? У кассы?..

Ну что ж, так оно и должно быть, ведь правда?..

Отец, я уезжаю...

— Когда ты приедешь теперь, доченька?

— Если все уладится, пап, то в декабре, когда будут получать оборудование.

— Ты так и не хочешь переехать сюда?

— Сейчас нет. Не могу. Ты ведь понимаешь меня? Я должна встать на ноги. Сама. Кажется, это уже начинает получаться, пап.

— Ты ведь у меня теперь одна.

— Отец, ты прости. Но я не могу сейчас. Береги себя... Ты ведь тоже у меня один.

— Хорошо... Я жду тебя... До свиданья, моя девочка... Будь сильной...

— До свиданья, пап... И ты держись. Помни, что я всегда рядом, где бы ни была.

Юрий

Красавин

ЯГОДА

*Веселым воздухом медвяным
Играет ветер над кустом.
Тобой полным-полна поляна
Под хвойным, елочным перстом.
Еще не тронутая птицей,
Вся алая,
Ты под рукой!
Тебе бы соком перелиться
В зарю
Над Каменкой-рекой.
Но где ж ты, где,
И как проехать
В твои брусничные края,
Ты за каким дремучим эхом,
О муза — ягода-заря?
Мне собирать тебя годами,
Беречь для горького вина.
Пусть будет песня между нами
Людским добром освещена. . .*

КЛЯТВА

*...И частым-частым, чистым эхом
Пусть дышат легкие твои.
За векою ложится века,
И соловьи как соловьи.*

*В кустах продрогших не уснули
И славят песенную стброну...
Они серебряных свистулек
Не отдадут глухому вброну.*

*И песен мед
Заполнил соты,
И обошла меня беда...
Россия, все твои заботы —
Мои сегодня и всегда.*

СЕКРЕТ

*Не секрет говорю, не секрет:
Длинен дым у хороших бесед.
Длинен стол у хороших друзей...
Длинный путь
Не пройдешь скорей,
Если будешь спешить, темнить,
Голубые строчки длиннить...
Но секрет говорю, секрет:
Весь божественный белый свет...
Открывается очень случайно,
Даже самая малая тайна.
Даже самая малая птаха
Высоту набирает от взмаха.
И звенит на крыле рассвет.
И секрет говорю, секрет:
Скрытых истин скупая соль,
Жизнь, нанизанная на боль, —
Тех проверит, этих простит,
А меня стихом осенит...*

ПАМЯТИ А. Е. РЕШЕТОВА

Сверкай, звучи, ручей лесной
Прекрасной черточкой живой
Родимой стороны.

А. Решетов

*Пурга, пурга
Залижет двери,
Залижет преданно,
Как пес...
И нету Вас, —
Кому же верить,
Кому читать стихи всерьез?
Кто бескорыстно даст мне руку
И без оглядки вступит в бой?
Спасибо Вам
За всю науку.
Любою «черточкой живой»
Я верен Вам.
Как Вы, сумею
Любить родную сторону...
Декабрь.
Пальцы леденеют.
Но голос Ваш
Несет Весну.*

ДЫНЯ

1

*Прохлада шла из просек
И таяла в лугах.
Работает насосик
Медовый в клеверах.
Настрой души — к отлету
В сентябрьские края...
Завосковели соты,
Трудись,
Пчела моя!
Звени, моя медовка,
Над легкой синевою.*

*Мне солнца стопудовку
Держать над головой.
Пусть комары, как помпа,
Выкачивают кровь...
Ведь тишина — не бомба,
Заряженная вновь...*

2

*Она, она, как жница,
Без всяких баю-баюшек
На поле спать ложится,
На самый, самый краешек.
Пусть ее не сдвинет
С земли
Активный стронций...
Она — большая дыня,
Заряженная солнцем!*

* * *

*К соловьям залетают синицы
На распевку
В синеющий сад.
Подо мной скрипят половицы,
Сапоги на ногах
Скрипят...
В четырех стенах,
Хуже узника,
Пол вымериваю шагами...
И сосновую
Слышу музыку,
Слышу музыку
Под сапогами...
Столько музыки
В половицах —
Сколько скрипа
В сапогах.
Столько посвиста
В синицах —
Сколько высвиста
В соловьях!*

Борис

Водопьянов

Два рассказа

Сложный перевод

Однажды мне довелось проводить по Енисею норвежский пароход «Фро», шедший в Игарку за лесом. Капитан его, Мартин Хейс, будто задался целью удивлять меня на каждом шагу. Началось с его внешности. Рыжлое лицо с брезгливо отвисшей нижней губой, воловьи глаза, короткая шея, огромный живот, начинавшийся от самого подбородка и нависавший над брючным ремнем гигантской каплей, готовый вот-вот сорваться от собственной тяжести. При всем этом капитан был подвижен и вспыльчив.

— Так вы всерьез отказываетесь от рыбы? — гудел он за столом, когда мы ненадолго спустились в его капитанский салон пообедать. После каждой фразы Мартин Хейс шумно втягивал воздух в свои могучие легкие. — Напрасно, лоцман, не разделяю ваших вкусов. Не каждый день на Енисее представляется возможность отведать настоящую барбадосскую макрель, да еще молодую. Не возражайте, лоцман! Я и сам знаю, что енисейского жителя не

удивишь рыбой. Здесь она кишит за бортом. Нельма, сиг, муксун, осетр, этот самый... — капитан пощелкал пальцами, вспоминая. — Омуль, омуль! Но, лоцман, никаких сравнений! Река есть река, а Барбадос — это Барбадос. Смотрите, разве это не красавица?

Зажаренная в сухарях «красавица» лежала на блюде посреди стола и, казалось, прислушивалась к нашему разговору: ее огромный мутный глаз поблескивал настороженно и холодно.

Поразительны были географические познания капитана. Еще в заливе, в самом начале проводки, он сказал мне, показывая рукой в сторону берега:

— Унылый пейзаж, лоцман. Благодарю судьбу, что я родился норвежцем. Итальянец или грек зачах бы от одного их вида.

Потом добавил поспешно:

— Ничего, лоцман, от Дудинки картина повеселеет, начнется тайга.

Он утешал меня!

— Сначала редколесье, — продолжал капитан, — а на подходе к Убойному мысу уже попадают лиственницы толщиной в обхват, — он энергичным жестом выбросил руки вперед и сцепил их в замок. Впрочем, размеры его живота заметно повредили этой наглядности. — Очень резкий переход от тундры к тайге, недаром на картах климатические пояса обводят четкими линиями...

А вот теперь, довольно полно перечислив енисейские породы рыб, он широким взмахом рыбного ножа стесал бок у одной из их барбадосских соплеменниц и шумно кинул его к себе на тарелку.

— Никаких сравнений, лоцман!..

Пока речь шла о пейзажах и климатических поясах, мне все было ясно: подобные сведения легко отыскать в лоции. Но о рыбах в современных лоциях писать не принято: какое отношение имеет рыба к торговому мореплаванию! Да и то, что на Убойном мысу попадают деревья толщиной в обхват, — откуда это? В лоции просто сказано: «Мыс покрыт лесом». А «толщиной в обхват» — это уже беллетристика, подробность, схваченная чьим-то живым глазом. Чьим?

А капитан, перевернув рыбину и стесав ей второй бок, продолжал:

— Может быть, вы, как патриот здешних мест, предпочитаете сырую рыбу? Любимое блюдо енисейских аборигенов. Если строгать мороженую рыбину вдоль, то получится «строганина», а если резать поперек, то «рубанина». Потом берется уксус, перец, горчица и соль, все это размешивается в кипяченой воде, и получается адский соус — «макало». Это и впрямь съедобно, лоцман?

— Это великолепное блюдо, — ответил я, хотя, бог свидетель, никогда в жизни не отвеживал столь экзотичной стряпни.

— Суровые края — суровые нравы, — умозаключил капитан и придвинул к себе хрустальный бокал с ананасными кубиками в золотистом сиропе.

— Вам уже приходилось бывать здесь? — спросил я. По-моему, он ждал этого вопроса.

— Никогда в жизни, — ответил капитан с некоторым даже пафосом. — Просто я не люблю ходить в гости с пустыми руками.

И, видимо, решив, что произведенный эффект может оказаться слишком сильным, поспешил смягчить его.

— Наверное, я не всегда грамотно выражаюсь, — сказал он. — Я учился английскому языку у американцев, когда работал в Сиэтле в доках. Разве это английский? Суррогат. До сих пор путаюсь в глагольных формах, — вы не заметили?

— Есть немного, — согласился я, вставая из-за стола. — Пора на мостик, мистер Хейс. Скоро будет поворот, потом Дудинка.

Мой взгляд мимоходом коснулся рыбины. На блюде лежал голый скелет, уцелела только голова: в плафонном полумраке рыбий глаз светился тоскливой укоризной...

Хорошая погода всегда радость для лоцмана. Но в этот раз она была особенно кстати. Небо было чистое, солнце спокойно-теплое, в природе чувствовалась первая осенняя усталость.

— Русские цари были очень хитрые, — гудел Мартин Хейс; мы с ним стояли на открытом крыле капитанского мостика. — Поставили на берегу десяток деревянных изб, назвали все это Дудинкой и стали собирать налог с местных жителей. Любому мальчишке ясно, что дело тут не в налогах: что тут соберешь в этой пустыне? Главное — столб, за столбить землю, чтоб ее другие не заняли. Побольше себе,



себе, — капитан сделал загибающее движение обеими руками, но опять живот его свел на нет всю красноречивость жеста. — Я не прав, лоцман?

— Сама история согласна с вами, — ответил я.

Пароход уже огибал высокий и обрывистый Горошков мыс, за которым вот-вот должен был открыться город.

— Отсюда и судьба этого бедного селения, — с громкой убежденностью резюмировал капитан. — Карьера ночного сторожа. За два с половиной века — все тот же десяток изб, все те же ездовые собаки, прикованные на ночь к толстым бревнам, чтоб не разбежались.

Он цитировал наизусть. Ну конечно, книга, и наверное — интересная.

— Выражаясь научно — нет объективных причин для роста.

— Ну почему же? — с серьезным видом возразил я. — Вы говорите о двух с половиной веках, а теперь Дудинке целых три. За эти пятьдесят лет кое-что изменилось. Изб, например, стало десятка два, не меньше. Пристань, телеграф, моторные лодки. . .

— Гигантский прогресс! — буркнул капитан саркастически-раздраженно: ему, наверное, не нравилось, что кто-то посягает на абсолютность его познаний. — Ночной сторож научился читать газеты.

Пароход тем временем обогнул мыс, и далеко впереди, у пологого склона холма, привычному глазу уже была различима густая и пестрая толпа порталных кранов.

— Вот и лес показался, — сказал капитан, поднося к глазам бинокль. — Я же говорю, что лес начинается сразу, стеной среди голой тундры. Смотрите, как его изукрасила осень! А это что там блестит?

Там блестели огромные баки нефтехранилища. . .

Следующие сорок минут прошли в полном молчании. Капитан не отрывал бинокля от глаз, его сердитое дыхание неплохо сопровождало приглушенным вздохам паровой машины. Уверен, что в эти минуты он желал только одного: чтобы я отошел от него куда-нибудь в сторону, а еще лучше — если бы вовсе удалился с мостика. Стоя с ним рядом, я физически ощущал, как наливается раздражением его огромное тело. Что-то подобное происходит с грозовой тучей. Я ждал громового разряда.

Все было на месте. Пятиэтажные корпуса тесно толпились по склону холма. У бетонных причалов успокоенно дремали десятки морских и речных судов. Громадная телевизионная башня парила над городом. Крикливые маневровые тепловозы толкались на подъездных путях среди длинных составов с норильской рудой. Грузовые площадки порта были тесно заставлены машинами, станками, гигантскими колесами шахтных подъемников, тюками прессованного сена, мешками с цементом. Вдали над тундрой висел вертолет. . . И громовой разряд грянул.

— Райком! — резко выпалил капитан, показывая рукой на голубое здание замысловатой архитектуры. Здание стояло у самого берега и своим цветом резко выделялось среди красно-кирпичной застройки города.

— Речной вокзал, — возразил я.

— Райком! — выкрикнул капитан с горечью и какой-то детской обидой в голосе. — Райком! Я знаю! Самый лучший дом — всегда райком! . .

У меня тряслись плечи от беззвучного смеха. Нет, меня развеселила не наивность, с которой капитан пытался мстить

за свое поражение. Просто я отлично знал это старое уютное здание с его пустым холодным залом, из полутемных углов которого вечно тянуло сыростью.

— Райком! — теперь уже свирепо рявкнул Мартин Хейс и, не взглянув на меня, прямо с биноклем в руках ринулся вон с мостика. . .

После Дудинки капитан больше не появлялся на мостике. Когда стюард пригласил меня на ужин, я застал в салоне сиротливо пустующий стол, накрытый на два прибора. Я уже добрался до десерта, когда в дверях салона появился Мартин Хейс. Он был угрюм, его помятое лицо хранило следы глубоких душевных переживаний. В руках у него была толстая книга в темно-синем переплете.

— Конечно, вокзал, — измученным голосом согласился он и с полным безразличием швырнул книгу на диван. Потом сел к столу и потупился в пустую тарелку.

— Можно посмотреть? — спросил я, протягивая руку к книге.

На потертом переплете четко золотом было оттиснуто: «Сэр Дэвид Сидней, член Королевского Географического общества. Север русской Сибири — история и география. Кембриджский университет, 1921 год».

В полиграфическом отношении книга была сработана на совесть. Широкие поля для заметок, рисунки на вкладках переложены папиросной бумагой. На рисунках — вся экзотика старого Севера: олени и собачьи упряжки, деревянные песцовые ловушки, туземные лица, одежда, оружие. А вот и Дудинка: у подножья высокого холма горстка приземистых деревянных избушек. . .

— А насчет райкома — тоже в этой книге? — поинтересовался я.

— Нет, — буркнул капитан. — Совсем другой источник.

— Ценная вещь, — сказал я, возвращая книгу на место. — С удовольствием почитал бы.

— Очень сложный перевод, — нелюдимо отозвался капитан; тарелка перед ним по-прежнему пустовала. — Для меня, по крайней мере. Все эти проклятые глагольные времена. . .

Я с ним не спорил. Особенно насчет времен.

Песня

Огромное океанское судно, груженное лесом, уходило из Игарки в далекую Аргентину. С одного борта теснился к берегу протоки деревянный город с причалами, домами и глинистыми спусками к воде. С другого, притиснутые к обрывистому берегу острова, стояли на якорях морские суда. Они разногласно гудели, прощаясь со своим собратом, желая ему счастливого плавания.

Теплый летний вечер уже наложил первый розовый оттенок на чистый небосклон, тени быстро вытягивались в длину.

Первую лоцманскую вахту стоял мой напарник, а я в ближайшие два часа был свободен и мог отдыхать. Но мне очень не хотелось уходить со шлюпочной палубы в духоту лоцманской каюты. Я смотрел на уплывающий назад берег, уже испытывая знакомое чувство временной отрешенности от него.

Наконец узкая протока кончилась, судно вышло на простор Енисея и задрожало всем корпусом, набирая ход. Встречный ветер становился все сильнее и прохладнее. Через несколько минут мне стало как-то неуютно в нейлоновой рубашке с закатанными рукавами. Я вошел в длинный коридор жилой надстройки, сделал несколько шагов по ковровой дорожке и вдруг замер.

Дверь одной из кают была приоткрыта, и оттуда доносилась тихая песня под гитару:

Стелется, стелется путь голубой,
Доля морская сурова... —

пел спокойный, задумчивый голос.

Сердце у меня забилося учащенно. Ну, вот и встретились. Сейчас я сделаю еще один шаг и увижу кого-то из своих друзей по мореходному училищу. Долго мне пришлось ждать этой встречи, почти шесть лет. За это время успел я провести по Енисею не одну сотню морских судов, познакомился и подружился со многими штурманами и капитанами. Но так уж сложилось, что среди сотен встреченных мною людей не было ни одного моего однокурсника. Другие лоцмана на других судах то и дело встречали моих однокашников.

ков и передавали мне их горячие приветы. Самому же мне в этом отчаянно не везло. И вот теперь, наконец-то!

Нет, ошибиться было невозможно. Это был кто-то из наших. Порукой тому была сама песня. Ее слова служили нам паролем. Наши слова, наша песня. . .

Мы были курсантами мореходного училища. Нам было по семнадцать лет. Жизнь лежала перед нами нетронутой целиной, которую нам еще предстояло вспахать и засеять и когда-нибудь собрать урожай.

А в то лето мы прокладывали первую борозду. Пенная, она тянулась за кормой нашего учебного парусника. Парусник нес гордое имя «Шквал».

Наш путь вел с Балтийского моря на Черное. Запой первых впечатлений. Парное молоко белых ночей. Кильский канал. Чистенькие прибрежные городки, пестрые, как на почтовых открытках. Чугунное молчание гибралтарских фортов. . .

На Черном море первая стоянка предполагалась в Ялте. Там, в поддержку давней традиции, мы должны были выступить с самодеятельным концертом.

Готовились вовсю. Бурное время рождает своих вождей. У нас это был Володя Брагин, парень скуластый, тонкий в поясе и порывистый, как молодой Колумб. До мореходки он два или три года занимался в музыкальной школе. На подходе к Ламаншу Володя собрал нас на верхней палубе и сказал:

— Братцы, что такое Ялта? Верно, курорт. А вы понимаете, какой это зритель — курортник?

Конечно же, мы понимали.

Хороши бы мы были моряки, не водись среди нас плясунов. Были и музыканты: два аккордеона, баян, две трубы, кларнет, контрабас и даже одна скрипка. А гитаристов пришлось брать в оркестр с разбором.

Остальные составили хор, девяносто шесть голосов. И на другой же вечер над заштилевающим морем грянул марш из «Фауста»:

Ратная слава и гром побед
Нам непрестанно звучат вослед! . .

Сперва нестройно, потом голоса, будто пряди в манильском тросе, переплелись в один тугой и надежный.

Чудесная штука — хор. Как в жизни: приглядишься к каждому — что он такое? — а вместе какие чудеса творим! . .

Дирижировал хором Володя. Он горячился, когда мы ввали, и, обрывая пение, кричал:

— Выше, выше ребята! Первые голоса, вам говорю!

Первые голоса брали выше.

С мостиков встречных кораблей на нас удивленно глазели окуляры биноклей: что, мол, за чудо? А на подходе к Гавру голландский пассажирский лайнер, стройный и белоснежный, стал подворачивать к нам поближе, привлеченный пением. Сколько там было пассажиров на бесчисленных палубах — настоящий цветник из пестрых нарядов. Ребята, несшие учебную вахту на мостике, уверяли потом, будто в бинокли хорошо было видно, как аплодировали нам пассажиры. . .

Сам Володя слыл у нас лучшим плясуном. Теперь он готовил свой особенный номер, способный ошарашить публику. Ну, раз уж особенный, пусть и для вас он будет сюрпризом. Скажу только, что кроме Володи в этом номере были заняты два наших спортсмена-штангиста.

В общем, все шло хорошо, пока. . .

Слева за горизонтом лежали берега Франции. Атлантический океан дышал грудью спящего атлета — мощно и спокойно. День занимался в магниевом свете жаркого южного солнца.

После завтрака мы занимались извечным матросским трудом — драили палубу. Искусство искусством, но ведь не плавучая же консерватория была у нас.

И то сказать, в жаркую погоду нет занятия приятнее, чем мытье палубы. До пояса голые, в парусиновых штанах, закатанных до колен, мы не нуждались в подбадривании. Терли палубу песком и жесткими щетками, на соду и мыло не скупились. Струи забортной воды туго хлестали из шлангов, рождая десятки маленьких радуг.

Чтобы нам веселее работалось, радисты включили палубную трансляцию на полную мощь. По радио звучали песни, все больше знакомые, захваченные работой, мы даже не замечали их, как не замечаешь воздуха.

Кусок палубы от бака до грот-мачты уже резал глаз яркой желтизной, когда Виктор Жуков, нескладно большой

и молчаливый, вдруг выронил из рук швабру и замер на месте.

Наверное, у каждого из нас душа, как струна рояля, отзывается на звуки хорошей песни, только у некоторых эта струна настроена тоньше.

Виктор Жуков первым застыл на месте, — это очень важно для нашего рассказа. А там уж Володя Брагин оцепенело поднялся с корточек, и, как держал в руках щетку, так и забыл про нее, только капли горячего пота катились по его скуластому лицу. За ним — третий, четвертый, и вот уж все мы стоим, боясь шелохнуться.

А над морем летела песня. Разве передашь словами, какая это была песня! Нет, не только эйнштейновские формулы способны останавливать время!..

Потом наступила тишина, лишь было слышно, как шумит вода, выбиваясь из брошенных шлангов.

Первым опомнился Володя Брагин.

— Братцы, — сказал он, — что у меня в жилах — кровь или мятные капли? Зубы стынут во рту.

Ответом был общий вздох:

— Да-аа!..

От грот-мачты и дальше палубу домывали в силу корабельных обязанностей. Только раз скорбную тишину нарушил несмелый голос Генки Потапова — самого щупленького и самого остроносенького из нас:

— Братцы, а что, если мы эту песню. . . А?

Ему ответили зло и насмешливо:

— Ты что, успел записать слова пяткой на палубе?..

Репетиции в тот день не было. Что репетиция? Что все эти хоры из «Фауста»?..

Ночью парусник покачивало. В жилой палубе не было слышно ни смеха, ни шуток, только поскрипывали железные кольца, на которых держались подвесные койки.

Мы уже начали засыпать, когда Володя Брагин вдруг прыгнул со своей койки и закричал:

— Эврика, братцы! Дашь песню!

Что с ним творилось! Глаза его пылали, весь он был в порыве.

Интересное было зрелище. В синем свете ночных лампочек несколько десятков крепких парней, сверкая голыми спинами, толпились вокруг оратора. Ораторствовал Володя

плохо. То ли очень волновался, то ли спешил, но слова его никак не вязались в предложения.

— Ух ты! — кипятился он, видя, что мы ничего не понимаем. — Легче гвозди заколачивать в стальную обшивку, чем добрые мысли в ваши головы!

Наконец мы уразумели. Володя предлагал нам самим сочинить слова к песне, а уж мотив-то мы запомнили.

Тут последовал настоящий взрыв энтузиазма, радости и решимости. Можно было подумать, что здесь собрались сплошь одни поэты, для которых написать слова к песне — дело даже не времени, а только чернил и бумаги.

Володину мысль моментально развили. Умные головы предложили объявить конкурс. Другие, не менее умные, подсаказали учредить премию.

Было решено дополнительно к славе купить победителю складчину хорошую курительную трубку или что-нибудь не менее достойное.

На другой день мы вошли на рейд Сен-Назера и, получив от капитана разрешение, отправились в город на поиски. Хорошей трубки мы не нашли, зато в канцелярском магазине долго сомневаться нам не пришлось. Правда, на пишущую машинку размером в учебник навигации у нас не хватило денег, зато авторучка... Хороша была ручка. Перламутровая с золотой инкрустацией, она была толщиной в тюбик зубной пасты. Но потрясало другое. В приложенной к ней инструкции говорилось, что одна заправка ручки рассчитана на среднюю продолжительность человеческой жизни. Разумеется, никто из нас не желал будущему лауреату ограничить свою жизнь средней цифрой, но ведь на годы, которые составят разницу, сможет же он подыскать себе еще что-нибудь...

Покупка была доставлена на борт, обнародована и спрятана подалше.

Утром следующего дня на конкурс поступило первое стихотворение, а к вечеру их было целых семь: семь анонимных листочков, сложенных угольничком, лежало под Володиной подушкой.

Система отбора была простая: каждое новое стихотворение сравнивали с предыдущим и большинством голосов выявляли лучшее. К вечеру определялся шедевр дня, и неизвестный автор его долго не мог уснуть, потев ладонями от волнения.

Поэтами рождаются, говорили древние, и наш конкурс целиком подтвердил это. Посмотрели бы вы, что за стихи писали наши ребята! Чудовищная смесь разных школ, течений и стилей. Адская коллекция разнообразных рифм и размеров. Чистый ямб и чистый хорей. Ямб и хорей через строчку. Четыре стихотворения были написаны белым стихом, два — рифмованной прозой. И даже было одно, сложенное из гекзаметров наподобие древней «Илиады». Черт возьми, уж не появился ли среди нас новый Гомер!..

Было над чем посмеяться. Мы как раз проходили Бискайю. Шторм согнал нашу музу с верхней палубы в жилую. После вечернего чая мы тесно рассаживались по скамейкам, и начиналось веселье, в котором удары волн за бортом перемежались с голосом чтеца, со смехом и нередко — с сигналами учебного аврала.

Смеяться-то мы смеялись, но когда на подходе к Танжеру на штурманский стол легла карта Средиземного моря, к нам явилось прозрение. Сами посудите: даже с заходом в Палермо много ли времени оставалось у нас? А конкурс — что он приносил, кроме веселья? То, что мы отобрали, было лучшим, но не было хорошим, и даже вовсе ни к чертям не годилось. Между тем наши музыканты уже заканчивали разучивать мелодию и теперь проходу не давали Володе:

— Ну что там поэты — скоро?

Володя осунулся и похудел, остались одни скулы. Да и всем нам было не легче.

И тогда. . .

Откройте Джека Лондона и найдите строчки, где описан восторг золотоискателей, когда в мутно-сером потоке протых песчинок вдруг блеснет первая золотая.

Будто про нас написано, про ту самую минуту, когда запыхавшийся Володя взбежал на учебный мостик и срывающимся голосом выронил:

— Братцы, вот. . . Только что взял. . .

В стихах звучало море. В них чувствовался простор и слышался шорох волны, набегающей на берег.

Пусть океан ударяет в борта,
Мужество с бурей поладят. . .

Как мы реагировали? Мы дружно закричали:

— Кто он, кто?!

И до чего же удивились, узнав, что автор стихов — Вик-

тор Жуков. Нескладный, замкнутый Витька. Быть не может!

— Нет, серьезно, — теребили его со всех сторон. — Ты? Сам?

Виктор краснел до ногтей и не знал, куда девать глаза.

Что значит — семнадцать лет! Разве могли мы понять, что всё на своем месте, что Витькина замкнутость — лишь панцирь, охраняющий потаенную работу его мысли.

— Качать его, братцы, качать!

Братцам дай волю. Нас было много: когда уставали одни, другие приходили им на смену, и Виктор взлетал аж до нижней реи, даром что был не из легких...

Ялта всегда хороша, но особенно ранним утром, когда еще прохладны камни на ее пляжах, когда колонны дворцов свежо белеют сквозь темную зелень кипарисов, а солнце только угадывается по розовой вершине Ай-Петри...

За два часа до подъема нас разбудил громкий шепот, переползавший от койки к койке:

— Братцы, одесситы на рейде...

И верно: кабельтовых в сем от нас стоял на якоре большой трехмачтовый парусник «Товарищ». Так вот чьи стояточные огни видели мы, входя ночью на рейд!

После утренней приборки капитан разрешил нам навестить соседей. В спущенную за борт шлюпку уселось шесть самых лучших наших гребцов. Потом в шлюпку покошачьи упруго прыгнул Володя Брагин. Потом, ослепляя белизной кителя, весомо и значительно спустился старший помощник капитана, и тогда раздалось:

— Весла-аа... на воду!

Здорово гребли ребята: шлюпка так и выскакивала из воды, будто желая взлететь.

Назад Володя возвратился серьезный и чуть-чуть торжественный. Нашему любопытству не было предела: как там соседи поживают? Но только когда мы все собрались на шканцах, Володя тихо сказал:

— Ребята, вопрос теперь гамлетовский: быть или не быть.

— В чем дело?

А дело оказалось в том, что одесситы тоже собирались

дать концерт — в одном месте и в одно время с нами. Каковы друзья!

— Они, — продолжал Володя, — предлагают отложить наше выступление на завтра.

— Нет! — заревели мы.

— Нет, — сказал Володя. . .

В полдень на самых оживленных перекрестках города синим и красным закричали афиши:

ВСЕ НА СТАДИОН!

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ.

МОРСКОЙ БОЙ НА БЕРЕГУ.

НЕФУТБОЛЬНАЯ ВСТРЕЧА КОМАНД

ДВУХ УЧЕБНЫХ СУДОВ.

И шрифтом помельче шли все подробности.

А когда склянки пробили пять часов пополудни, моторный катер стал партию за партией свозить нас на берег. Вскоре набережная на добрую сотню метров заестрела синими воротниками, загалдела, засмеялась.

Одесситы высаживались в стороне от нас, и мы косились на них чуть-чуть даже с завистью. Хороши они были, все в белом с ног до головы. У нас брюки были черные — северная форма. И кстати пришлось такая разница: теперь нас было не спутать.

Первыми двинулись одесситы, а вслед за ними и мы печатали свой широкий флотский шаг.

Стадион кипел. Густое предвечернее тепло, настоящее на запахах разогретой ливны, дружные рукоплескания, которыми встретили нас, — было от чего закружиться голове.

Не успели мы как следует расположиться по разные стороны от центральной трибуны, как из рядов южан выскочил смуглый, кавказского вида курсант, и, опалив зрителей фиолетовым взглядом, гортанно выкрикнул:

— От мореходов-черноморцев наш пламенный. . .

Он взмахнул рукой и вырвал из хора короткое:

— Привет!

Потом сорвал с головы бескозырку, ловко поймал вторую, выброшенную из рядов, и шустро отсемафорил нам: «Снимаюсь с якоря, даю полный вперед».

Он тут же исчез, будто нырнул в белую пену, а взамен ему из первого ряда выскочило шесть плясунов, и, замерев

на мгновение, чтобы поймать ритм «яблочка», пошли, пошли вприсядку!

Все это было так неожиданно, так стремительно и напористо, будто крепкий шквал рванулся по стадиону. Чего доброго, он и опрокинул бы нас, не успей Володя во время убрать паруса. Он высунулся с правого фланга и сделал нам жест рукой: мол, спокойствие, братцы. . .

Когда утихли аплодисменты, Володя сделал три шага вперед, и в напряженной тишине зазвучал его голос:

— От гранитных берегов, от зеленой балтийской волны, от молчания белых ночей принесли мы вам. . .

Эх, Володя, поубавить бы ему торжественности! А в общем, и неплохо у него получилось, тем более что декламировал он на фоне мелодии, которую тихо вел кларнет.

Все же аплодировали нам сдержаннее. Мы не отчаивались. Одесситы хорошо оттолкнулись, да неизвестно еще было, далеко ли они полетят.

А уж они-то старались! Особенно жгучий кавказец. Что ни номер — то пляска, что ни пляска — то он солист. У бедняги уж и форменка стала хоть выжимай, зато и во взгляде его раз от раза все прибавлялось триумфальности.

Мы тоже не дремали, только пляску мы разумно чередовали с хором. Не то чтоб ловчили, а тактика у нас была такая: все лучшее мы приберегали на конец.

И вот, когда одесситы спели «Ноченьку», а мыхватили из «Фауста», аплодисменты сравнялись по октаве. Прекрасно. Теперь было самое время для решительного удара.

— Шнурки у ботинок расслабьте, лопнут к чертям, — давал последние наставления Володя, пока одесситы занимали публику очередным номером. — Ремни тоже. Главное, братцы, — взволнованно просил он всех нас, — давайте «ха» как можно дружнее, добрѐ? . .

Начало этой пляски ничего особенного не предвещало. Из наших рядов вышло восемь человек, одетых в синюю робу. У каждого на голове был черный замасленный берет. Лица тоже были замаслены и вдобавок вымазаны сажей. Семеро повернулись к нам лицом и, взяв друг друга под руки, изобразили таким образом паровую машину.

Восьмым был механик — юркий и востроносенький Генка Потапов. Также весь сине-черно-масленный, он держал в руках фанерный гаечный ключ огромных размеров. Сделав озабоченное лицо, Генка обошел вокруг машины, что-то по-

правил в одном месте, что-то тронул в другом. Потом подошел сбоку, прицепился гаечным ключом, и — рраз!

Машина не шелохнулась. По стадиону пробежал сдержанный смешок.

Лицо механика изобразило крайнюю досаду. Сдвинув берет на глаза, он почесал затылок и снова прицелился ключом. Та же история.

Повернувшись к стадиону лицом, Генка с минуту сосредоточенно раздумывает, и вдруг какая-то догадка подбрасывает его на месте. Он бежит к другому концу машины, что-то крутит, за что-то цепляется ключом, и вот:

— Уф-фф!..

Машина качнулась в одну сторону, потом в другую. Сперва медленно, потом быстрее и быстрее.

— У-фф! У-фф!..

Незаметно, исподволь вплетается в это движение музыка, и вот уж она задает ритм всей работе. Плавно качается машина взад-вперед, и сам механик с ключом в руках приплясывает в такт ей.

Все стремительнее ритм. Уже частят Генкины ноги велосипедными спицами, а легкий ход машины вдруг сменяется вихревой пляской: не разнимая рук, семеро идут вприсядку, то откатываясь от нас, то наступая.

Еще быстрее, еще, и вдруг:

— Ха!

Из наших рядов выскакивают четверо в белом. Ленточки бескозырок зажаты в зубах. Они наступают на синих, теснят стихийную силу машины, стараясь захлестнуть ее лихость своею. Нет, не сдается машина!

И снова, теперь уж с удвоенной силой:

— Ха!!

Еще двое в белом, а всего уже шестером, наступают теперь на синих, и, дрогнув, те начинают пятиться прочь. Но вот — стоп, синие бьют чечетку на месте, а потом опять переходят в наступление.

И тогда в третий раз раздается совсем уж невероятное:

— Ха!!!

Подброшенный из третьего ряда штангистами, Володя взлетает над головами двух передних, и, проделав в воздухе несколько колен, ловко приземляется как раз между синими танцорами и белыми.

Стадион замирает на мгновение, а потом поднимается

такая буря, что и слов не подыскать. Ревет, клокочет стадион, а Володя все льет и льет масло в огонь. Уж давно при-
смирела машина, и сам механик, раскинув ноги, сидит на
земле, удивленно моргая глазами, а Володя все не знает
устали! . .

Сказать правду, южане и сами немало навредили себе.
Согласись они, что их карта бита, и все было бы, как гово-
рится, честно и благородно.

Да разве не упорством славятся одесситы! Еще не успо-
коился стадион, еще наши плясуны, стоя в заднем ряду,
утирали потные лбы, когда в стане соперников мы заметили
беспокойное оживление. Ломая ряды, южане сгрудились во-
круг кавказца, а тот что-то кому-то доказывал, отчаянно
размахивая руками.

— Сейчас отмочат, — встревоженно сказал кто-то из
наших.

Пляска, которую одесситы выдали на этот раз, в прин-
ципе напоминала нашу: плясуны выскакивали партия за
партией, а темп музыки все время нарастал. Однако
ни мы, ни весь стадион до последнего мгновенья так и не
могли догадаться, чем же кончится эта затея. И вот, когда
музыка достигла апогея, над стадионом лопнуло уже зна-
комое:

— Ха!

Кавказец вылетел не из третьего ряда, а из четвер-
того! . .

Гениальное неповторимо. Одесситы забыли об этом, и вот
результат: едва перелетев через один ряд, кавказец как-то
боком упал, благо парни успели отскочить.

Дружный смех сотрясал стадион, и под этот смех кавка-
зец, потирая рукой ушибленное колено, сконфуженно по-
хромал за спины своих товарищей.

А по нашим рядам уже несло:

— Кончай, кончай смеяться.

Уж мы-то знали пословицу о горячем железе. Взмах Во-
лодиной руки — и над стадионом, подхваченная теплым
бризом, задувавшим с моря, понеслась, полетела песня:

Берег родной обнимает волна,
Трудно бывает в разлуке. . .

Чудесная эта штука — хор. Все ему под силу, и даже
самое трудное — овладеть человеческим сердцем. . .

Потом была по-настоящему южная ночь. Вместе с одеситами мы густо заполнили набережную. Внизу, чуть заметная в темноте, белела полоса прибоя. Издалека, из самой ночи сторожевой корабль сыпал синей искрой клотика. Низко над морем висела луна, и там, где отблеск ее прорезал темноту ярким трепетным зигзагом, уже слышался рокот моторов. За нами шли катера, и пора нам было расставаться.

Если вдуматься по-настоящему, никаких побежденных там не было, были одни победители. Мы смеялись, вспоминая наш веселый поединок, и шутя грозили друг другу придумать к следующей встрече что-нибудь позамысловатее.

А песня была всерьез. Мы спели ее все вместе, и она показалась нам вдвое лучше, потому что нас было вдвое больше. Неутомимый кавказец Миша разыскал в толпе Виктора Жукова и долго тряс ему руку:

— Спасибо, друг, спасибо.

Спасибо и от меня. За песню и за все, с чем она мне помнится.

Вот какие воспоминания пробежали в моей памяти, когда, сделав несколько шагов по ковровой дорожке, я замер перед раскрытой дверью чьей-то каюты.

Как это — «чьей-то»? Перед каютой одного из моих училищных друзей. Кто же еще мог петь эту песню?..

Я шагнул вперед и поравнялся с дверью.

Досада и разочарование. Я впервые в жизни видел этого белокурого юношу, сидевшего на боковом диванчике с гитарой в руках. На мгновение наши взгляды встретились, и юноша потупился при виде незнакомого человека. По возрасту он никак не мог быть моим однокашником. Да и латунная табличка над дверью говорила, что каюта принадлежит третьему помощнику капитана. Никто из моих однокурсников давно уже не плавал третьим помощником.

Я пошел дальше по коридору, унося в душе чувство острой неприязни к белокурому юноше. С чего это он так похозяйски распоряжается нашей песней!

Но, поднимаясь по трапу из нижнего коридора в верхний, я спохватился.

Разве песня может принадлежать кому-то? А если и считать ее своей, то разве это плохо, когда ее поют другие?..

Нина

Погодина

ИЗ ЦИКЛА «ЛАДОГА»

ЭТЮД

Встало солнце на прикол
С рыбаками рядом,
Сквозь осоки частокол
Смотрит сонным взглядом,
Светом ласковым дарит,
Светит — словно гладит,
Ясным золотом горит
На зеркальной глади.
И не жжет, и не слепит —
Утомилось за день.
Засыпает. . . Но не спит.
Воздух свеж, прохладен.
Ветер спрятался в кустах —
Недохнет, не дунет.
А в полутора верстах
Рыбаки колдуют:
Встал полтинник на ребро —
Отшлифован, светел, —
Рыбу или серебро
Зацепили сети?
Как ты, Ладога, щедра,
Как богата снедью!
В лодке горы серебра
Вперемешку с медью.

ОПОЛЬЕ

*С затаенной, глубокой болью,
Что давно на душе ношу,
Словно с первой своей любовью
На свиданье с тобой спешу.*

*Мы с тобой изменились
оба...
В сердце ревности не храня,
Одного лишь хочу я —
чтобы
Ты во мне узнала меня.*

*Юность, юность моя,
Ополье,
Вся открытая, на виду!
Словно с первой своей любовью
На свиданье с тобой иду.*

ПРИСТАНЬ НА ЛАДОГЕ

*Мерно шлепает пароход,
Тишь пугая гудками,
Над деревней встает восход,
Потревоженный рыбаками.*

*Не была я здесь года два...
Да, два года, пожалуй!
И теперь узнаю едва —
Нет церквушки той обветшалой,*

*Покосившейся, без креста,
С обомшелым порогом,
Уж, наверное, лет полста
Позабытой людьми и богом.*

*Только каркало воронье
Над ее головою древней,*

*Тенью прошлого — тень ее
В середине деревни.*

*А теперь на холме — маяк,
Словно символ величья.
И деревня — смотрите, как
Вдруг меняет обличье!*

*Выпрямляют свои горбы
Деревенские крыши.
Знать, соседством таким горды,
Все дома словно стали выше!*

*Говорят не напрасно — мол,
Здесь рождаются рыбаками.
Светят окна родных домов,
Светят маленькими маяками.*

Александр

Вац

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ СВИРЬ

*Их было двенадцать
Не сотен, не тысяч —
Их было двенадцать
Семнадцатилетних.
Снаряды ложились,
Способные высечь
Стон даже из камня.
В аккордах последних
Зашлись, захлебнулись
Все прочие звуки,
И только, разверзнута
Яро и немо,
Свирь билась о берег
В неистовой муке
И волны вздымала
Под самое небо.*

*Их было двенадцать,
Обычных мальчишек.
Двенадцать —
Шагнувших в холодные волны.
И вражеский берег
Подвинулся ближе...
Он вовсе не страшный,*

*Лишь странно безмолвный.
И тоже не страшно
Вдруг пули запели,
Неслышно впиваясь
В плоты и пилотки,
Но кто его знает,
Как руки немели
И что там кричали
Охрипшие глотки.*

*Нещадное солнце
Отвесно палило.
Смешно чучела
Над плотами горели
И падали в воду.
И сердце молило
Живуче и страстно:
Скорее, скорее
Шершавой осоки
Коснуться ногами,
Плоты оттолкнуть,
Ни секунды не каюсь,
Упасть с автоматом
В прибрежные камни
И резать по каскам,
О диск обжигаясь.*

*Сам бой был жестоким
И очень коротким.
Все страхи потом
Им казались пустыми.
Мальчишки снимали
Над Свирью пилотки —
Они и не знали,
Что стали седыми.*

Ганна

Немирко

Про Шекспира, фланцы и русалку

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ

Будильник — по утрам он враг — тихо крякнул: намекнул. Сейчас заорет.

Глаза открывать незачем. Все равно ничего нового не увидишь. Напротив, у стены, залепленной красотками в бикини, храпит Лешка. В углу борется с пододеяльником Рафик — намек будильника понял. За окном мокрая сизая темень. Есть, конечно, нечего. Сейчас будильники разорутся на всех этажах общежития.

Надо просыпаться. Надо идти на работу.

Уяснив себе все это, Сергей Буров глаза открывать не стал. Ногами нашел сыроватые со вчера кеды, посидел еще секунды две, покачиваясь, сдернул полотенце со спинки кровати и в темноте вымахнул из комнаты.

Будильник заорал ему вслед, словно спохватился.

Работает Буров в эллинге. Здесь, под лучами тысячесвечовых юпитеров, собирают корабли, чудовищные на суше глыбы железа. Со всех сторон они опутаны лесами. По лесам карабкаются, громяхают, стремительно проваливаются в люки маленькие, если смотреть сверху, монтажники в белых касках, и тогда все это Бурову напоминает театр.

Монтажников он видит всегда снизу, потому что весь день стоит у токарного станка на участке, где гнут и подгоняют для корабля бесчисленные трубы. А театр — ну, театр ему везде мерещится. Он мечтает стать режиссером. Жить в городе, где в трамвае плечом к плечу с тобой стоят артисты, художники, писатели, и быть токарем — кажется Сергею неудобным.

Собирают корабль долго, а когда он наполовину готов, под ликующий оркестр его выкатывают из эллинга и «сталкивают» на воду. В последнее мгновение сердце у каждого притормаживает на полсекунды: ну! Плывет. . . И тогда недоступные и вечно озабоченные начальники цехов, матерые, с орденами, сварщики, побледневшие монтажники, забыв обо всем, бросаются друг другу на шею, а те, кто помоложе, кидают шапки вверх и орут что-то неразборчивое.

Буров в такие минуты делает необитаемое лицо и скрепчивает руки на груди, чтобы не позволить общему волнению увлечь себя. А потом следит поверх голов, как два ветхих буксирчика «Бесстрашный» и «Могучий» лихо подхватывают корабль под уздцы и бережно подводят к пирсу, к достроечной стенке. Так и говорят, и даже пишут в заводской газете: «Корабль поставили к стенке».

И все.

Только жаль напрасно разбитой бутылки шампанского.

А дальше что? Ну, привык за несколько лет, ну, научился работать не хуже людей. А дальше? Это неопределенное «дальше» не давало жить просто, бестревожно.

В метро однажды увидел женщину. Худенькая. Но взгляд уж больно властный. Туфли на ней лакированные, темно-серое пальто, пуговицы — старинной бронзы. Шапочка нежная, пушистая. Смотрел-смотрел на опущенные

ресницы, на розовый некрашенный рот — забыл, куда ехал. Но решился все-таки, заговорил.

Она ответила легко, будто знакомому, улыбнулась. Перевел дух, попробовал с ней, как привык с девчонками на танцах, запросто. Она усмешливо оглядела его — и Сережа покраснел, как ему показалось, с ног до головы.

Но уйти уже не мог.

В тот вечер он узнал о себе две важные вещи. Во-первых, что сам он, оказывается, красив, и не как-нибудь, а «истинно русской красотой». А во-вторых, что не учиться ему теперь нельзя. И ничего она не говорила прямо. Просто он понял.

Вот учится, два года уже. В институте культуры, на режиссерском отделении. Собственно, вплотную два месяца в году, в сессию, а остальное время — на своей сознательности, как все заочники.

Сознательность у Бурова, по выражению Лешки, «на порядок выше обычной, потому что культуру ценит». Сидит ночами, до двух, до трех, когда в общежитии уже тихо. Но чувствует Сергей — время для приобретения этой культуры упущено, легкости нет.

Лешку, толстоногого, с невнятным взглядом, Буров не любит. Больно ловко и просто все у него получается и на заводе, и с женщинами. Друг у Сережи один — Рафик.

Про Веру Рафик спрашивает невинно: «Серый, это у вас все еще дружба или уже любовь?», но ответить на этот вопрос Буров и сам бы не мог. Удивительный она человек, конечно, но смутно подозревает Сергей, что ждет Вера когда он сам к ней в руки упадет. И хотя Буров понимает: куда он ей в свои двадцать три года, и муж у нее кандидат каких-то наук, и друзья — что он против них? — а все-таки. . . Обидно иногда: Вера смотрит, и кажется — изучает. Конечно, она психолог, изучает на заводах, почему некоторые бегают с одного предприятия на другое. И даже на их заводе была несколько раз, но на него-то так смотреть зачем?

Часто вечерами одевает он сшитый на заказ костюм цвета мокрого асфальта (и тогда сразу видно, что Буров — косая сажень: в плечах, и высок, и прям), черную «киску» под нейлоновый воротничок, потом долго трет в умывальнике щеткой свои руки, пытаюсь отмыть въевшуюся желез-

ную пыль (но руки обычно только краснеют еще больше) и идет с Верой в театр, в кино или к ее друзьям.

И все прекрасно: и бронзовые искры в глазах у Веры от вечерних фонарей, и уютные кафе, где чувствуешь себя как-то по-хозяйски — вот, пришел с красивой женщиной, а особенно — острые легкие разговоры обо всем на свете, после которых не уснуть. Только одного преодолеть Сережа не сумел: руки, красные, в шрамах от стружки, прячет то под стол, то в карманы. Вера говорит: рабочие руки — это необычно и очень мужественно. Буров в такие минуты смотрит на нее снисходительно: нашла экзотику! Встань в шесть утра и, не жравши, в эллинг, лязг и запах железа, ругань, в столовке каждый день одни и те же шницеля... Недавно заготовку плохо закрепил, а она — свись мимо уха! Хорошо, мастер не видел...

А сегодня Сергея ждет свеженькое удовольствие. Ученика ему приспособили, отдел кадров наконец приискал. Очень кстати, конечно: курсовая на носу, а тут возись.

— Буров, иди, получай подарок! — крикнул ему Лешка еще в раздевалке.

Торопясь, Буров вышел в пролет. У станка стоял «подарок».

...Так. Что они там, спятили? Бабу прислали. Вернее, девку. Длинноногую. Нашли токаря... Работать-то ведь и в самом деле некому...

А баба, вернее девка, подошла сама и свободно так сказала Бурову:

— Привет! Это ты — мой шеф?

— Здравствуйте, — хмуро бросил Сергей и вытер грязной ветошью чистые еще руки.

К обеду весь участок, все мужики кругами ходили возле станка, за которым Буров учил новенькую. В обед каждый сделал вид, будто занят своими делами, а потом опять началось: то один, то другой, то усмехнется, то подмигнет, то просто деловито обглядит всю, пробегая мимо, якобы в кладовую. Больше всего злило Бурова, что его ученица чувствовала себя под этими взглядами великолепно. Станком она интересовалась не очень.

А курсовая не клеилась никак. То было не посадить себя за стол, а когда все-таки усаживал — ни одной собственной мысли в голове не оказывалось. Тема ему досталась как раз та, последняя, за которую никто не взялся: придумать свою режиссерскую разработку «Ромео и Джульетты». К переживаниям героев трагедии Буров относился несерьезно — за пять лет жизни в общежитии видел всякое, но ни Ромео, ни тем более Джульетты ему не попадались. А потому, как все это поставить на сцене, чтобы было похоже на правду, сообразить не мог.

Долго рассказывал Вере, что не получается курсовая. Сидели в кафе «Сонеты», ели какую-то ерунду — маленькие игрушечные пирожные, запивали тоже ерундой — сухим вином. Она слушала так серьезно, что хотелось жаловаться еще и еще, и не только на Шекспира, который давно устарел, но и на мастера Дынкина, который вообще ничего не понимает, и даже на собственную ученицу Вальку. По полмены вертит хвостом, прошло три недели, а ведь еще и заготовку в руки дать нельзя — ничего не соображает. А уже, говорят, видели ее с Лешкой за проходной!

Вера слушала, покручивая на худеньком пальце тусклое обручальное кольцо, слушала. . .

— Ты — режиссер, Сереженька. (Да? Такого ему никто еще не говорил!) А режиссер — это как переводчик. Если он переводит механически, буквально — он плохой переводчик, плохой режиссер. Важно донести дух Шекспира, а переложение может быть и свободное, смелое. Конечно, если ты считаешь, что Шекспир устарел в принципе, то я уж и не знаю. . . Может быть, надо поменять тему?

Хотелось взять ее за руку, согреть в своих ладонях это массивное обручальное кольцо, но — какой-то извилистый тип с бакенбардами пригласил Веру танцевать. Она улыбнулась и пошла. Сергей смотрел на них, и вдруг ему захотелось подняться, отбросить стул и крупно врезать этому типу между глаз, потому что тот уверенно притиснул Веру к себе и что-то спросил, задрал нос и поднимая брови. Нет, это был удивительно гнусный тип, просто подлец!

Вера взглянула ему прямо в лицо, кажется что-то ответила и опять улыбнулась женственно-беззащитно. Но тип сразу приотпустил ее и заметно скис. Музыканты закругли-

лись быстро. Сделав безразличные глаза, парень подвел Веру к столику и раскланялся.

— Что с тобой? — встревожилась она, опускаясь на стул. И тут же рассмеялась, поняла: — Спасибо, милый!.. Я ведь уж давно взрослая.

Трудно было все это понять. То вдруг она может растеряться перед лужей. Стоит в резиновых сапожках и не знает, что делать, — неси ее на руках! А то вот как сейчас: спасибо, я ведь взрослая.

Эх, Вера, Вера! Как же быть с тобой? Решиться бы, увезти бы тебя в туман, медленно расстегнуть бы все двадцать восемь пуговичек на узких рукавах и на груди... И тогда, — уверен Сергей, — растаяло бы все ее превосходство взрослой женщины, стала бы она и покорной и молчаливой... Да вот как решиться-то?

Что случилось с Рафиком, Сергей не понял. Только Рафик стал другой. За весь вечер несколько слов — и носом в книжку. Не листает ее, так сидит.

Лешка тоже это заметил, попробовал, как он сказал, «расколоть малютку» — Рафик мрачно блеснул своими татарскими глазами с нависающими веками, послал Лешку куда-то очень далеко и заковыристо. И опять замолчал.

А когда выяснилось, что в один прекрасный день Рафик просто забыл получить получку (забыл!), Сергей забеспокоился. Поволок его пройтись, завернули в забегаловку, потом поехали в любимый пивной бар. Там Сергей прочно усадил Рафика в углу и заказал официантке столько пива и сушек, что она подумала: еще кого-то ждут.

Через два часа они выбрались из роскошных дверей пивбара и остановились, пытаясь осознать, в какую сторону идти. Рафику хотелось идти вперед, все равно в какую сторону, но Сергей держал его крепко на месте, потому что, где теперь метро и как доехать до общежития — было неясно.

— Дело не в этом, Серый, — страдал Рафик, — а в том, что я за эту девушку — хоть на штыки! На штыки!!.. — крикнул он, рванул галстук и пошел напролом в вечернюю нарядную толпу. Сергей сгреб его, молча поставил обратно.

— Я как увидел ее, так и все... .

— Где ты ее увидел-то?

— На заводе, в диетической столовой, ну... в очереди.

- А ты хоть спросил, как ее зовут?
— Нет. . .

На такую девушку стоило посмотреть. Описать ее Рафик не мог.

В малярном цехе попадались хорошенькие девчонки, и Буров теперь стал на них поглядывать. Но народу на заводе — тысячи, Рафик работал далеко от эллинга, в деревообделочном, и обедал поэтому в другое время, а без Рафика узнать, кто эта девушка, нельзя было никак.

Громыхание и лязг железа в эллинге, шипение сварки становились все напряженнее, злее, быстрее. На ржаво-красном, вымазанном суриком борту корабля каждый день появлялась новая табличка: «До спуска осталось 25 дней!», потом — «24», «23»!

— Нам никто не простит и ничем мы не прикроемся, если мы не выполним план! Корабль должен быть спущен на воду точно в срок! — эти железные слова директора в разных вариациях повторяли все начальники всех цехов на всех собраниях и планерках. Мастера добавляли: «Кровь из носу, душа винтом, а надо сделать!»

Буров давно привык к таким словам, потому что слышал их перед каждым спуском. Работал спокойно, не отвлекаясь, радуясь про себя, когда удавалось сэкономить секунды, расточить фланец, соединяющий две трубы, быстрее. Пять лет назад, когда из-за язвы не взяли в армию, он пришел в цех и ужаснулся, сообразив, как много надо уметь, чтобы сделать такую деталь, боялся подойти к этим фланцам. А теперь работал быстро, привычно.

Ученица Валька начала кое-что соображать, но проку от нее пока не было никакого, а рабочее время отнимала. Главное, ничего нельзя было ей сказать. Ты ей слово, а она тебе — монолог из драмы на пять минут. Да пусть бы просто ругалась, черт с ней, а то почему-то обозвала его тут на днях «балалаечным красавчиком»...

Но вообще-то Сергей церемониться с ней перестал, когда узнал, что она ходит с Лешкой.

А Лешка появлялся в общежитии поздно, заваливался на койку, потягивался сладко-устало, подмигивал сразу всем.

и сообщал загадочно: «Ну, баба!.. с нюансами!» Но о нюансах все-таки распространяться не рисковал, не нравилось ему внимание, с которым Буров все это слушал.

Рафик однажды пришел счастливый, озабоченный, съел все, что нашел в тумбочке, натянул белую рубашу и стал примерять перед зеркалом Сережкину «киску». На Рафике она выглядела, увы, совсем иначе. Понял это и с сожалением снял. Сергей, конечно, сделал вид, что все как всегда, но, помолчав десять минут, Рафик сам не выдержал:

— Нашел я ее, Серый!

— Ну, и как ее зовут?

— Тина! Понимаешь, ее зовут Тина! — сообщил он, как нечто потрясающее. — Она пишет стихи, сама. А на заводе потому, что провалилась в институт. И, представляешь, ей здесь все интересно. В обед залезла на кран. А там крановщица сидит и нитку прядет. Шерстяную. Чтобы не зря сидеть, когда кран на простое. Тина говорит: по длине нитки можно высчитать время простоя крана и сказать ребятам из «Комсомольского прожектора»... А еще она в туристской секции! Я тоже запишусь... — запнулся Рафик и покраснел. Сергей понял, что в туристскую секцию Рафик его не приглашает.

И в самом деле, он как бы отодвинулся от Сергея. То есть он был рядом, но это не имело значения.

Уже в пятницу Рафик выволакивал из-под койки рюкзак, перелезал в джинсы, штормовку, проверял, с собой ли деньги, и кидал на бегу:

— Ну, Серый, я слинял! Пока!

На весь этаж хлопала дверь, и Буров чувствовал, что он остался на свете совершенно один.

А возвращался Рафик такой откровенно счастливый, что ни о чем не хотелось его спрашивать.

Когда до спуска осталось несколько дней, на предварительных испытаниях один за другим полетели фланцы главного пара. Все.

Старший строитель корабля (Буров считал его главным режиссером, — да, в общем, так оно и было) в предынфарктном состоянии сидел перед полированной директорской

дверью — ждал, когда его снимут. В эллинге как-то сразу все стихло.

Они шли по эллингу, даже не шли, а надвигались, — пожилые, плотные, мрачные люди. Никому не надо было объяснять, кто это.

— Комиссия? — ахнула Валька, оглянулась на Сергея и замерла. Фланцы по фактическому диаметру каждой трубы растачивал он. Это она знала.

— Сережка, милый... — ужаснулась она и закрыла рот. Гм, «милый»... Уже с утра он их ждал, потому что три часа назад понял, почему фланцы полетели.

Комиссия возилась полдня, специалисты страшно кипятились — вырабатывали общую точку зрения. Разошлись, втайне довольные. Виноват оказался завод-поставщик: литье, заготовка при обработке давала микротрещины. Правда, легче от этого никому не стало — ясно было, что корабль-то все равно придется спускать через семь дней.

— Ну, значит, это... Тут, понимаешь, Буров, такое дело... — мастер Дынкин стоял прямо перед Сергеем, а в глаза ему не смотрел.

Валька сунулась поближе, чтобы ничего не пропустить, даже как-то заслонить его хотела, но Буров отодвинул ее таким яростным взглядом, что она сразу куда-то делась.

— Придется, понимаешь, аккордно... Заработаешь, значит, — выдавил Дынкин, уже догадываясь, что сейчас будет.

— Чтобы кровь из носу, а душа винтом, да? — Сергей уточнил это спокойно, бытовым таким тоном, но Дынкин замолчал намертво.

— А я тебе говорил, что это микротрещины? Говорил? — Буров попытался обуздать свой голос, чтобы не слышали на участке, и от этого чуть не задохнулся. — А ты мне что? Что ты мне сказал? «Понима-а-ешь ты, как же! Развелось вас тут, понимающих...» План гнал? «Выполним и перевыполним»? А если бы они в море полетели? (Представил: трубопроводы, раскаленные сосуды корабля, лопаются один за другим...) Что молчишь? На вот, вставай теперь сам! — и он чуть не на ноги Дынкину опустил тяже-

ленную заготовку. Сверкнув тусклым сизым боком, она вцепилась в цементный пол. Дынкин едва успел отскочить.

— Заболеть, что ли? — стонал Сергей вечером. Не сиделось ему, не лежалось, не ходилось. Поплелся к шкафу, приблизил нос к зеркалу. Румян, голубоглаз, подбородок крепкий, кудри блестящие — прямо удалец с обложки журнала «Здоровье». Попытался сделать «больные» глаза.

— Да ты послушай! — чуть не обиделся Рафик. — Ты слушай. . . — Он рассказывал о последнем туристском слете, а голос его был такой, будто он сказку рассказывал:

— Песок на берегу — желтый, теплый, озеро — голубое, а сосны — до неба. . . Ну, мы сидим все, ждем. Вдруг — идут! Впереди Нептун с картонным трезубцем, по краям свита, а за ними — она!

— Кто «она»?

— Да Тина, господи! Русалка! Вся мокрая, только волосы сухие, распущенные. Представляешь? Это весной в такую воду лезть! Они-то все, гады, не полезли, а с нее вода ручьями. . . — И в глазах у Рафика ужас и восхищение — такой ужас и такое восхищение, что Буров не выдерживает и хамит. . .

Но Рафик сияет, как святой, и даже не обижается, а потом, подумав немного, говорит серьезно:

— А она все равно — хоть одеть, хоть раздеть — все равно красивая.

— Эх, заболеть бы! — ноет Буров.

— Несolidно, — важно обрывает Рафик. — Спуск через семь дней. Даже умереть нельзя — не простят.

— А кто мне простит, если я курсовую не сдам? Кто меня к сессии допустит? — злится Сергей.

— А ты ее сдай! — беззаботно говорит Рафик. Все это кажется ему сейчас пустяком.

— Как?

— Напиши.

— Что напиши? Я не знаю, не знаю, как ее писать! Да и когда теперь писать — теперь день и ночь из эллинга не вылезешь. . .

— День не вылезешь, — соглашается Рафик, — а ночью вылезешь. И пожалуйста, можешь писать!

Утром, когда Рафик проснулся, Сергея уже не было. На столе остались учебники, растрепанные справочники, даже том энциклопедии, раскрытый на слове «Шекспир». А посредине лежал маленький белый листок. На нем крупно было написано: «Собственные мысли». А потом пониже и помельче: «Ромео любил Джульетту. Ромео очень любил Джульетту».

«Ну, теперь напишет», — улыбнулся Рафик, вытащил гирию и пошел к зеркалу накачивать мускулы.

Лешка спал — у него была своя жизнь. Недавно он гордо объявил всем, что Вальку бросил. И заскучал чего-то.

Перед спуском Сергей видел спящего Рафика каждую ночь, но сам спал часа по два, по три. Объяснялись записками. На шестой день он попросил Рафика отвезти в институт готовую курсовую. Рафик сообщил ему, что курсовую отвез, а крестной матерью корабля назначили Тину.

Когда ветер дует с залива — вспоминаешь, что живешь в портовом городе. Ветер пахнет солью, мокрыми пеньковыми веревками и свободой.

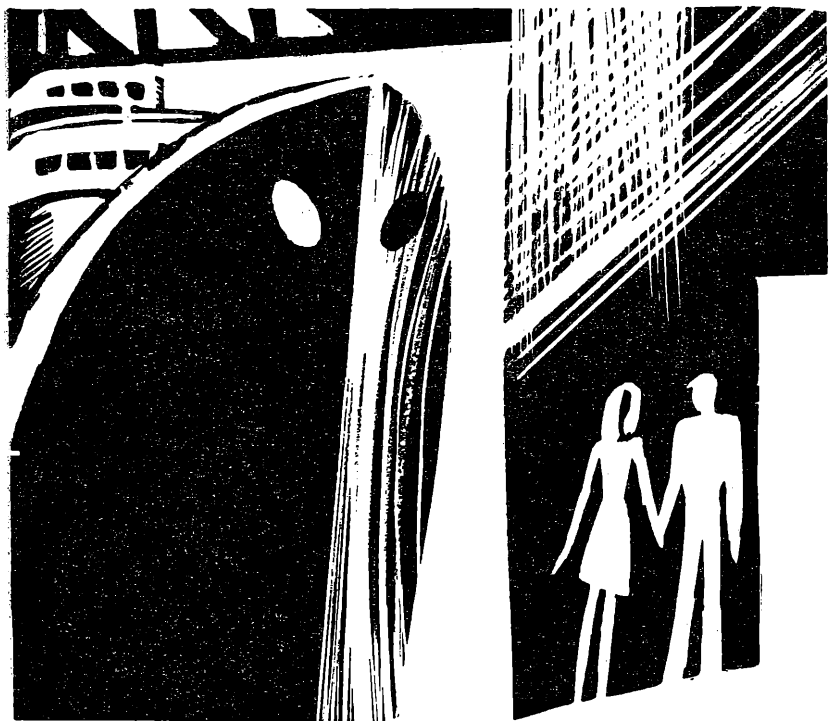
Глыба железа, огромная, только что выкрашенная в элегантный светло-серый цвет, медленно, по сантиметру опускалась к воде на трансбордерных тележках, а навстречу ей дул морской ветер. Все стоящие на набережной знали, что если эта высокая девушка, закутанная в белый капроновый шарф, разобьет бутылку шампанского о корпус с первого раза — значит, кораблю повезло, хорошая примета. На такой корабль бывалый моряк ступит смело.

И хотя, конечно, смешно, — кто сегодня верит в приметы, и вообще все это ерунда, — все-таки, замирая, ждали: разобьет — или придется опять за веревку ловить бултыхающуюся в воздухе бутылку?

— Русалочка, не подкачай! — кричали из толпы.

Рафику ничего не было видно за чужими спинами, он волновался и искал, на что бы влезть. Сергей поверх голов посмотрел на девушку в белом шарфе и увидел свою ученицу Вальку.

— Рафик, да там же Валька! — сказал он и испугался.



— Нет, это Тина! — твердо ответил Рафик уже откуда-то сверху.

Но это была все-таки Валька, и если она сейчас не разобьет бутылку с первого раза, завтра Сергей ей покажет, он ей завтра. . .

— Дз-зын-нь! — зеленым хрустальным дождем бутылка осыпалась в воду. Глыба железа, нависавшая над головой, превратилась в корабль, и он уже плыл, уплывал куда-то, а оркестр ликовал и захлебывался, а директор обнимал старшего строителя, которого неделю назад хотел снять, а лихие буксирчики «Бесстрашный» и «Могучий» уже неслись навстречу кораблю.

— Смотри, Буров-то встал, как памятник самому себе! — засмеялся кто-то за спиной. «Что мне, прыгать, что ли?» — подумал Сергей.

— Ладно, не лезь ты. . . Можно ему стоять, он один все фланцы главного пара переделал.

— Валентина, ты — человек! — крикнул кто-то Вальке, подал руку спрыгнуть с помоста, но она не слышала, следила за кораблем.

— Так это, значит, Валька? — все еще не мог опомниться Буров.

— Тина, — упрямо повторил Рафик.

— Ну да, Валентина. . .

Как-то надо было Рафика уберечь, спасти от разочарования, и Сергей, не успев ничего сообразить, бухнул:

— Рафик, ты с ума сошел? . . Она ведь с Лешкой. . . Да и вообще, весь цех говорит. . .

— Что?

— Ну что-что! Вообще. . . (Что говорили конкретно — было никак не вспомнить, но разные улыбочки, «мужские» слова, сказанные между прочим, во время перекуров, «тет а тет», всплывали, не укладывались в представление о той удивительной девушке Тине, в которую влюбился Рафик.)

— Да и вообще она. . . современная! — ляпнул Сергей.

Рафик молчал. Только глаза у него стали чужими.

А она стояла, тонкая, порозовевшая от ветра, ничего не подозревая, не зная, что сейчас тут, внизу, о ней говорят, и ловила соскальзывающий с волос прозрачный белый шарф.

Рафик так ничего и не сказал, повернулся и пошел вперед, к Вальке.

А когда Сергей догнал его и остановил — молча вынул сложенный вчетверо листок и протянул Сергею.

— Что это?

— Почитай. . .

Сергей развернул листок.

Ах, возьми ты меня,
Возьми,
Отлюби — да и брось.
Неужели житейской возни
Соблазнит тебя горсть?

Я смеюсь над Ромео. Смешно.
Я давно уж не верю сказкам.
Хоть пока и не пью вино,
Но красивым делаю глазки.

Если хочешь — меня обмани,
И понять и простить смогу,
А не выйдет — тогда прокляни,
Не разжечь нам костра на снегу,

Потому что ведь ты — Ромео,
Ну, а я не люблю трагедий,
Понимаешь, я не Джульетта,
Я веселая рыжая ведьма.

Эх, да что!
Ни к чему все это.
Хочешь — лягу пластом
Под колеса
твоей
кареты?..

— А почему твоим почерком?

— А я у нее переписал, она не знает... Ну! — потребовал ответа Рафик.

И Буров, который всегда знал все, что надо Рафику делать и как жить, посмотрел на него, как на что-то совершенно новое для себя, как на незнакомого человека, отдал листок и ничего не сказал.

Хотелось увидеть Веру, немедленно рассказать ей все и про Рафика, и про Вальку, и надо сказать еще, что Шекспир — великий человек, а курсовая, которую он, Буров, сдал — чушь. Но как все-таки ее по-честному написать — до сих пор неясно. А мастер Дынкин, оказывается, еще тогда понимал, что это микротрещины, и завтра на партсобрании Буров встанет и скажет это всем, только Вере об этом знать незачем, чего ей волноваться.

Он вышел за проходную, подошел к телефонной будке.

— Слушаю... — нежный голос дохнул прямо возле уха. — Слушаю...

Буров подождал несколько секунд, тихонько повесил трубку и пошел спать.

А встретившись с Верой через сутки, ничего не сказал ей.

К ее дому он шел пешком. Темнело.

...Рафик переселился в другую комнату. Это больше всего. Рафик, друг. Был друг...

Навстречу торопились люди, торопились будто действительно навстречу, но легко проходили мимо, не задевая, не замечая. Торопились к своим заботам, к своим проблемам.

Свернул за угол. В глаза реза́нули фотографии в витрине ювелирного магазина: надменные женщины, изламываясь в неудобных позах, демонстрировали серьги, кольцо, браслеты.

Сергей плечом толкнул массивную дверь (хотелось ее вышибить, но она отворилась до обидного легко), оказался в магазине.

На бархате под стеклами разложена была блескучая мишура. Наткнулся взглядом на обручальные кольца. Они лежали рядами, как готовые детали. Ровненько так обточенные.

...Черт дернул вчера заорать на Вальку. Не умеет — научи, чего орать-то? Почувствовал, что она не ответит? Да, по глазам понял. Такие у нее глаза вчера были — безответные.

И уж выдал. Про баб, которые лезут не в свое дело вместо того, чтобы детей рожать и щи варить. Занесло.

И вдруг Лешкино толстоносое лицо, такое, будто его, Лешку, бьют, а голос почему-то тихий:

— Ты, жлоб! Что ж ты делаешь? Она же про тебя стихи пишет, Ромео! Она же любит тебя!

А вокруг уже все стоят. Весь участок.

Кажется, хотела она Лешку ударить, но почему-то удержалась.

Рафику обо всем рассказали в тот же день. Рафик объясняться не стал...

...Ромео? всплыла фраза из курсовой: «Ромео любил Джульетту. Ромео очень любил Джульетту». Вот именно. А он, Буров, кого любил? Несостоявшийся Ромео...

Валка-то вон, оказывается, какая...

Она-то — стала... Пишет.

Тоже мне, режиссер! Пока носом не ткнули — не мог разглядеть, что вокруг делается...

— Девушка, эти серьги мне не подойдут. Подберите мне что-нибудь попрacticalнее, кулончик, например... — гулко сказала дама в красной шляпе, глядя не на продавщицу, а на Бурова.

«Ишь ты, попрacticalнее!» — усмехнулся Сергей и вышел из магазина.

К ней в дом он пришел впервые.

Когда распахнулась дверь, он увидел, что Вера обрадо-

валась, а взглянув на него попристальнее — удивилась, и, кажется, сама не успела сообразить — чему.

В прихожую, потянув на себя когтястой лапой дверь, вежливо просочился кот. Таких котов Буров никогда не видел. Розовато-бежевый, на высоких черных ногах, и морда черная, как будто он в пиратской маске, а сквозь прорези — голубые глаза, такие же льдистые и спокойные, как у Веры.

— Князь Мышкин, — серьезно представила его Вера. — Сиа́мский. . .

Сергей посмотрел на вторую дверь, которая тоже выходила в прихожую. Вера перехватила его взгляд, засмеялась:

— Нет, нет, больше никого нет сегодня. . .

В ее комнате все было очень просто, но — как-то холодновато, то ли от серо-голубых занавесок, то ли от змеистого зеленого плюща на стене.

Он сел в кресло, кот тут же прыгнул к нему на колени, обнюхал его, как собака, и замурлыкал.

— Ну, как твои дела, как курсовая? — спросила Вера.

— Сдал, — сказал он коротко и попытался перевести разговор. — Ты знаешь, недавно вычитал, что «эллинг» — это по-немецки «великан». Здорово, правда?

Но Вера не дала разговору свернуть в сторону и опять спрашивала его что-то о заводе, о его, Сергея, делах.

Он говорил, рассказывал, отвечал ей. А сам думал совсем о другом. Он думал: могла бы Вера написать такие стихи? Ну, может быть, не стихи, а вот могла бы она сказать такие отчаянные, искренние слова? И не кому-нибудь, а ему, Сергею Бурову? Мелькнул опять беззащитный Валькин взгляд. . .

— А как же вы теперь будете с Дынкиным работать? — спросила Вера, и Сергей спохватился, что по каким-то ей одной заметным словам, деталям разговора она уже догадалась, что там с этим Дынкиным приключилось, и настойчиво спрашивала, выясняла с каким-то непонятным Сергеем вниманием. «Господи, да ей интересно потому, что она меня изучает, — охнул про себя Сергей. — Как же я раньше-то этого не видел?»

— Как работали, так и будем, наверно, — ответил он, понимая, что вовсе все не так. — Сейчас вот на сессию уйду. . .

— А ты знаешь, Мышкин-то воробья поймал, сидя на

окне. Хвост вырвал — некрасиво, плевался-плевался. . . Воробей удрал под диван.

Кот посмотрел на нее, сделав вид, что он тут ни при чем, зевнул равнодушно. Сергей погладил его — молодец, хищник.

От Веры очень трудно что-нибудь скрыть. Она сидит, улыбается, а глаза говорят: «Нет, все-таки ты стал каким-то другим, и теперь надо будет тебя долго успокаивать и снова приручать. Что-то в тебе появилось непонятное. . .»

«Ничего непонятного, — подумал Буров, — просто я тебе не воробей, которого можно загнать под диван, хватит тебе меня «изучать», экзотический такой экземпляр. . .»

Он поднял глаза, чувствуя, что краснеет от прихлынувшей обиды, от того, что понял.

Вера сидела напротив, очень прямо, светлые глаза смотрели откровенно насмешливо. И властно, как тогда, в метро, когда увидел ее в первый раз.

Он не нашел в себе ни обиды на нее, ни злости, просто почувствовал, что скользит он, соскальзывает ей навстречу, неудержимо, как корабль с наклонного стапеля, когда обрубили задержник.

— А. . . ты была когда-нибудь на Голубых озерах?

Она не ждала такого вопроса и не успела подумать.

— Нет. . .

Это хорошо.

— Ты знаешь, там песок на берегу желтый, теплый, озера — голубые, а сосны — до неба. . .

Когда чужие слова выдаешь за свои — перед собой неудобно. Но своих не было. Теперь оставалось сказать немного, хотя что она ему ответит — он так и не знал.

Кресло было непривычно удобным, голубоглазый кот в свободной позе развалился у него на коленях, а напротив сидела женщина, о которой он не смел мечтать два года и которой можно было сказать все.

Он опять погладил кота, поднял на нее глаза и улыбнулся?

— Поедем?

— Так у тебя же сессия. . .

— Вот именно. Больше времени будет.

Он гладил кота, его розоватую расчесанную шубу, гладил уверенно, осторожно, и вдруг Вера поняла, что так удивило ее в нем: он перестал стесняться своих рук.

Николай

Чехов

* * *

*Как хорошо, что вечер вызвездил.
Путь — не на ощупь, а на глаз.
Наверняка в селенье выведет
Кривая, вравшая не раз.
Пройду лугами, луговинами.
В лесах больших не заблужусь.
Блинами потчевать, былинами
И мужеству научит Русь!*

СПАЛЬНЯ

*Ты в спальне моей не спал?
Спальня моя — сеновал.
Голубя кров — над лесенкой.
Коровы возня — внизу.
Четыре серые песенки —
Котята живут в тазу.
Мать их старушкой стала,
Мышонка не взять на обман.
А тут, как назло, попала
Лапой в лисий капкан.*

*Дают слепышатам крошки,
Дают молоко — не пойдет!
К чужой природнить бы кошке,
Но вряд ли зверь зверя поймет.*

Елена

Игнатова

* * *

*Даже в дружбе нужна двужильность.
Мы не вынесли — раздражились.
Как забуду я эту ложь,
Когда в горной воде озерной
Лист кленовый казался черным
И зеленым казался дождь.
Не спрошу тебя — как решать,
А спрошу только — как дышать,
По утрам раскрывать ли ставни,
Как мне ногу на землю ставить,
Что такое теперь душа?
Шелестят по ночам стрижи,
Август черной лозою выгнут. . .
Как мне душу из тела выгнать —
Ради бога, одно скажи.*

УРОК

*Я обучала доброте детей.
Узнала я, что жить нельзя иначе,
Что главное — не школьные задачи,*

*А главное — учиться доброте.
А после, возведя в свои права
Необходимость, высшую на свете,
Сказала я: «Теперь смотрите, дети,
Вот это небо, это свет, трава. . .»*

Юрий

Шигашов

День далекого детства

РАССКАЗ

Мы сидим на заборе. С утра я и Толстоносый сидим на заборе, — мы дружим, потому что вчера я дал ему хлеба с патокой, а он поставил за меня на кон в «чику» и мы обыграли на шестьдесят копеек Миньку Роковушку.

— Женимся, уедем в Каменку, свой дом будет, зеленого гороху наберем полны карманы и айда удить, — говорит Толстоносый, — там, знаешь, караси хватают, во. . .

Он показывает руку.

— Да, — говорю я.

— Таких карасей не бывает, — говорит Муся за нашими спинами.

Мы с ним не водимся, потому что он не дал Толстоносому прокатиться на велосипеде Васи Макарова. . .

— Иди отсюда, жадина, а то сопли разобью, — неохотно отвечает Толстоносый и странно как-то гхыкает (такая у него привычка — не кашлять, а гхыкать, будто у него всегда в горле першит).

— Да, иди, — говорю я, потому что сегодня со мной дружит Толстоносый, и мне не придется быть одному.

Мы сидим на заборе напротив барака, а с крыльца спускается Валерка-Нямтять со своей Маняшкой. Солнце расплавленным серебром плавает в воздухе, обтекая нас и упираясь в коричневато-золотую бревенчатую стену барака. Стелась по седой щепе крыши, по мерцающей пыльной земле, вязнет в листьях палисадника, заставляет нас щуриться. От сложенных для ремонта забора ганок и прожилин, неестественно белых, шершавых, пахнет свежей молодой сосной. Мы сидим и смотрим, а Нямтять за руку свел Маняшку с крыльца, и они топают к нам.

Интересный Нямтять: не говорит, а лопочет, и никому не подчиняется. Раз отец сказал ему что-то за обедом, Нямтять остановил поднесенную ко рту ложку, взглянул на отца, медленно втянул суп в себя и вдруг, не размахиваясь, звонко треснул отца деревянной ложкой по лбу. Тот Нямтять хватя за волосы, а Нямтять повернулся под рукой, оставив меж заскорузлых пальцев два пучка своих льняных волос, отскочил («... глаза горят, пена на губах, зубами, чисто волчонок, стучит», — рассказывала Валеркина мать моей), черенком ложки по горлу двигает и крипит:

— Х-р-р-х.

— Зарежет, сожжет подлец, не тронь его, Миша, — суетится Валеркина мать, — ни черта ему от битья не будет, только вред.

Отец потер красную шишку на лбу, но бить не стал. А ремень у них на стене будь здоров — две моих ладони в ширину.

А мне с Нямтярем хорошо: не дразнится, потому что говорить не умеет, сопит только и пузыри из носа пускает. Вот Маняшку Нямтярю девать некуда, не отстает от него и все. Чего он только не делал — все напрасно!

Нямтять неторопливо шаркает по пыли к забору, а Маняшка рядом покачивается на худеньких ногах и цепляется за штанину Нямтяря. Оба держат по огромному (во всю буханку) куску пеклеванного хлеба, намазанного рассыпчатым желтым медом. В глазах Толстоносого дрогнуло, и он сразу сказал жалобно:

— Валер, дай куснуть.

Нямтять стоит напротив нас в пузырястых, измятых штанах, широко расставив ноги (видны грязные пальцы в пыли), тяжело жует за обеими щеками и, несмотря на свою немоту, мелодично позвякивает чем-то железным у себя в кармане.

— Валер, ну дай. . . Помнишь, печеной картошки тебе давал. . .

Нямтять вплотную подошел к нашим коленям и протянул кусок мне. Я откусил побольше и стал жевать, а Нямтять неожиданно показал Толстоносому фигу. Нос у Толстоносого съезжился (когда он злился, то всегда так носом делал), но он не терял надежды:

— Маняшка, дай кусить.

Маняшка, подняв от куска стриженую головку, улыбается светлыми глазами и протягивает кусок. Толстоносый уже хотел спрыгнуть с забора, чтобы подойти и откусить, но Нямтять быстро дал Маняшке по стриженому затылку, она покачнулась и шлепнулась в пыль, но не заплакала, а поднялась и, все так же улыбаясь, стала есть.

— Нямтять дурак! — крикнул Толстоносый.

Нямтять спокойно ест. Он съел треть куска, было еще много, и нам было завидно. Нямтять посмотрел на меня, отломил немного и дал, но объяснил, что если я дам хлеба Толстоносому, то получу нямтяревского кулака. А Толстоносый будто назло канючит:

— Шур, дай куснуть, ну хоть на ползуба.

Я боюсь Нямтяря, да и хлеба хочется, поэтому, я быстрее толкаю все в рот:

— У меня нет, а изо рта нельзя — это не конфетка.

Толстоносый гхыкнул, а сам все же решил напакостить Нямтярю:

— Валера, фу, боди. — И показывает на свой пухлый, толстый нос и на кусок с медом.

Нямтять побледнел, неподвижные глаза вспыхнули, он бросил хлеб в пыль и с обидой заорал:

— Ма. . . мама!

На крыльцо выскакивает растрепанная мать в цветастом фартуке.

— Фу, боди, боди, — с плачем стонет Нямтять и показывает на кусок, на Толстоносого, на свой нос.

— Чово, чово орешь, Нямтять, дурак! Чово ты их слушаешь.

Она подбирает хлеб, хватает Маняшку за руку и уводит их в дом, обещая что-то.

После обеда мы сидим на заборе, а солнце давит на наши макушки, превращая волосы в солому, а плечи в шоколад. Теперь с нами Муся, потому что его мать принесла Ярким требухи с бойни, а значит, Толстоносый должен (по своему разумению) отблагодарить мать Муси, то есть вступить с ними в мир.

Я с грустью вспоминаю то невозвратное время, когда мы, дети, по-своему участвовали в делах взрослых, может быть многого не понимая, но чувствуя серьезность происходящего в то время, когда было голодно. Все было тогда таким вкусным, каким уже ничего никогда не будет. Мы это понимали и ценили.

— Гхы, уедем, Колёк, в Каменку...

— Иди от нас, Доходяга, — говорит Муся.

— Ладно ты перебивать, — говорит Толстоносый. — Пусть сидит, он еще маленький.

Я молча достал из кармана лупу, и мы по очереди пробуем ее. Интересно получается: поднесешь лупу к бумажке, наведешь точку — и раз, бумага горит. Толстоносый выжег на заборе слово, а Муся поднес лупу к штанам на коленке, материя — пфф... и дыра. Муся взвыл.

— Дубина, — говорит Толстоносый. — Катька тебе даст за штаны.

— Не даст. Вася Макаров еще привезет.

Мы молчим, а искрящиеся песчинки солнечного света поднимаются до самого воздушно-синего неба, потом оседают вокруг нас и гаснут в тени от деревьев, от забора, от сараев, от наших фигур.

— Чё-то Роковушка не идет, — задумчиво говорит Толстоносый.

— А он у семнадцатого барака футбольную кобурку с песком пинул, — лениво отвечает Муся. — Пацаны насыпали песку и подложили, а Минька разбежался с крыльца, к-а-а-ак даст пыром, ноготь и слетел.

Не везет Миньке, вечно он с «фонарями», вечно у него что-нибудь перевязано, а так он ничего: хоть голова у него пирогом, зато шкатулки делает — будь здоров! Красивые такие шкатулки — темно-красные или непроглядно-черные, лакированные, оклеенные соломой, а на крышке или на спин-

ке врезано зеркальце, или открытка, на которой изображен город Москва, или флаги, или парочка в обнимку. Горит шкатулка, а шкатулочники с квадратными тряпочными сумками, набитыми шкатулками, носятся по перрону, вдоль зеленого пассажирского, который важно и надменно пытит, готовый сорваться и мчаться в неизвестные края. Поезд на нашей маленькой станции стоит минуту-две, и тут-то настоящие шкатулочники показывают чудеса: вертится, горит, будто живая, шкатулка в детских руках, сделавших ее, а сам «торговец» скачет перед вагонами, выбирая покупателя, стараясь подцепить красномордого «пижамника», жадно хватающего малосольные огурцы, горячую картошку, смородину, вишню — главное богатство нашего городишки. Тут его и нужно изловить, подсунуть ему шкатулку: давай, давай бери, дядя, дома спасибо скажут, нет больше нигде таких штучек, смотри сам, что хочешь положить можно, да сыпь, сыпь в ее вишни, не слиняет. . . Ошалевший от спешки и жары «пижамник» валит в шкатулку картошку, рассыпчатую, будто покрытую налетом инея, сыплет рубиновые крупные вишни, сует пацанам в руки червонцы, четвертаки, полсотни. . . Шум, гам, крик — и вдруг вся братия врассыпную. По земляному перрону, красуясь перед отходящим поездом и согражданами, важно идет дежурный милиционер, зорко поглядывая по сторонам. Тут не зевай и не ахай: не успел получить с покупателя деньги — не надо, лучше на одной шкатулке погореть, чем потерять всю партию. Твое дело идти сейчас спокойненько в станционный садик, лечь на траву под кустик акации, рядом с памятником, покрытым серебрянкой, и ждать следующего поезда. . .

Я помню свою первую, свою единственную шкатулку: делал я ее долго и упорно (целых две недели). Ничего получилась шкатулка, только немного кривоватая, немного солома отстала, а так — хоть куда! Я бегал с ней вдоль вагонов и кричал:

— Прощу десять, за пятнадцать отдам!

У меня не купили, а поймал за ухо милиционер: «Эх ты шкет! Ах пистолет, ну-ка жми домой, и чтоб больше не видел!»

А Минька — артист, хоть голова из двух половинок. У него под домом законная дыра есть: три фуфайки постелены, полки, фонарик, папиросы лежат, конфеты припрятаны, — свое место.



Мы сидим на заборе, к нам, хромая, подходит Роковушка. На большом пальце сияющий белизной бинт.

— На плоты ходили?

Он выше нас, черный и горбоносый. Мы молчим, я прячу лупу в карман, дома подложить на место надо.

— Айда. А потом в «чику» сыгранем, — отвечает за нас Толстоносый.

— У меня только гришка, — оправдывается Минька и показывает избитый в игре, рябой десятикопеечник.

— Он его вчера с кона стащил, когда у Шурки «чика» была, — съязвил Муся.

Вот Муся! Пока с ним вдвоем — он ничего, а при всех только бы напакостить, сравнить кого-нибудь друг с другом,

а самому в сторону. Пока я думал об этом, прослушал, что Толстоносый сказал. А он уже спрыгнул с забора и отряхивает штаны.

— Не, нет их сегодня, я там был уже, — говорит Роковушка.

— Тогда пойдем.

Мы идем вдоль забора, а солнце не отстаёт от нас и светит в щели меж ганок, и от этого рябит в глазах: то красные полосы, то синие. Да ещё Муся-дубина ведёт палкой по забору, треск — хоть уши затыкай.

— Только не бойтесь, — говорит Роковушка.

— Сам не сорвись, — отвечает Толстоносый.

— Мы вчера ночью с Нямтярем катались, — хвастает Муся.

— Кончай трещать.

— Нет там плотов, я утром был, — говорит Роковушка.

— Сами сделаем, а ты трепло.

Через шоссе от нашего двухэтажного соснового барака — товарная станция. Здесь же — железнодорожный треугольник («треуголка»), по которому маневрируют «кукушки», тонко свистящие по ночам и пускающие в звездное небо оранжевые, высоко взлетающие и медленно падающие искры. А паровозы шумно спускают пары, вываливают в виде шлака свои раскаленные внутренности, которые отгребают женщины в синих комбинезонах и белых косынках. Паровозы, облегчившиеся и вновь заправленные, весело и сыто ревут басом, подхватывают отдохнувшие составы и мчат их куда-то туда, где нужны длинные сосновые тесины, песок, битум, бревна, уголь, щебенка. Потом возвращаются из неведомого «оттуда» с составами из открытых платформ, на которых угрюмо расположились зачехленные, раскоряченные железные звери: широколобые пушки, вертлявые зенитки, приземистые, слепые танки, а возле каждого «зверя» неподвижная солдатская фигура с иголкой штыка за плечом.

А раз, — я помню все до черточки, — прошел состав, посмотреть который сбежались все пацаны городка и женщины, и даже мужчины: состав был длинный и шумный, из коричневых пульманов. С зарешеченных окон были откинута тяжелые, квадратные крышки, а сквозь решетки торчали худые, трепещущие руки, в глубине виднелись напряженные, кричащие лица, в голосах которых было что-то непри-

вычное, но радостное. Вдоль состава, шагах в десяти от вагонов, расхаживали строгие, молчаливые солдаты, не мешавшие женщинам, пытающимся изловчиться и бросить в зарешеченное окошечко куски хлеба и картофелины, огурцы и даже лепешки. Если эти предметы не долетали до цели, их подбирал какой-то человек в полувоенной форме и совал, подбрасывал в высунутые из вагона руки. «Пленные, пленные!» — «Куда их?» — «Домой! В Германию!» — «Смотрите, смотрите! Немцы, пленные!»

Навек это слово слилось для меня с теплым осенним днем, с коричневым составом, с машущими из зарешеченных окон руками.

Вдруг из одного окна вылетел и, блеснув на солнце по дуге, упал в толпу продолговатый предмет, а Нямтярь кошкой прыгнул вперед, кубарем прокатился по земле и через секунду держал уже в руках изящную губную гармошку. Из других вагонов полетели еще гармошки, но тут солдаты повернули к толпе и оттеснили ее к забору, а паровоз громко и длинно провыл, солдаты попрыгали в тамбуры, и состав исчез для нас навсегда.

Вот что такое товарная станция, рядом с которой длинные склады «Заготзерна». За высоким забором всегда воют овчарки, а перед «треуголкой» низина — летом плюшевая от мелкой травы, зимой белая, а весной и осенью коричневая от грязи. В центре низины растет пять огромных берез — две из одного корня и три из другого. На дне низины вечно стоит вода, даже летом, от которой кора берез стала черной.

Здесь мы и катаемся на плотах, которые делаем из заготзерновских ящиков, таская их из-под носа скачущих на привязи собак. Когда ящиков перетаскано очень много, являются сторожа со складов, и тогда спасайся кто как может.

Кататься на плотах — красота! Толстоносый на одном плоту с Мусей, мы с Роковушкой на другом. Толстоносый и Муся — на «линкоре» мы — на «крейсере». Толстоносый азартно толкается о вязкое дно шестом и орет:

— На абордаж, на абордаж! Бей их, Колёк!

Муся при сближении колотит палкой по тяжелой, как ртуть, воде, и веские капли сияющими стеклянными шариками взлетают в воздух, осыпая нас и наш плот. А солнце

крутит золотые кольца в листьях берез, лучи, подпрыгивая, отражаются от ряби воды, взбаламученной нашим «морским боем».

— Шурка, заходи в гавань, а потом в бок, в бок их!

От натуги на коричневом лице Роковушки проступают темнокрасные пятна, черные глаза весело сияют, как у грязного чертенка, а мы кружим вокруг берез, гоняем плоты из ящиков, и серебряные блики спелят наши глаза.

Вдруг огромный фонтан плеснул на наш плот.

— Ты что, пачек захотел? — кричит Роковушка. — А то я вообще сейчас кувырну вас в воду.

В это время о березу ударяется половинка кирпича и шлепается на плот Толстоногого.

— Атас!

У воды, загораживая солнце рукой, стоит сторож с деревянной ногой. Самый ярый: не кричит, как другие, а подкрадывается и пуляет «половинками». В Нямтяря раз попал; Нямтярь, глупый не глупый, а подкараулил его вечером и из-за угла дал ему колом по здоровой ноге. Тот сел у забора и подняться не может, скрипит зубами, даже не ругается. Нямтярь хотел его еще раз сидячего по башке вдарить, да я бросился к нему, а он за мной, — махнул колом, по плечу немного попал, рубец был, а «хромыдыр» вдоль забора домой полез (видели мы с Роковушкой, как след деревянной ногой прочертил), а потом долго не был, и вот снова принесло. Куда ему, хромому, здесь работать? Так нет, стоит почти у воды, деревяшка в грязь увязла, а сам клюшкой в воздухе трясет.

— Во, принесло, — сказал Роковушка, — теперь не катаешься, кранты.

— Смываться надо.

Хромой отшагивает здоровой ногой чуть в сторону, поднимает бульжник, втыкает клюшку в грязь и, прицелившись, вытянутой рукой зло швыряет камень.

— Шухер, пацаны! — кричит Муся и, пыжась, толкает к берегу.

К низине от «Заготзерна» по-мужицки, выкидывая вкривь и вкось ноги, трусцой спускаются еще два сторожа. Кулаки бодают воздух, сторожа на ходу матюгаются, направляясь в обход, наперерез нам.

Весь берег — низина с тиной, а две доски только в одном месте. Мы спешим, как можем: вот Толстоносый подталки-

вает плот к доскам, вот он соскакивает на берег, а Муся змей боится, идет, вихляется, гнется из стороны в сторону.

— Скорей, скорей! — кричит Роковушка.

Плот толкнулся в ил, Роковушка примерился, прыгнул по-собачьи (и палец не помешал!), выскочил на берег, а мой плот, оттолкнутый Роковушкой, снова отплывает к березам.

За Мусей погнался один из сторожей, а второй, раскрасневшийся от бега татарин, подбегает к сходням:

— Попался! Свэду, бит, домой, отец шпарка дает. Даньгу за яшык платить кто будет?!

Тогда я первый раз в жизни понял, что значит «попался». Я небо помню, мокрый плот, потные лица сторожей, но лучше я помню другое: сердце мое сжимается, постепенно превращаясь в точку, а может быть — дырочку, сквозь которую неизвестность остро и больно вытягивает время. Я не боюсь шпарки, мне не страшны их «половинки», а вот ребят на плотах нет, плот плывет плохо, а внутри что-то ноет, ноет, должно что-то случиться. Что ж я бросил шест? Что ж я стою? Вон и второй вернулся, Мусю не догнал, жердь несет, плот Толстоносого доставать будут. Все — попался я. А пацаны не уходят (только Муси, гаденыша, нет). Смотрю, Толстоносый камней набирает и к хроному, а Роковушка орет:

— Эй, ты, хромодыр, мало тебе Нямярь дал? Счас еще получишь!

Хромой поворачивается к ним корпусом, а ноги деревянной из грязи вытащить не может, только кулаком машет. За спиной у меня татарин пыхтит, скорее, скорее! Тут хроному кто-то из пацанов и тюкнул по затылку камнем. Хромой — за голову, а я — хоть до берега шагов десять — бух в воду, и грудью ее, грудью, и к берегу, к берегу, а сам вижу: хромой садится потихоньку прямо в тину. А я, всхлипывая, лезу к берегу и чувствую — случилось что-то нехорошее (хромой на боку в тине лежит, правой рукой за затылок держится, пацаны наперегонки к бараку мчатся), чувствую, что силы мои кончаются, и лезу, лезу по грязи, а кажется, что все топчусь на месте. От страха хочется закричать, потому что я никогда не выберусь на твердый, зеленый берег!

Как я бежал! Не разбирая дороги, прыгая через пеньки, перескакивая через ямы, а потом за барак, между сараев, через забор, к дыре, где мы с Нямярем рубанки прячем.

Остановился, отдышался, посмотрел на ноги и заплакал: бот, единственной моей обуви, не было, они увязли в грязи.

Толстоносый, я и Роковушка лежим на сарае, а солнце, слегка уже утомленное, загустевшее чистым золотом, сверкнет и отвернется, тяжелые латунные лучи растекаются равномерно по крыше, наполняя воздух ленью и усталостью, а время, увязнув в этом расплавленном солнечном свете, свернулось и умерло. Мы лежим, подложив ладони под затылок, и смотрим в голубое небо. Мои шаровары, распластавшись, лежат рядом, лежат неподвижно, будто так же задумчиво смотрят в небо.

— Да не найдут нас, не бойся, Шурка, — говорит Роковушка.

— А боты. . .

— Скажи, не брал.

— Да, так матуха и поверила.

Мы молчим, из барака выходит моя мать с ореховой палкой (сам вырезал), а из-за угла выглядывает Муся.

— Наябедничал, гад, — скосив глаза, ворчит Толстоносый.

— Ты что там без штанов делаешь? — кричит мать.

— Так.

— Я вот дам «так»! Связался со шпаной.

— Сама ты шпана, — недовольно бурчит Толстоносый.

— Ах ты сопляк! — говорит мать. — Скажу матери, как ты разговариваешь.

— Иди, говори.

— Не бойся, скажу. А ты домой не приходи, отец тебе выстелку устроит, чтоб боты не терял.

Я восстанавливаю в памяти штришок за штришком, детальку за деталькой, жест за жестом — все, чем так густо наполнился тот жаркий летний день. И у меня получается мрачное (для меня тогдашнего) самодельное здание из серых булыжников, здание с узкими окнами без рам, с плоской крышей, здание моей первой тоски, где витает неловкость перед пацанами (перед Толстоносым), где в углу сидело что-то сжавшееся, принадлежавшее мне, что в тупом одиночестве ожидало своего часа казни.

— Ну, так будешь слезать? — кричит мать.

— Нет.

— Ну, смотри, жди отца.

Солнце висит на наших плечах, а мы с Толстоносым сидим на заборе. Длинные, тощие тени, совсем не похожие на наши спины и головы, лежат на остывающей земле.

— Ну ладно, давай последний раз из трех попыток, и я домой пойду, — говорит Толстоносый.

Мы сидим и плюем, кто дальше. Как я любил плевать, кто дальше! Все тихо, а ты сидишь и плюешь, и хоть знаешь, что поздно, но особенно не торопишься домой, потому что за тобой нет вины.

— Ну давай, чего ты, твоя очередь, — говорит Толстоносый.

Я нехотя, вяло плюю.

— Смотри, твоя взяла, — хмыкает он.

А я молча показываю Толстоносому на нямтяревское крыльцо: по нему с перебинтованной головой, стуча культей по ступенькам, поднимается хромодыр, потом выходит и, подковыляв к нашему крыльцу, скрывается в подъезде.

— Ладно, Шурик, я пойду, а то матуха в кладовку запрет. Обещала, если долго не приду.

— Ну иди, — говорю я тихо.

— А ты тоже иди. Подумаешь, хромодыр пришел. Скажи, что не один был, а если папан отлупит — потерпишь, а Мусе завтра пачек дадим.

Он не знает, что сегодня я получу свою первую настоящую шпарку, что щелчки матери — одно, а сегодня все другое.

Я помню, прекрасно помню, как я — шестилетний — сидел на заборе у груды привезенных в тот день малиновых в свете заходящего солнца ганок, скрывающих меня от барака, — с крыльца совсем не видно, как мы сидим на прожилках старого забора, меж выдранных ганок. Я помню, как сидел и ждал этой первой шпарки: я знал свою вину, я знал, что боты действительно моя единственная обувь, что мать не разрешит мне ходить босиком, и вроде сильнее ноет во мне тоска. Я теперь всегда, значит, буду дома, мне никогда больше не бегать на станцию, никогда больше не кататься на плотках, не стоять на коленях в пыли, склонившись с битой над рассыпанными монетами «кона», не ходить в лес, на озеро Мыслецкое, где можно разуться и ступать белыми ногами по щекотному зелено-коричневому мху, продираясь сквозь кусты к заливчику, где можно забросить самодельную удочку с ниточной леской.

Ах, зачем мне нельзя босиком, как всем, зачем я часто болею, зачем нельзя купить ботинки, зачем меня бить сегодня, зачем то, что случается, нельзя вернуть, зачем нет таких слов, чтоб рассказать все матери так, как я чувствую, зачем нельзя просто забыть про сегодня и сделать так, будто ничего и не было?

Я не боюсь, что не вытерплю боли, я не боюсь узенького отцовского ремня, потому что я много, много раз слышал от пацанов об этом, мне кажется даже, что я понимаю, что все-таки отлупить меня придется, но как все это будет? Мать будет кричать, дергать за волосы, тыча под подбородок: «Не бычься! Смотри в глаза! Умел натворить, умеи отвечать!» А отец молча сдернет шаровары, схватит меня за руку выше локтя и будет хлестать ремнем по ногам, по голому телу.

Если б все было так! Я бы не кричал, не извивался, не кусал бы отца за пальцы, а, получив свое, пошел бы в кладовку и там, может быть, поплакал, а потом все стало бы как прежде.

Но вдруг все будет по-другому?

Я сижу на заборе, солнца уже нет, а зеленовато-голубое по краям и синее над головой небо начинает медленно опускаться, всасывая, втягивая в себя землю с бараками, с деревьями, с сараями, с забором, выворачивая все это черной стороной наизнанку, а заодно утягивая меня в прохладную, без резких очертаний ночь.

А хромодыр еще не появлялся (из подъезда выскакивала мать с сумкой, скоро вернулась, неся ее на согнутой руке), в нашем окне вспыхнул свет, изнутри задернули занавеску.

Я сижу, прижавшись к столбу. Вдруг — за спиной шорох, чуть вскрипнув, кто-то взвизгивает над забором и прыгает на землю, глухо стучает босыми пятками.

— Ой! — вскрикиваю я и хватаюсь за столб.

А Нямтять уже стоит передо мной в своих болтающихся штанах и коричневой косоворотке, как у всех у них — у отца и братьев, какие шьет им мать, наверное не умея шить другие рубашки. Нямтять стоит и, чувствуя, что я дрожу от испуга, гогочет своим нямтяревским смехом:

— Бо-бо-бо-бо.

Потом, сопя, лезет к себе за пазуху, куда-то далеко-далеко, чуть не за спину, и, кряхтя, вынимает что-то шуршащее.

— Во, — говорит он гортанно, но негромко. — Турта, тэбе на, на тэбе.

И протягивает — тускло блеснуло полплитки шоколада в тихо звенящей фольге, кусок черного хлеба и огурец.

— Тэбе на, — повторяет Нямтарь, кладет еду рядом со мной на брусок прожилины, а сам, прикашлянув, садится чуть в стороне на бревно у забора, что-то достает себе и, причмокивая, ест.

Мне не хочется есть, я прячу огурец и хлеб за пазуху, но разворачиваю гладкую обертку, отламываю кусочек шоколада, кладу в рот и затихаю. Я прижимаюсь к столбу, и вместе с приближающейся темнотой и холодом цепенеет и сжимается мой страх, моя отчужденность от нашего окна на втором этаже, где ярко горит свет. Нет у меня брата, а то сидели бы сейчас вместе, а когда у него так бы вышло, я сходил бы домой и сказал бы, что, если нас не простят, мы убежим. Нет брата — выходит, я сам себе брат. Значит, терпи, брат. А эти боты у тебя всегда слетали, но ничего, вырастешь, будут у тебя настоящие ботинки, как у Муси, с блестящими крючками, шнурки коричневые, подошва толстая; тогда и в футбол можно сыграть как следует... А Нямтарь все сидит на бревне, его не слышно и почти уже не видно: черное неправдашное пятно какое-то, ни рук, ни лица, только башка чуть белеет; наверно, сжался и сидит, а может, уснул. Он умеет так — сидеть и спать. И то хорошо, ему все равно, а мне не так страшно.

В бараке хлопает дверь, я вздрагиваю, кто-то выходит и топает к забору. Я всматриваюсь, узнаю Роковушку, который прислонился к забору, и слышно, как отскакивают брызги.

— Шурик, ты, что ли? Ты что сидишь? — присмотревшись и узнав меня, спрашивает Минька.

— А чего? — говорю я и не узнаю свой голос: какой-то тоненький и даже жалобный.

— Хочешь, иди в мою дыру, там лафа.

— Не, не хочу.

— Чо, боишься? А это кто? Нямтарь, что ли? Спит вроде.

— Сам ты боишься, — говорю я, но чувствую, что голос стал еще тоньше, и уже слышно, как дрожит.

— Ну, хочешь, я с тобой пойду? Мне все равно, где спать, а там ляжем вместе, тепло. Нямяря с собой прихватим.

— Нет, я тут.

— Ну, смотри, — говорит Роковушка. — Я тогда домой. Валерка! Нямяря! Маняшку-то украли! Дрыхнет, тетеря...

Он уходит, а я всхлипываю, и мне становится совсем горько и одиноко. Я будто сквозь сон вижу, как, покачиваясь, выходит из подъезда хромодыр, охая и отталкиваясь скрипящей в песке клюшкой, с перевязкой, похожей на белую шапочку. У меня затекло тело, я устал сидеть на заборе, но мне так не хочется прыгнуть на землю. Там все мне кажется темным, холодным и страшным, как в воде. И я еще крепче прижимаюсь к столбу и тихо начинаю плакать, а сухой сосновый столб согрел мне щеку, и руки, и тело. . . Я засыпаю, мне кажется, что я на плоту, что плавно куда-то скольжу, улетаю, только вот зацепился за куст, даже не за куст, а за шевелящийся березовый сучок, да это же сторож хватает меня! Отдирает меня от плота, сопит, дышит мне в ухо. Я просыпаюсь и вскрикиваю: отец разжимает мои руки, снимает меня осторожно от столба, и легонько берет на руки, и целует в лоб сухими губами, и его щетина шуршит по моей щеке. От отца пахнет луком, а грубые, испещренные царапинами руки гладят мою голову. Я молчу, а отец несет меня на руках к барaku; Нямяря поднимается с бревна у забора, зачем-то вздыхает, отряхивает штаны, идет следом и, проводив нас до крыльца, направляется к своему подъезду, тихо сопя, а может быть, пытается насвистывать, подражая кому-то, одному ему известному.

Евгений Феоктистов

* * *

*Три стога — три богатыря
Толются около тропинки,
И в сено превращенные травинки
Хрустят, о прошлом говоря.*

*Их ветер треплет за вихры,
Но сразу мчится прочь в испуге,
Поняв, что им не до игры:
Стога серьезней всех в округе.*

*Я от ненастья к ним бегу,
Сквозь кутерьму дождя и снега,
Чтоб невзначай заснуть в стогу,
В тепле душистого ночлега.*

*Следы забот смахнув с лица,
Лежу на простыне из хруста,
Пока два стога-близнеца
Несут бессонное дежурство.*

*Они стоят во весь свой рост,
Касаясь неба головами.
У них на шлемах искры звезд
Горят над сонными полями.*

*И благодарен я стогам
За их душистую уютность.
Сон в сене вновь напомнил юность:
Возню в стогах, и смех, и гам.*

*И детство, с плеч стряхнув труху
Сенную, прыгает с разбегу,
Устав топтаться наверху,
В нагруженную сном телегу.*

* * *

*Когда мелькают весла над волнами,
То лодка схожа с птицей временами,
О сходстве том не ведая сама.
Ее тревожит волн прикосновенье:
Она то в бездну рухнет на мгновенье,
То вверх вспорхнет, сводя гребцов с ума.*

*Зачем же мы торопимся упрямо
Плыть сквозь волнение в будущее прямо,
Не подождав успокоенья вод,
Как будто гонят в путь нас чьи-то руки,
Как будто нам не вынести разлуки
С тем будущим, которое нас ждет.*

Герман Сабуров

КАРЕЛЬСКАЯ ДУДКА

Озера. Дороги.
Да камень на камне.
Ту землю я трогал
Босыми ногами.
Там смирное солнце
И хищные рыбы,
И нервные сосны
Сбежали к обрывам.
Массив каменистый,
Болотную студень
Штурмуют туристы —
Веселые люди.
Там мальчик белесый
Всерьез или в шутку
Из ветки березы
Мне вырезал дудку.
Под бледной корою
Отверстия выжег
И дудку настроил
На «чижик-пыжик».
Та детская шутка
Людей умиляла.
Забавная дудка! . .
Да толку в ней мало.

*И дудку я бросил —
Наивный мотив!
В валежнике просек
Ее не найти.
Другую мне надо —
Из кости орла,
Чтоб ветер к ней падал
И яблоня шла.
Но с верностью чуткой
Я вспомню в пути
Карельскую дудку —
Наивный мотив.*

* * *

*Как жить нам, людям, на земле —
Всегда подозревая
Самонадеянность в шмеле,
И страх в собачьем лае,
И хищность скрытую в весне,
Мужчину — в женском горе,
И недоверие ко мне
В трамвайном контролере?
Я, как в предателей, у стен
Стрелял бы в подозренье,
Я б людям раздавал взамен
И веру, и прозренье.*

* * *

*Мы уничтожили бугры
на грязном теле километра.
На стройке рыжие костры
сугуляются от ветра.
Прорабам глотки доконав,
струятся трубы по траншеям,*

*смола хохочет в таганах,
и напрягают краны шеи.
И край белесой мерзлоты
гудит железными громами,
и наши тени с высоты
в костры ныряют головами.*

Анатолый

Петухов

* * *

*Мы спали на травах,
На нарах, рогожах,
В палатках дырявых,
В распадках таежных.*

*Остались примяты
Зеленые травы,
Ржавеют лопаты
В отвале канавы.*

*Остались две пачки
Подмоченной соли.
Как знаки удачи,
Остались мозоли.*

*Мы знали — до сути
Нам надо добраться,
Из наших распутий
Дорогам рождаться!*

Валерий

Холоденко

Мир на двоих

РАССКАЗ

Ему показалось, что до вокзала они ехали целую вечность. Потом долго шли. Алька держала в руке поводок. Маленький пес, эдакая сарделька на лапах, все время путаясь под ногами, забегал вперед, заглядывая в лицо Филиппу и будто бы даже посмеивался над ним. С трудом преодолев ступеньки лестницы (так ей и нужно, этой сарделе!), он опять семенил рядом со своей хозяйкой.

«Скорее бы! Электричка! Отъезд! А потом все совершенно непохожее на город: песок — можно снять ботинки, запах зеленого неба и шум голубых деревьев».

И вот наконец вокзал!

Продавцы мороженого в белых передниках...

Газетные киоски, заглядывающие яркими обложками журналов в лица покидающих город людей...

Состав, медленно отходящий в какой-то свой загород.

— Купи мороженку, — сказала Алька и смешно сморщилась нос. — Еще пятнадцать минут до отхода.

Филипп отсчитал деньги и уже направился к лотку, но Алька остановила его:

— Я расхотела мороженку.

Он удивленно посмотрел на нее. Увидел в ее глазах шалость и улыбнулся:

— Почему?

— Не знаю, — пожалала она плечами. — Не знаю — не хочу. Не хочу — не знаю. Я хочу в вагон.

Улыбаясь, он все смотрел на нее, вернее, на ее доверчиво приоткрытые губы. И эта доверчивость поразила его: ему сразу же представилось, что кто-то большой и сильный целовал эти губы, пока он был в армии.

Но лучше об этом не думать: она согласилась поехать с ним за город — и он счастлив. Еще ни разу не появлялась такая живая боязнь потерять ее. Но Алька здесь, с ним рядом, и сейчас он любит ее больше, чем когда-либо.

— Я куплю?

— Выпить? — спросила она.

— Точно, — улыбнулся Филипп.

Она шагнула на площадку полупустого вагона, увлекая за собой упирающегося пса.

— Правда, это похоже на весы? — спросила Алька, глядя на гладкий квадрат пола.

— Очень похоже, — ответил Филипп и ногой стал нажимать на край вагонной площадки. — Так я куплю?

— Ты хочешь меня спить, чтобы я ничего не помнила?

— Не говори ерунды, — вырвалось у него. И он договорил уже совсем несмело, совсем без характера: — Тем более, что ты говоришь громко.

— Если ерунду говорить тихо, она уже не будет такой ерундой, как эта ерунда. И разве я не права и ты не хочешь меня спить?

— Я никогда не думал об этом.

— Посмотри на часы. Беги скорее!

— Только ты не уходи, — пробормотал он, все еще стоя у раскрытых дверей вагона.

— А ты боишься, что я уйду?

— Боюсь.

Она улыбнулась и слегка толкнула его в плечо.

— Беги! Я не уйду.

Он решительно сделал несколько шагов и побежал.

«Трусишка. Испугался, что я уйду... Какой же ты смешной, Филипп... И разве так бегают мужчины?»

... Может быть, твоя самоуверенность притягивает меня? Твое лицо порой преображается, что я не узнаю тебя! Так было вчера, так было и сегодня — и я согласилась поехать с тобой.

Но я не скажу тебе об этом, не скажу потому, что боюсь — ты разлюбишь меня или будешь любить не так, как любишь сейчас».

Филипп только-только успел впрыгнуть в вагон. Двери съехались за ним, и электричка тронулась.

Когда электричка выровняла свой ход, они пошли в глубь вагона. Пес послушно шел за ними.

Филипп, отстав на несколько шагов, следил за ее чуть отмахивающей в сторону рукой с книжкой. Когда она отыскала свободное место у окна, он подошел и сел рядом. Потом пересел, чтобы видеть ее лицо.

Алька посмотрела в окно и спросила, будто на ее вопрос должен был ответить кто-то там, за окном:

— Филипп, я дочитаю?

— Две странички?

Она улыбнулась.

— Да. — И склонилась над книгой.

Филипп посмотрел, как раскачиваются в такт движению электрички пассажиры. Среди них его Алька. Он отъединял ее от всех, любовался ее волосами, окрашенными сейчас солнцем в цвет темного огня, смотрел, как ее пальцы перелистывают страницы, и думал, что любит некрасивость этих пальцев, любит чуть загнутые вверх кончики с островками ногтей.

Как хорошо, что она согласилась поехать с ним за город!

Ее комната светилась голубоватым светом, напоминая наполненный водой аквариум.

Они сидели на диване. Этот диван и еще два кресла были будто бы специально под цвет Алькиных глаз.

Наверное, он так долго молчал, что она вдруг забралась на диван и взяла книгу со столика трюмо:

«Мне осталось всего две странички дочитать, посиди немного».

И он сидел и ждал.



В створках трюмо отражались: он и Алька, Алька с книгой — и он без Альки.

...Наверное, что-то прочитала — улыбается. Гасит сигарету, вдавливая малиновое острие в самое дно пепельницы. Но сигарета не гаснет: растерзанная, она продолжает дымиться.

И он подумал, что так гасят сигареты люди, которые ни одного дела не доводят до конца, есть в этом жесте что-то спокойное, даже слишком спокойное — равнодушное.

Но стоит ли об этом думать?..

«Олива, ля, А! Я люблю «ю» — тебя, моя маленькая Аля! И если кто-нибудь любил тебя больше, чем я, так это — я сам, я, знавший тебя тысячу лет назад (тогда мы жили в душах других людей, любивших друг друга, но по случайности не знавших, что они — это мы с Алькой. . .)».

Алька неожиданно подняла голову и посмотрела на него. Улыбнулась:

— Ты не хочешь покурить?

— Хочу.

Она закрыла книгу, заложив палец между страницами где-то на середине.

Вышли на площадку. Одинокий курильщик докурил папиросу, выбросил ее в маленькое окошечко над дверью и, взглянув краем глаза на Альку, пошел в вагон.

— Почему ты не спросишь, — она сделала паузу, — что я сейчас читаю?

Филипп подумал, что она хотела сказать что-то другое, но не стал допытываться, просто сказал:

— Не знаю, как-то не додумался.

— Моби Дика. Удивительно. Можешь себе представить — хотя ты все можешь представить — из китовых зубов делают ручки для тростей и всякую другую всячину.

Филиппа так и подмывало спросить, что можно сделать из зубов ее милой собачки. Но спросить он все-таки не решился. Он лишь взглянул на Альку, но тут же опустил глаза. Она смотрела на него. Значит, наблюдала за ним.

— Филипп, скажи что-нибудь. Ты будто и не рад, что мы едем вместе?

— Ну что ты, я очень рад.

— Тогда о чем ты думаешь?

— О тебе. . .

— Что же ты обо мне думаешь?

Филипп не ответил.

— Наверное, думаешь то же, что и я. Я уже говорила тебе, что хочу уйти из училища?

— Нет. . . Но почему ты вдруг решила?

— Почему? Да потому, что я бездарна, совершенно, начисто. Так что, думаю, будет лучше, если я уйду.

Филиппу захотелось успокоить ее, но он не находил слов утешения: он знал, что живопись у нее грязная, но Алька не старается что-либо изменить. С рисунком — и того хуже.

И все-таки слова пришли:

— Ты талантлива в другом, — проговорил Филипп. — Твой талант в тебе самой; в том, как ты ходишь, как улыбаешься, и в том, как ты делаешь все...

«Правда?» — спросили ее глаза.

— Да, — кивнул головой Филипп и улыбнулся.

— Я даже покраснела от счастья. Да?

— Немножко.

Они замолчали. Филипп думал о ней. А она ждала, когда он скажет ей еще что-нибудь нежное, убеждающее в его любви.

И Альке захотелось сделать ему что-нибудь приятное — поиграть его шевелюрой, задержать его голову в своих руках, прижаться к ней лицом...

Но она только скользнула рукой по его руке и сказала, что это очень славно, что они выбрались за город: она уже давно никуда не выезжала.

Филипп не заметил, как электричка остановилась.

Они вышли из вагона. Под прохладной кровлей оцинкованного неба постояли некоторое время, и Филипп заметил, что здесь, под Ленинградом, деревца — совсем непредвиденное чудо — стоят, словно рюмки, наполненные густым зеленым ликером.

До одноэтажного синего домика с мансардочкой дошли быстро. Филипп по-свойски толкнул полосатую калитку, она пропела несложную песенку — и они вошли.

На крыльце, как на маленькой сцене, появилась хозяйка. Она вытирала руки о длинное коричневое платье. Ее глаза недоверчиво смотрели.

Филипп пошел по земляной дорожке, перешагивая и обходя кирпичики, лежащие редким пунктиром, — видимо, здесь вчера или сегодня утром прошел дождь.

Алька осталась у калитки. Она смотрела, как он говорит о чем-то с хозяйкой. Вот познакомились — Филипп наклонил голову и показал на нее, Альку, стоящую у калитки.

Что-то объясняет. Хозяйка утвердительно кивает головой, улыбается.

Вот он машет ей, Альке, словно загребая к себе расстояние. Его губы шевельнулись: «Иди сюда!».

Комната — маленькая и квадратная — смотрела единственным своим окошком на дальнюю зелень. Пахло пылью и залежалостью вещей.

Филипп открыл окно: две игрушечные створки распахнулись над хозяйским огородом.

Стол у окна, казалось, вот-вот развалится. Чуть ли не на середине комнаты — вот чудо! — печка.

— От нее хорошо плясать, — говорит Филипп.

— Хорошая комнатка, — отозвалась Алька. — Откуда у тебя такая?

— Так, одного приятеля.

— А он, случаем, не художник? — Алька прищурилась на репродукцию на стенке.

— Нет, просто приятель.

— Смотри, бутылка, — сказала она.

На столе чернела тяжелая пустая бутылка из-под пива. А на этажерке стоял одинокий стакан.

— И стакан, — добавил Филипп.

— И стакан, — повторила она. — Послушай, что ты сказал хозяйке обо мне?

— Сказал, что ты — моя жена...

— А она что?

— Кажется, не поверила.

— А ты веришь?

Он не ответил. Только посмотрел на нее и увидел, какая она красивая сейчас — еще лучше, чем в городе.

— Давай покурим. Тебе не нравится, что я курю? — спросила она, садясь на единственный стул, спинка которого была перебинтована сверху донизу узкой тесьмой.

— Нравится... Мне все нравится, что бы ты ни делала.

Она вспомнила его слова: «Твой талант в тебе самой: в том, как ты делаешь все...»

«И в том, как обманываю тебя», — договорила про себя Алька и вдавила сигарету в пустой коробок, лежащий на столе вместо пепельницы.

«Опять она гасит сигарету не до конца... Маленькая Олива! Это единственное, что мне не нравится в тебе...»

— Значит, тебе нравится все-все, что бы я ни делала?

— Да, — сказал Филипп и насторожился.

— Даже то, чего ты не знаешь обо мне?

Филипп опустил голову. «Что именно я должен знать о тебе?» Ее губы совсем рядом. Неужели и вправду их кто-то целовал? Кто-то чужой?..»

И он решил и произнес вслух:

— Что же я должен знать о тебе?

— А ты спроси, и я расскажу. . .

— Нет, не нужно! Я ничего не хочу знать. И не буду ни о чем спрашивать.

Он посмотрел на Альку. Что-то вдруг изменилось в ее лице.

— Я должна ехать, — чуть шевельнулись ее губы.

Филипп растерянно кивнул, — кивнул не то себе, не то ей, не то своей обиде и отчаянью.

Она ушла, а он еще долго стоял посреди комнаты, не зная, что лучше: сидеть или стоять, плакать или размышлять над происшедшим.

«Может, если бы я сказал ей что-нибудь хорошее, она бы не ушла? Может, и не ушла бы. . .»

Через какое-то время оцепенение прошло. Он лег на скрипучую кровать прямо в пыльных ботинках, подложил под голову подушку без наволочки, из которой торчали острые кончики перьев и кололи щеку.

«Может, она еще вернется?»

Филипп старался убедить себя, что вернется. И почти убедил: он вдруг почувствовал успокоение, которое подступило вместе с уверенностью, что она вернется.

Часы стояли, и он не знал, радоваться этому или нет.

Он открыл бутылку, которую они привезли с собой, отпил несколько глотков и поставил на пол около кровати. В голове его зашумели и затлинькали красивые звуки. Потом звуки сменились стихами:

Я наравне с другими
Хочу тебе служить.
От ревности сухими
Губами ворожить. . .

«Как это нарисовать? В том-то все и дело, что никак не нарисовать. Но у меня есть последняя возможность — написать самые лучшие стихи о ней, которая ушла и не ушла, потому что она здесь, рядом — во мне. . .»

Он провел по лицу рукой.

«Это ее пальцы. Пальцы Альки. Но пальцы все чувствуют, — значит, они не ее, а мои. Как обмануть лицо? — с искренней горечью подумал Филипп. — Эй, лицо! Слышишь ты или нет? Вот как Аленька нежно проводит своими пальцами. . . вот по бровям, по щеке к губам. . .»

О ее пальцах нужно написать. Но только не сейчас».

Он еще отпил из бутылки. Полосы на обоях уходили вверх, словно рельсы без шпал...

И опять его захватывало, и он опять называл Альку самыми нежными именами, какие только приходили ему в голову. Он вспоминал ее, как покинутую даль сада, в которой непременно хочется побывать снова. Он силился вспомнить ее всю, но видел или только ее глаза, или только блузу в клетку, с погончиками и кармашками на груди. Рукава засучены, и видны руки с легкой и пушистой позолотой. «Как она в этой блузе походит на солдатика. Давай, солдатик, сразимся! Ну! Иди же сюда! Скорее!»

Филипп лежал на кровати, словно изогнутый лук, сварганенный из дерева, с которого предварительно содрали кору, лежал на боку, подобрав под себя ноги.

«Ну что же, солдатик? Ну что же, мой бесстрашный солдатик?.. Алька, я люблю тебя! Ах, какой ты сильный и смелый солдатик!»

Когда Филипп проснулся, часы показывали все то же время: шесть часов с минутами. Он вспомнил, что не завел часы... Но что за окном: вчера или сегодня? Может быть и шесть часов утра и шесть вечера.

— Нужно пойти умыться, — сказал он себе.

Держа в руках зубную щетку, он вышел во двор. Долго мылся под рукомойником. Потом постоял с мокрым лицом, позадирав голову вверх, но так и не смог выяснить, утро сейчас или вечер.

Увидел хозяйку — она ковырялась на грядочке. Вытащил из кармана брюк пачку сигарет, изогнутую по форме бедра легким полумесяцем. Закурил и, поднявшись по лестнице в комнату, вдруг почувствовал странное спокойствие в себе: подумал, что совсем не вспоминает Альку. Не любит? Нет-нет, не то. Он обязательно придет к ней, сам придет, ведь они не поссорились. И все будет хорошо, как прежде. Хорошо...

«Но было ли хорошо прежде? Да. Наверное, было... И сейчас тоже хорошо. Было плохо, когда она не любила меня, но было хорошо, когда я любил ее... Она совершенно свободна. И какое я имею право посягать на ее свободу?»

Пусть она делает так, как ей нужно, а я буду любить ее — это мое дело!..»

Вспомнилось почему-то Алькино: «Аз, на место!» — и он улыбнулся: «Я и так на месте, на своем месте. Ты хочешь, чтобы я покинул это место и поехал к тебе?»

Неожиданно в его голове возникли какие-то неопределенные образы, мысли.

В другое время он бы попытался разобраться в неопределенном, но сейчас...

Он хорошо знал это состояние: мысли невозможно высказать, вернее, их мало высказать — надо написать, суметь написать!..

Он торопился. Боялся упустить то, что так сильно требовало выхода. Достал бумагу, сел на перебинтованный стул и вплотную придвинулся к столу.

Хотел ли он сейчас увидеть свою любовь перед собой?.. И да... И нет. О ней, придуманной, хотелось писать, писать, что она, что...

Он писал долго. Сначала ничего не выходило. Потом будто рука стала легче. Он один. В него все входит: начинается в нем и из него рождается. Он — начало всего и конец всего.

Филипп откинулся на спинку стула и закурил.

С чем сравнить ощущение своей свободы и силы, когда кончил писать и чувствуешь, что удалось?

Филипп улыбнулся и, не сдержавшись, лихо брякнул по столу ладонью.

В коридоре слышались отрывистые звуки, словно стук собачьих лап.

Но это ему показалось...

Филипп опять писал, но писал недолго: что-то ему мешало и отрывало от бумаги. Почувствовал чей-то взгляд, словно комната заглянула в его душу новым, только что появившимся окном, неизвестно куда выходящим... Он обернулся.

Около печки стояла Алька. Она держала руки за спиной, будто что-то прятала.

Зрелище! Оно гипнотизирует и заставляет подчиниться: существо творящего человека порождает в смотрящем на него странную ревность и уважение к его труду.

— Я обидела тебя. Прости... А я так и не уехала... Только погуляла с Азом и пришла. Я ходила и думала о тебе. Ты любишь — и тебе легче. Ты понимаешь свою любовь...

— Я совсем не понимаю свою любовь, — попробовал улыбнуться Филипп. — Не понимаю... Только мне иногда кажется, что в тебе слишком уж много моего: и моя любовь, и моя ревность, и все-все... Раньше мне казалось, что чьей-то любви будет достаточно, чтобы я был счастливым. А теперь...

— И ты не хочешь, чтобы тебя кто-нибудь полюбил? — спросила Алька. Левая рука ее утонула в его волосах, на своей щеке он почувствовал ее губы.

Маленький пес-сарделя с удивлением и молящими наплывами темных глаз появился в щели двери. Он твякнул, обнюхал ботинки Филиппа и залез мокрым носом под брючину, и только потом, резко оттолкнувшись, перенес передние лапы с пола на его колени.

— Малыш, — проговорил Филипп и погладил собаку...

В дверь просунулось лицо хозяйки.

— Извините. Я вам поесть принесла. Хотите сейчас?

— Да-да, пожалуйста, — заторопился давно проголодавшийся Филипп.

Хозяйка внесла сковородку с картошкой...

Филипп не успел ничего сказать, как дверь за хозяйкой закрылась.

— Спасибо, — крикнул Филипп вслед уходящей женщине...

Дальше день шел под знаменем Алькиных причуд.

Она сказала, что хочет немножко отдохнуть и дочитать две странички.

— Правда-правда: их осталось две, ну, самое большее — три. Ладно?

Филипп кивнул.

— А ты что будешь делать? — спросила Алька, подняв голову от раскрытой книги.

— Буду вспоминать тебя.

— Вспоминать, какой я была плохой?

— Нет, я буду вспоминать, какой ты была хорошей.

Филипп сел на кровать и стал просматривать недавно написанные стихи.

Прошло полчаса или больше, пока он поднял голову и позвал ее. Ему пришлось еще раз позвать, после чего она отозвалась, вернее, посмотрела на него. Ее губы еще подрагивали, наверное, повторяли чьи-то очень красивые слова.

— Две странички скоро прочитаются? — спросил он.

Она улыбнулась, и губы ее больше не повторяли ничьих слов.

— Все. То есть совсем немножко осталось. Но я потом дочитаю. А что теперь будем делать?

— Будем делать то, что хочется тебе, — ответил Филипп.

— А где Аз? Азя! Иди скорее сюда, маленький.

И пес уже тут как тут: улегся на Алькины ноги, перевернулся на спину.

— Непримечательный экстерьерчик у моей псишки, и нос серый, — совсем никуда не годится... Правда? — спросила Алька.

«Опять она трогает эту тварь, — подумал Филипп. — Идиотская собака! Скорее бы Алька встала. Тогда псу уж точно придется перекочевывать».

Но тут Алька схватила своего любимца за холку и стала безжалостно таскать из стороны в сторону, приговаривая при этом ласково-злые слова:

— Гадость ты этакая... Сладкая гадость! Ух, гадость! Пес ворчал, булькал, но, как видно, не злился.

— Ты так его мучаешь, — проговорил Филипп. — И как он тебя не укусит?

— А ты бы хотел этого?!

— Будь я собакой, то обязательно бы цапнул.

Алька перестала дергать своего любимца и пристально посмотрела на Филиппа.

— Неужели цапнул?

— Точно, — улыбнулся Филипп.

— Вот он бы цапнул, а ты — ни за что. Правда, Азочка? Ты не цапнул?

Пес услышал, что с ним разговаривают, и стал вертеться около Алькиных ног.

— Не вертись, Азочка, ведь мы с тобой так долго гуляли. Иди на место!

Филипп с радостью проследил за отступлением пса, который нес свою широкую спину, над которой развевался флаг капитуляции — хвост.

— Обиделся, — сказала Алька, заглядывая под кровать. — Азя, ты обиделся?

Филипп закрыл глаза и только слышал, как сарделька на коротеньких ножках торопливо просеменила к своей хозяйке.

— Ну, дай мордочку, я поцелую, — не сердись, — сказала Алька.

Филипп вздрогнул и открыл глаза. Он почти закричал. Но крика не было, потому что вдруг непонятно охрип:

— Не трогай его, не целуй! Иди, Аз, на место! Не целуй его. — Рука его дернулась и вцепилась в Алькино плечо. Но он тут же отдернул руку. — Что же я? Прости, — пробормотал он.

— Ты ревнуешь? — спросила она. — Ну хочешь, я и тебя поцелую?

— Хочу, — ответил он, весь сжимаясь в предчувствии прикосновения.

Но она засмеялась и только воздух поцеловала около его уха.

— Знаешь, что я придумала? Пошли играть в карты.

Они спустились вниз и постучались. Дверь им открыла хозяйка.

— В гости? Ну, проходите, проходите.

Они вошли в комнату. Сели за стол. Филипп огляделся. Множество фотографий на стене, белые покрывала, кружевные салфетки на тумбочке, на кровати и на столе, за которым они сидели.

Раздали карты.

— На войне как на войне, — пробормотал Филипп и шлепнул козырной шестеркой по атласной женственности дамы «треф». Он думал о том, что обязательно придет вечер. Но что произойдет вечером, как все будет, он не знал. Ему казалось, что вечером она поднимется и скажет, что пора домой, и тогда все оборвется у него внутри, как сейчас только лишь от предположения, что она уедет.

Он проигрывал и проигрывал, но вставать из-за стола не хотел — боялся, что если встанет, то потеряет ее.

А вечер все не подходил: за окном по-прежнему было светло. На стенных хозяйских часах витиеватые узорчатые стрелки показывали пять. Алька встала и сказала, что играть ей уже надоело.

Потом они пошли в лес.

Мягкий, потрескивающий ковер, сотканный из обломков веток и хвои, лежал под ногами.

Чернела на Алькиной ладони ягодка, ладонь ее плавала кругами, и ягодка каталась по маленькому, с прожилочками судьбы плато.

Потом ягодка падала со стуком в эмалированную кружку, напоминая каплю дождя.

Когда кружка наполнилась до краев, пошел дождь. Он с шумом набросился на них. Он лил и стекал с волос потеплевшими струйками, заливал лицо.

Они выбежали из леса к железнодорожному полотну. Ворвались в магазин.

— Купим чего-нибудь? — спросила Алька и подняла на него мокрое лицо.

— Купим, — улыбнулся Филипп.

Они расплатились промокшей трешкой, которую Филипп вытащил из кармана брюк, и, не дожидаясь окончания дождя, выбежали на улицу.

Пес, которого на этот раз вел Филипп (Алька вручила ему поводок и сказала, что устала от гадкого пса), бежал угрюмой трусой. Филиппу передалось его настроение: хотелось поскорее дойти до калитки, толкнуть ее, потом взбежать по лестнице, сказать радостное «уф»...

Алька прыгала под дождем и била по упругой луже своими босоножками. Брызги разлетались в разные стороны и попадали на Филиппа. Она не скрывала своего восторга: смеялась и косила свои еще более позеленевшие от дождя глаза в его сторону.

В комнате он не сказал «уф», только передернул плечами.

— Идиотский дождь!

— А я только сейчас подумала, что переодеться не во что.

За окном шипело и вздрагивало темное зарево. Кровать была застелена чистым бельем. Алька провела по одеялу мокрой рукой.

— А хорошо! — сказала она.

— Знаешь, — сказал Филипп, — я, пожалуй, пойду... нужно что-то постелить на пол, а ты на кровать ложись...

И он вышел, плотнее, чем обычно, закрывая за собой дверь.

Он спустился вниз. Повернув в темноте направо, пробрался в кладовку, которую заметил еще по приезде. Здесь отчетливо было слышно, как барабанит по крыльцу дождь.

Схватив какой-то тюфяк, Филипп поднялся наверх.

В комнате бросил тюфяк на пол и зажег свет. Алька лежала, укрывшись одеялом и подтянув под себя ноги.

Мгновенно, как по приказу, Филипп щелкнул выключателем. Свет погас. Филипп подумал, что раздеваться все равно неудобно: Алька сквозь темноту видит его. Наконец решившись, стащил с себя брюки и рубашку. Постоял еще некоторое время, потом на ощупь подошел к стулу и сел. Взял со стола пачку сигарет.

— Хорошо, что сигареты оставил... могли бы промокнуть, — сказал он.

— А я вижу тебя, — сказала она, когда он зажег спичку. — У тебя совсем белое тело.

Ее рука призрачным изгибом легла поверх одеяла.

— Налей, пожалуйста, вина.

Он встал и также на ощупь подошел к печке, возле которой стояла сумка.

Комната стала заметно наполняться молочным светом, будто темноту губкой начал вбирать кто-то большой за окном. Дождь прекратился.

Вино льется в стакан, булькая и вздрагивая.

Филиппу стало не по себе от мысли, что она теперь видит его всего, — видит, что он замерз и дрожит.

Свет белой июньской ночи расставил по местам предметы — печку, стол, кровать... Теперь Филипп видит ее лицо, плечи, выпуклость бедра, ставшую огромной горой, по которой скользил белый заснеженный альпинист — ее рука. Она высвободила вторую руку из-под одеяла и подложила под голову.

Он подошел к кровати, крепко держа полный стакан.

— Садись. — Она похлопала ладошкой по одеялу рядом с собой.

Он сел и притих. Почувствовал, как стакан стал возноситься вверх, и вцепился в него крепче. Но ее рука взяла стакан и отвела в сторону, к губам.

— Правда, вино вкусное? Да?

— Да, — ответил он.

— Знаешь, чего я хочу? — сказала она, — сказала так удивительно красиво, что Филипп решил, что сейчас же поцелует ее. Но только спросил:

— Чтобы я поцеловал тебя?

Она засмеялась:

— Не отгадал.

Филипп почувствовал, как загорелись его уши.

— Есть? Спать? Чернику? — выпалил он.

— Совсем «холодно» — не отгадал.

— Тогда не знаю.

Она вспомнила свое утреннее волнение, когда смотрела, как он пишет, и ей захотелось снова увидеть его сильным.

— Почитай мне то, что ты писал. Не мог догадаться, что я хочу именно этого. Почитай, ты ведь раньше читал мне.

— Я... как-то без всего...

— Так даже занятнее. Читай!

Филипп сидел на краешке кровати. Все происходящее казалось ему выдуманным, и если бы он сам не был выдумщиком, то вконец бы растерялся.

— Как в театре, — проговорил он и кашлянул для большей правдоподобности. — Как смешно, — еще раз повторил Филипп и еще раз кашлянул...

Ему казалось, что читал он целую вечность. Стихи удлинялись, и он шел по ним, как по дороге, ведущей в самое сокровенное — в его чувство.

Когда он кончил читать, на какие-то минуты притихла жизнь комнаты.

На его затылке были ее пальцы.

Другая ее рука изогнулась над столом, и подвижная кисть погрузилась в белую эмалированную кружку. Рука извлекла ягоду и поднесла к губам. Еще ягода и еще... Алька притянула его голову к себе, и он почувствовал, как ее пальцы вцепились в волосы, все увлекая и увлекая его в бездну.

Ее сомкнутые губы приоткрылись и укутали его губы своим теплом. Никогда еще такое знакомое для нее желание не напрягало и не сжимало до боли ее грудь.

Вот он совсем рядом с ней, как дитя... Он совсем близко.

— Можно мне дотронуться до тебя? — спрашивает Филипп и чувствует, как трепещет его тело.

Она не ответила ему, и тогда его рука коснулась бугри-

стости одеяла и почувствовала сумасшедший молоточек ее сердца.

— Тебе не идут твои одежды, — проговорил Филипп.

— Почему?

— Не знаю, сейчас мне так кажется. . .

— А как, по-твоему, я должна ходить?

— Без всего, совсем без всего. Какой дурак запретил таким красивым, как ты, ходить без всего?

— Нашелся такой дурак, — засмеялась она и коснулась его плеча рукой.

— Смотри, он подглядывает.

Она отдернула руку.

Филипп обернулся и в сумеречной неверности увидел собачью морду. Острый нос был повернут в их сторону. Филипп встал и подошел к двери.

— Иди, Аз, за дверь, — сказал он, почти выкрикнув последнее слово.

Но пес не желал идти за дверь.

— Пошел вон! — зазвенел в ушах Филиппа Алькин голос, и он втайне обрадовался этому крику.

Пес очутился в темном коридоре. Долго он там сидел, и когда стало грустно, он начал вздыхать и скрестись в дверь. Но дверь молчала и не открывалась. Пес сначала твякнул, но потом затих, успокоился, улегся у двери, положив на передние кривые лапы свою лисью морду.

Филиппу казалось, что он не спал всю ночь и только под утро закрыл глаза.

Как лист тонкого железа, трепыхалось его тело на ветру, на огромной высоте. Ему хотелось пить, потому что за ночь он весь превратился в дерево. Дерево его выросло ночью и стало непомерно большим. Сильным и щедрым оно было теперь.

Сладкими были плоды с этого дерева, поэтому Филиппу хотелось пить, а еще больше — освободиться от гремящего звука собственного тела.

Когда он открыл глаза, его ослепило, а когда закрыл их, то показалось, что сомкнулись створки красных раковин.

Он опять открывает глаза. Пучок света переместился, и Филипп видит воздух, приплясывающий и поддрагивающий на коротеньких ветках деревьев.

Алька еще спала. Филипп поцеловал бы ее, если бы не боялся разбудить.

В нескольких километрах от Ленинграда только он и она. Она ему не невеста, не жена, знакомой он тоже не мог ее назвать, ибо распался бы тогда тот восторженный узел, который стянул все его мышцы кольцом нежности.

«Раньше, когда я читал тебе стихи, — ты смотрела на меня, я чувствовал твой взгляд — и мне казалось, что ты начинаешь любить меня. Поэтому я всегда старался писать много стихов, чтобы прикоснуться к тебе в мыслях, целовать в мыслях, но любить вслух...»

Филипп, приподнявшись на локте, рассматривал ее пальцы и худенькие плечи, от которых начинали свой бег, словно на белом мраморе, голубые струйки еле заметных прожилок. Они врывались под одеяло в ее грудь, и ему хотелось плыть вместе с ними и жить так, как живут они, — принадлежать ей.

Он взялся одной рукой за стол, а другой рукой оттолкнулся от кровати. Натянул на голое тело холодные, еще не высохшие брюки, открыл дверь и проскользнул в коридор.

Он не сразу увидел пса. Но тот напомнил о себе, царапнув по полу когтями. Глядя на Филиппа большими глазами, пес тьякнул.

— Цыц, маленький!

Пока Филипп говорил, пес молча слушал, вернее, смотрел, как шевелятся губы Филиппа. Когда губы сомкнулись, пес три раза отрывисто прокричал что-то на своем языке. После этой ночи пес перестал вызывать у него раздражение, напротив — Филипп даже любит его и больше не ревнует к нему Альку.

Филипп сбежал вниз по лестнице, толкнул ногой дверь во двор. Постоял немного на крыльце, подышал, радостно потер голые плечи, а потом побежал пить из ведра, что стоит в прихожей на табуретке. Едва сдержал свое желание побарабанить по висящему на гвозде корыту.

Они теперь всегда будут вместе, он и Алька. Будут жить точно в такой же комнате наверху, точно в таком же доме...

Сейчас он расскажет об этом Альке.

Когда он вошел в комнату, пес уже сидел около кровати, и Алька теребила его грязно-рыжую шерсть на холке.

— Аль, — сказал Филипп.

— Что?

— Я люблю тебя.

Она улыбнулась.

— Я знаю.

— Я очень-очень люблю.

— Я знаю.

— А ты знаешь, какое теперь утро?

— Конечно, знаю, — ответила она и попросила его сесть рядом.

— Наши руки совсем ни о чем не думают, — сказала она.

— Особенно твои.

— А твои?

— И мои.

— Вот я и полюбила тебя.

— И я будто снова полюбил, с самого начала.

Темные ее волосы горели черно-рыжим огнем, и от них невозможно было оторваться...

Филипп сначала провел по их шелковистой твердости, а потом запустил пальцы в самую глушь.

— Там бы я и поселился, — сказал он.

Пес опять был выставлен за дверь. И утро погасло в их сомкнувшихся глазах.

Геннадий

Алексеев

НАСТЫРНЫЕ

*Садясь обедать,
я вспоминаю, что они лезут.*

*Принимаясь за биточки,
я думаю о том, что они и раньше лезли.*

*Доедая клюквенный кисель,
я догадываюсь, что они и впредь будут лезть.*

*Выйдя на улицу, я вижу,
что, расталкивая всех локтями,
они лезут в троллейбус.*

*Войдя в троллейбус, я замечаю,
что, наступая всем на ноги,
они лезут к выходу.*

*«Бедные! — думаю я. —
Жизнь у них собачья!
Все лезут они и лезут,
все вперед пролезают.*

*А ведь впереди-то
им и делать нечего».*

О ПОЛЬЗЕ ВЯЗАНИЯ

*Там женщины
сидят себе и вяжут.
Спокойные,
сидят себе и вяжут.
А мне так страшно,
тошно,
неспокойно.*

*Эй, женщины!
Да бросьте же вязать!
Глядите —
мир на проволоке пляшет,
он оборваться может
каждый миг!*

*Но вяжут женщины,
не слушая меня,
и спицы острые
в руках у них мелькают.
Я успокоился:
знать, есть какой-то смысл
в вязаньи этом,
значит, женщинам виднее.
Ведь портить шерсть
они не будут зря.*

ЛУЧШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Предвкушать его.

*Услышать скрип двери
и догадаться,
что это оно.*

Растеряться.

*Но взять себя в руки
и, поблуднев от решимости,
прочесть его про себя.*

Поразиться.

*Но, переведя дух,
прочесть его вслух
шепотом.*

Расхрабриться. -

*И, открыв окно,
прокричать его громко
на всю улицу.*

*Наконец успокоиться
и предвкушать новое.*

Самое лучшее.

*Музей искусств изобразительных.
Рисунки светят изнутри.
А мальчик с девочкою — зрители —
Друг другу шепчут:
— Посмотри! ..*

Семен

Хануков

Каюр

РАССКАЗ

— У-у-у... чертов пес, у-у-у... морда собачий... Зачем меня слушал? Знал, что нельзя, а делал? У-у-у... чертов ты пес...

На дворе базы экспедиции, среди срубленных на скорую руку домишек и легких брезентовых палаток, каюр Кешка Горохов ругал своего вожака Миньку. После каждого слова он хлопал пса меховой рукавицей по хитрой морде, по круглым бокам. Бил Кешка небожно, и Минька повизгивал так, для порядка, — надо же было как-то дать понять, что до него доходят Кешкины укоризны.

В палатке было невыносимо душно. Я выбрался на воздух и с наслаждением подставил потное лицо под прохладный ветерок, набегавший с моря. От разогретой июньским солнцем земли веяло поздней весной, какой она бывает на материке. Пахло будущими лугами, которым, увы, не зеленеть на этом островке, затерянном среди Ледовитого океана.

Но пряный дух земли и легкий ветерок с моря одурманивали так, что, закрыв глаза, на миг можно было представить апрельские поля где-нибудь на Кубани... если бы не знакомый Кешкин голос и противное повизгивание Миньки. Я подошел к ним поближе. Кешка сильнее ударил Миньку, и пес заскулил еще жалобнее, — оба они разыгрывали теперь эту комедию только для меня.

— Вот чертов пес, морда собачий, — повернулся ко мне Кешка, — знал, что нельзя, а делал...

Я кивнул Кешке и рассмеялся, а дело было нешуточное: час назад Кешка получил строгий выговор и значительный денежный вычет за халатное отношение к государственному имуществу. И не столько в наказании было дело, сколько в том, что из-за Кешкиной оплошности экспедиция на некоторое время вынуждена была приостановить работы. Все это хорошо сознавал и сам Кешка.

Кешка Горохов родился в Якутске, в семье охотника-промысловика. Кешкин отец был человеком известным в городе. Его портрет висел на Доске почета среди лучших охотников «Холбоса». Дома отец бывал редко. Большую часть года он добывал песца на островах. Кешка проходил четыре года в школу, а затем упрямился с отцом на зимовку, да там и прижился. Теперь и он стал бывать дома редкими наездами.

Домом стал отцовский прокопченный тордох.

Кешка рано научился ладить пасти, готовить приманку и другим охотничьим премудростям. Когда в восемнадцать лет Кешка разделился с отцом, получив собственный участок — двадцать километров прибрежной тундры, — он был уже настоящим охотником. Поставил из плавника нехитрый дом. Соорудил из железной бочки печурку и стал хозяином.

Работа была привычная. Кешка легко и с радостью управлялся с ней. Летом ремонтировал старые и строил новые пасти, заготавливал на зиму оленину и птицу, собирал моржовую и мамонтову кость. С осени заряжал пасти, менял приманку, вынимал из пастей песцов. Весной при недолгом солнце выделывал шкурки и понаторел в этом деле не хуже стариков. Весь долгий сезон работа и только работа. Веселья никто не искал. Для этого было свое время. Наступало оно к концу апреля, когда закрывали пасти и охотники съезжались на промыслово-охотничью станцию сдавать пушнину.

Два-три десятка упряжек сбивались на дворе станции. Ярко светило солнце, весело лаяли собаки, стучала капель по наледи вдоль стен домов. Весело было. Еще веселей становилось, когда после расчета магазинщик Степан открывал склады. Набрав охотничьих припасов и нехитрую одежонку на новый сезон, охотники покупали спирт. Варили оленину в общем котле. Веселились долго, чтобы запомнить этот праздник на весь тяжелый год, на всю вьюжную зиму. Гуляли неделю. Ходили от упряжки к упряжке, угощая друг друга, вечерами пели протяжные якутские песни... А когда на станции разбила базу ленинградская экспедиция, стало и того лучше. К лаю собак добавился гул тракторов и перестук вездеходов. Появились новые веселые люди. Праздник стал короче, но полнее.

Первого мая за общим столом говорил речь начальник экспедиции. Пили красное вино, заедали колбасой и огурцами. После обеда смеялись, хлопали друг друга по плечам, знакомились, с трудом выговаривая русские слова. Вечером смотрели кино. Молодой и веселый Кешка, неплохо говоривший по-русски, легче других находил друзей среди ребят из экспедиции. Очень скоро наши парни подружились с разговорчивым охотником, и когда возникла нужда завести упряжку для экспедиции — предложили это дело Кешке. Кешка принял эту работу не сразу. Трудно менять привычное дело. Но подумал он и о том, что год на год не приходится: то вдруг обманет песец, обойдет твой участок, а то так запуржит, что неделями не выбраться из тордоха, а песца по пастям оберут волки. Плохо в такие годы охотнику. Поразмыслив надо всем, под напором новых друзей Кешка согласился.

Скоро Кешка привык к новой работе. Он должен был развозить зеркальные отражатели по геодезическим знакам. Сложная техника заворожила Кешку. Он подолгу рассматривал приборы, гладил их осторожными пальцами. По утрам, готовясь к поездке, тщательно протирал зеркала, расправлял ремни на чехлах. Отражатель в чехле он укутывал в овчинную шубу и укладывал на нарте как малого ребенка. Начальник партии ценил эту Кешкину аккуратность и часто ставил в пример остальным его бережное отношение к приборам.

— Сергей, опять рацию не закрепил, — кричал он на перегоне радисту, — ты посмотри на Кешкины зеркала!

Отражатели, накрепко прихваченные ремнями, покоились на трех спальных мешках. Кешка, довольный похвалой, улыбался.

Во время дальних перегонов вместе с нами в палатке переезжали Кешкины собаки. В палатке всегда было жарко, и они тяжело дышали, высунув языки. Собак у Кешки семь. Сначала я не различал их, но вскоре, с помощью Кешки, стал чувствовать характер каждого пса. Про вожака Миньку он говорил:

— Умный пес, да нет у него... как эта... чтобы был... важный начальник, однако...

— Авторитета нет, — вставлял Сергей.

— Ну да... самый дурак Цыган кость отберет... а Цыган совсем дурак, однако. Молодой еще, жить не умеет, — один за всю упряжку тянет... Рыжий над ним смеется... Совсем обленился Рыжий, однако, — надо в другую пару ставить...

Третий год работал в отряде Кешка, когда случилась эта неприятная для нас всех история. Как обычно, уложил он с утра отражатель на нарту, пристроил винтовку (положено по технике безопасности), и собаки потрусил к ближайшему знаку. Был легкий, морозный майский день. Нарта хорошо шла по запорошенной ночной поземкой наледи. Днем заметно оттаивало, а за ночь раскисший снег прихватывало крепкой коркой. Кешке не надо было погонять собак. Отвыкшие, как и хозяин, от охоты, они исправно несли свою новую службу. Стоило им заметить впереди на холме легкий треугольник пирамиды, как они сами прибавляли шаг, предчувствуя скорый отдых. Не было Кешке заботы. Он развалился на санях и смотрел в голубое небо. До знака было еще далеко, и Минька изредка поглядывал на Кешку — не сбился ли с пути? Увидев, что хозяин лежит спокойно, он продолжал тянуть упряжку в том же направлении. Но вот и знакомый треугольник, и вожак потянул уверенней. На таких перегонах не надо было беспокоиться за упряжку, и, чтобы не скучать, Кешка перебирал в памяти особо яркие случаи из своей прежней охотничьей жизни. Вот и теперь припомнил он свою последнюю осеннюю охоту. А вспомнил потому, что она была необычайно трудной. В тот год олени ушли далеко в глубь острова, а постоянные ветры с моря мешали охоте. Олени на расстоянии дальше винтовочного выстрела успевали учуять охотника, подхо-

дившего с наветренной стороны. Приходилось делать большие круги по тундре, чтобы зайти им в тыл и прижать стадо к морю. Трудна была охота, но тем радостнее удача. Вспоминает Кешка, как он, весь мокрый и усталый, настиг наконец небольшое стадо в распадке и сумел подойти к нему совсем близко. Эх, и пострелял тогда Кешка. Три раза ездил в распадок, — перевозил домой теплые туши. Было чем угостить и неудачливых охотников. А как хорошо было на ходу сбросить тушку этому хвастуну Никите Прохорову, проезжая с полной нартой около его тордоха.

— Держи, Никита, а то не довезу! Видишь, собаки устали. . . Эх, р-р-р-а-а!

Последние слова он выкрикнул во весь голос, и Минька удивленно повернул морду: «Почему налево? Вот же он, знак, вот, впереди». Кешка очнулся, разглядел впереди знак, и на языке, понятном только одному Миньке, крикнул: «Прямо». Чтобы окончательно сбить с себя сонную одурь, Кешка соскочил с саней и, держась за длинный конец веревки, тянувшейся за нартой, побежал за упряжкой. До знака оставалось сколо двух километров. Деревянная пирамида стояла на пригорке, а слева от нее тянулся глубокий распадок, который одним концом упирался в пологие холмы, тянувшиеся к горизонту, другим — выходил к морю. По распадку у подножья гор рассыпались темные пятна. «Камни», — подумал Кешка, но, приглядевшись, заметил, что «камни» передвигаются по дну распадка.

— Олени!

Давно не встречал Кешка оленей. Да и к чему они? Сам закупал мясо у охотников — начальник давал деньги. Вот и сейчас подумал Кешка, что весенний олень тощий совсем, не то что осенний — жир на два пальца. Совсем не охотничьи мысли приходили на ум Кешке:

«Печенка хороша, однако. Только бы не учуяли собаки — будет тогда дело!»

Собаки по-прежнему спокойно трусили к знаку.

«Печенка хороша, однако», — снова подумал Кешка, и ему стало немного обидно, что собаки так спокойно тянут к знаку. Ветер был попутный, и, видимо, поэтому собаки не беспокоились. А может, просто отвыкли. . . Кешка представил, как надо сейчас зайти слева, вон там на краю распадка, не доезжая до пирамиды метров пятьсот. С того бугра они

будут видны как на ладони, и можно скрыться вон в той ложбине. . .

Собаки по-прежнему бежали к знаку.

«Что бы ветерок повернул немного к морю», — подумал Кешка, и сам испугался своей мысли. Тогда бы собаки почували оленей — и что бы тут было! Первым бы рванул Цыган, увлекая за собой упряжку. Рыжий бы стал мотаться из стороны в сторону, как пьяный. . . Ух, страшно даже подумать!

Собаки неудержимо приближались к знаку.

Вот уже и край распадка, а вот и та ложбинка. . . Кровь ударила в голову. Сжались руки. Что-то непреодолимое подхлестнуло Кешку, вырвало из его груди отчаянный вопль:

— Р-р-р-а-а-а! — закричал Кешка.

Минька повернул удивленную морду.

— Р-р-р-а-а-а!!! — заорал на него диким голосом Кешка. Минька потянул влево. Собаки побежали за ним, разворачивая нарту. Теперь упряжка неслась прямо к оленьему стаду. Теплый знакомый дух ударил собакам в ноздри.

Первым рванул Цыган. Рыжий стал мотаться из стороны в сторону, как пьяный. Кешка с трудом остановил собак на краю распадка. Глубоко ушедшее в наст торило оставило на снегу рваный след. Придерживая одной рукой тормозной кол, Кешка подобрал конец толстой веревки, привязанной позади к нарте, и прикрутил его к корням оказавшейся рядом коряги. Дрожь, поначалу охватившая Кешку, прошла. Движения стали спокойными. Тело казалось легким, голова необычно ясной. Кешка отвязал карабин, шикнул на собак, чтобы сидели смирно. Собаки волновались. С злобным ворчанием, без лая (этого хоть не забыли) они натягивали постромки, рвались к оленьему стаду.

— Сидеть! — приказал Кешка. — Черт с вами, собачьи морды, — махнул рукой Кешка. Убеждать собак было некогда. Кешка пробрался на облюбованный им бугор и спрятался в ложбинке. Стадо паслось внизу. Олени были спокойны. Они копытили снег, добираясь до прошлогоднего мха. Снег был глубок, и они вязли в нем по брюхо. Только огромный бур, как видно старейшина этого отряда, запрокинув голову, хватал ноздрями холодный воздух. Убедившись, что повода для беспокойства нет, и он стал сильными копытами разгребать снег. Прикинув расстояние, Кешка сооб-

разил, что стрелять отсюда бесполезно, и стал высматривать на склоне подходящее место. Олени полностью доверили свою безопасность старому буру. Несколько важенок, сбившись в плотную кучу, беспечно обсуждали свои оленьи дела.

«Хороша цель, — подумал Кешка, — но сначала надо уложить старика».

Бур снова запрокинул голову. Постояв так недолго, он вдруг резко повернулся, замер на месте и издал громкий протяжный звук. Это была тревога, звериный сигнал надвигающейся опасности. Олени еще плотнее сбились в кучу, от страха прижимаясь друг к другу стройными телами. И прежде чем Кешка успел вскочить, чтобы теперь, уже не скрываясь, подбежать поближе и разрядить винтовку в отличную цель, мимо него с визгом и лаем пронеслась упряжка собак. Перевернувшаяся нарта цеплялась за коряги и кочки. Белый столб снежной пыли взметнулся над ней. Бур протрубил еще раз и рванулся вперед по распадку, увлекая за собой стадо. Кешка бросил винтовку и кинулся за упряжкой. В один миг скатился он с обрыва и настиг собак внизу



оврага. Тяжело дыша, навалился он всей тяжестью своего тела на полозья и всадил в наст торило. Выждав, когда успокоились собаки, Кешка перевернул нарту... Из чехла отражателя посыпались на снег осколки зеркал...

Я оставил Кешку и медленно побрел к морю, и еще доносились до меня Кешкины причитанья:

— У-у-у... чертов ты пес, у-у-у... морда собачий... Зачем меня слушал? Знал, что нельзя, а делал... У-у, чертов пес...

Михаил Матренин

* * *

*Велосипедисты...
Ты слышишь,
шестеренки стрекочут и спицы,
и покрывки чуть слышно шуршат,
словно дождь, что бредет не спеша
по железным и шиферным крышам...
Как оттянутая тетива —
их надломленные тела!
Невесомую стайей они пролетают
вдоль дорог,
в красно-желтых футболках своих,
как по ветру осенние листья,
велосипедисты...*

*Горстью капель в пространство брошены,
они падают горизонтально,
они втягиваются, как поршни,
в незаполненные расстоянья,
и, качнувшись,
опять привстают на упрямых педалях,
исчезая в дожде,
в белых далях,
в сумраке мгlistом...*

* * *

*О том, что больше никогда
я не коснусь руки,
что будут письма, города,
короткие гудки,
как лес под крыльями бежит,
как дышит сном вокзал, —
еще не начиная жить,
я все об этом знал.*

*Пробит заклепками дюраль,
прозрачен самолет,
внизу ползет Нарымский край,
густая кровь болот.
Какая ж сила нас ведет,
соединяя нить,
и право горькое дает —
с тобою говорить?*

*В пустой гостинице, во сне,
твой голос задрожит,
твое присутствие во мне
загадочней, чем жизнь,
мне и во сне на полчаса
в беспмятство не впасть,
пока ночные небеса
не выплачутся всласть.*

Михаил

Гутман

ПИСЬМО ДРУГУ

*Я слышал, старина,
Что ты в Термезе.
Что радуешься лету
Круглый год.
Что там под солнцем —
Плавится железо,
А фруктов всяких там
Невпроорот. . .
А здесь, где я живу, —
Наоборот.
Здесь лето мчит
Со скоростью экспресса.
Ну, а зима, конечно,
Не спешит.
Здесь от морозов
Лопаются рельсы,
Полярная звезда
И та дрожит.
Морозом заколочено
Оконце,
И в двери нагло
Ломится пурга. . .
Прошу тебя —
Пришли кусочек солнца,*

*А я тебе пришлю
Кусочек льда.*

* * *

*Винты вгрызались
Упрямо в лед,
Толкая стальную
Тушу вперед.
Узкие пасти
Клыкастых промоин
Грозили борту
Десятком пробоин.
В яростной схватке
Лед и металл!
Каждая миля
Боем взята.
Грохот,
Скрежет,
Но лопасти режут
Упрямо лед —
Надо,
Надо,
Надо
Вперед!*

* * *

*Журавлиным клином
Караван судов
Уходил на север —
К кромке синих льдов.
На пути не близком
Много бурь и вьюг.
Кораблям
— на север,*

Журавлям

— на юг.

Три гудка

*(прощальный
голос кораблей)*

В небе растворились

С криком журавлей.

Владимир

Насущенко

Два рассказа

Мартовский

лед

Первая трещина была в пяти километрах от берега, и все рыбаки застревали на ней, чтобы не сверлить заматеревший припай. Туда прилетали зимние птицы из лесов и клевали оставленных червячков, крошки хлеба, а вороны ждали мелких ершей и бильдюгу, которых рыбаки не брали.

Тихон перескочил выпуклую дымящуюся прорву. И на этот раз за ним никто не шел. Он не любил преследования: есть жлобы на готовое, только напади на рыбу — высверлят лед, как решето, засветят, сами ничего не возьмут, и ты уходи.

Он двигался по морю и смотрел на потухающие звезды, которые в городе не воспринимаются, ничего не навевают, а скрыты в дыму и гари. На фарватере маячил караван судов: ледокол выводил его на чистую воду. Огни пароходов слабо мерцали. В небе тлела заря.

Тихон долго плутал, пока наткнулся на стоянку, где ловил в прошлый раз: в лунку вмерзла консервная банка.

и обертка от «Беломора». Он сбросил ящик, развернул коловорот. Сверло у него было острое, как бритва, резало легко. Вода с хрипом вырывалась из пробуровленного шурфа, растекалась под ногами. Он сделал несколько скважин, чтобы потом не отвлекаться, если понадобятся, и медной шумовой почистил ледяную крошку из окон. Вскололо мартовское солнце, низкая поземка стелилась вдали розовой мутью.

Глубина здесь была хорошая. Он прицепил свинцовый груз, чтобы леса быстрее достигала дна. Ему нравилось, что течение от прилива сильное: леса выгибалась парусом, легкие мормышки отдувались на поводках. От водяной тяги подо льдом поплавок прилип к борту лунки. Тихон сделал еще удочку, сел спиной к ветру, грел руки в собачьем меху и размышлял о рыбе, которая зиму живет во тьме, осклизлым лбом тычется в камни, ищет жратву, чтобы не помереть до летней светлой жизни.

Ноги стыли в ледяной каше. Один поплавок пошевелился. Тихон подождал, пока кивок не согнулся под тяжестью, и тогда подсек. Рыба уклонялась в сторону, леса терлась об лед. Он сбросил снег в лунку, затемнил. Рыба пошла спокойнее. Обрадовался красномордому. Окунь был глубоководный: изо рта выдавился плавательный пузырь, мелкие пиявки ползли по жесткой шкуре.

Снег сиял. Вдали чернели рыбаки на трещине и виднелся обрывистый берег с прозрачной радиомачтой. Тихон сидел в снежной пустоте, изредка выдергивал пыхтящих окуней, с раздутыми от декомпрессии пузами. С берега летели две вороны, переговариваясь на лету. Опустились близко, скрипя крыльями, подпрыгивали в холоде. Одна поскользнулась, упала с тороса, завертела башкой, застеснялась. Тихон отломил за пазухой кусок согретого хлеба с салом, бросил птицам. Поплавки не шевелились. Зерна снега переливались красными и зелеными цветами. И Тихон думал, зачем живут вороны, существуют. Вот люди ловят рыбу, едят. Еда дает силу им, чтобы работали, мозгой крепко шевелили. А вороны, выходит, живут так, неизвестно зачем...

Ветер звенел льдинками подтаявшего наста. Солнце подогрело спину. Вороны уже улетели. Он раскрыл ящик, достал заледеневшие вареные яйца, очистил, стал жевать, с трудом глотая сухую пищу. Утер подбородок, попил солоноватой морской воды, закурил, возился и кряхтел на

сиденье и чуть не зевнул поклевку: удочка вдруг ковырнулась в лунку.

По напряжению леси Тихон понял, что рыба уйдет. Кадушка с визгом работала на льду. Тормозить не было смысла, все равно что пытаться сдержать тонущую торпеду. «Она больно укололась, напугалась, — машинально отметил он и подумал: — Снасти у меня много. Тяни, раз ты такая...»

Он терпеливо ждал. Рыба пошла рывками. Он стал гасить ее скорость.

Иногда удавалось выбрать метра два, но жилка опять ускользала.

— Кислорода мало подо льдом... Дышать тебе нечем. Сдавайся, — проговорил Тихон и начал подъем. Он выбирал тонкую нить с осторожностью опытного минера, каким был в войну, когда приходилось распутывать хитроумные инженерные схемы. А теперь была рыба. Она пугалась света и каждый раз отходила. «Хвост у нее с весло», — подумал он. Чувствовал, как рыба табанила им, и видел башку, с закушенной мормышкой в углу пасти.

— Подожди, постой, — попросил Тихон, затемнил скважину, чтобы рыба глаза не портила, расстегнул фуфаячку, высвободил правую руку. Левою он держал леску и все время ощущал предельную тяжесть. Встал на четвереньки, в ледяное оконце пропихнул руку выше локтя. Свитер набухал, будто фитиль, всасывая морскую влагу. Рыба горбом терлась под пальцами, вильнула от щекотки. Он слышал, как лопнула леска, но понял, что рыба стоит, не понимает свободы. Терять было нечего, грубо сдавил ей жабры и выдернул, как репу.

Он уложил ее в ящик, снял свитер, нижнюю рубаху, отжал, оделся, не чувствуя холода. Вспомнил, что не опустил кормушку. Достал набитую кашей банку с дырами, смайнал в прорубь. Починил порванную снасть.

Спину леденил ветер. Кашу хорошо вымывало течением, подошла плотва, теребила поплавки. Одну он подсек. Лунка засияла, осветилась, серебристая ковая рыба вылетела на смутное солнце, шлепнулась в разноцветный снег.

«Не рыба, а перо жар-птицы», — подумал он и оглянулся.

Ледокол на фарватере давился льдами. На западе возникла туча. Море было пусто, бело. Человека колотила

дрожь от сырой одежды. Он сидел угрюмо на льду, коченея от холода. Потом не выдержал, устроил бег на месте, топая кривыми ногами.

Туча быстро поднималась. Пошел густой снег. Рыба не клевала. Он поднялся и стал делать крепость: срезал наст коловоротом и куски выкладывал полукругом. Заодно согрелся. Теперь ветер упирался в стену, снежные струи висли козырьком над бастионом.

Тихон наклонился к ящичку, подсчитал улов, перекидывая с руки на руку замерзшую рыбу. Она потускнела, потеряла краски. Он нехотя разогнулся, всхлипнул, шумовкой выкинул снежный кисель из лунок. Опять подошла плотва. Он четко подсекал ее, выплескивал на лед одну за одной. Рыбы подпрыгивали, катались по снегу. От холода загибали хвосты и замерзали изогнутые, как сабли.

Он ловил, пока не стемнело. Тогда начал собираться: выковырял двадцать семь рыбин из снега, свинтил острый коловорот, застегнул ящик, взвалил на спину. Было тяжело идти, нести груз. На торосах намело сугробы. Иногда наст проламывался, ящик с рыбой перевешивал, Тихон падал, поднимался, вытряхивал из собачьих рукавиц влагу и шел снова плечом вперед. Снег хлестал в лицо, таял и смывал пот. Он миновал трещину, тут начиналась рыбацкая дорога. Медленно полз в тяжелом снаряжении в ледовой мгле. Наконец ощутил плескун под ногами. Это был камень на мелководье. Летом, в ветер, он обнажается, плещется. На моторках об такие камни часто портят винты и проламывают днища. Сейчас вода убыла, лед осел, треснул на гриве. Тихон обошел вылившуюся из трещин воду. Впереди белел огромный берег.

Человек покинул море, вышел на узкую прибрежную полосу. Кричал поезд за лесом. Снег, не переставая, покрывал землю. Тихон направился к дорожной магистрали. На крыльце сторожки стояла женщина в оранжевой спецовке, и он спросил ее, не опоздал ли на транспорт, часов у него не было.

— Не торопись, — сказала стрелочница, поднимая сигнал. — Это снегоочиститель. Электричка задерживается, путя завалило...

И правда, это был тепловоз с прицепленным стругом. Снегоочиститель нес целое море огней. Плуг отваливал

с полотна тонны снега. На переезде машина приподняла железный подол, сбавила скорость. Механик с заботливым лицом смотрел из будки на красные масляные колеса. Стрелочница замахала белым сигналом, подудела в рожок.

Тихон почтительно разглядывал действие машины и подумал о своем цехе, где завтра в семь часов будет принимать смену у Филимонова, угоревшего от ночной плавки, где ошалелые от трясучей работы, бледные обрубщики будут циркулировать к сатуратору, глотать ледяную щипучую газировку.

Поезд проследовал. Тихон повернул исклестанное лицо к женщине и позавидовал:

— Веселая работа, а?

— Чего-о? — удивилась работница.

— Я говорю — хорошая работа у железнодорожников...

— Нашел... Чужой калач толще, однако, — заметила стрелочница и удалилась в сторожку.

Тихон вздохнул, пошел к станции по расчищенному пути. Редкие дома светились в метели. В вокзале сидело несколько рыбачков.

По разговору он понял, что они ничего не уловили, избегали море зря.

Гикнула запоздалая электричка, зазвенела обмороженной сталью, остановилась. Рыбаки ввалились в тамбур, топтали обледенелой обувью, зашли в длинный светлый вагон и уселись на желтые лавки играть в «секу». Тихон не любил игры, отделился на гнутую скамью, глядел в зеркальную двойную раму, где проносилась с редкими заснеженными кустами дорожная полоса отчуждения, освещенная электрическими окнами поезда, и думал про свою рыбу, как придет домой, будет есть огненные крепкие щи, выпьет стакан ледяной водки из холодильника и будет рассказывать соскучившейся жене, как ему повезло сегодня одному. В эту минуту он был спокоен, счастлив.

Потом Тихон устал от белой мчащейся пелены, лег калачиком, подложил под голову мокрую шапку. И начал засыпать, пуская по-детски слюни. В вагоне было тепло, он слышал еще, как плотвины оттаяли и стучали хвостами в ящике.

Янус —

Бог римский

Толпа поволокла его в сторону от вокзала. Было жарко, сверкали огромные витрины, отражая помутневшее от дыхания города солнце и качающийся поток людей. Рычали раскаленные машины. Тысячи ног шаркали по вместительному тротуару. У магазинов метались женщины. Мужчины сердито стучали по красным аппаратам с газировкой. Автоматы давились и шипели. Демин встал на цыпочки и провалил горячую монетку в щель. Вода пахла лекарством от кашля.

— Этот уродина несчастный болтался где-то в лесу, — сказала старшая пионервожатая. — А автобусы ушли. Придется отправить поездом.

Дверь была плотно закрыта. Демин сполз с крыльца, подошел к клумбе и сделал обструганной палкой пять дырок в рыхлой земле. Потом нарисовал нос.

— Ах, как они надоели! Завтра прибудет вторая очередь. Ад крошечный!

В домике защелкала пишущая машинка. Голоса были очень хорошо слышны. И стучал дятел в лощине. Солнце расслаивалось в гигантских соснах...

— Меня тошнит, глядя на него. Все время молчит, а на лице скрытые пороки. Говорят, отец у него был пьяница. Никто с ним не играет, мальчишки сторонятся. Я — воспитательница, должна быть беспристрастной. Но я не могу, понимаешь, Лиля...

Демин нарисовал глаза, в каждом было по одному цветочку, потом нарисовал уши, оттопыренные, как у него.

На площади людей было меньше, но стояло много автомобилей. У бензоколонки лениво переругивались шоферы. Заправщицы совали в баки кривые пистолеты. Прыгали стрелки. На каменной будке была прибита дощечка: «Водитель, не проливай бензин!» Привычка читать вывески у Демина сохранилась с первого класса.

Он свернул к каналу. По застывшей воде скользила лодка. Голый по пояс парень греб, неумело плеская веслами. По мостовой, распушив прохладные усы, ехала поливальная машина. Асфальт был желтый от солнца.

Старшая пионервожатая вышла на крыльцо и подозрительно посмотрела на Демина.

— Не ломай цветы, — строго сказала она и сделала ласковое лицо. — Демин, вот тебе пятьдесят копеек. Ты уже взрослый мальчик, садись на электричку и прямо домой. И нигде не болтайся. Дай мне честное пионерское, что прямо пойдешь домой. Ты слышишь, что я тебе говорю?

— Да, — сказал Демин. — У меня есть свои деньги...

— Тем лучше, — сказала пионервожатая. — Рюкзак надень на оба плеча.

Она проводила его до ворот. Демин оглянулся. На воротах висели выгоревшие флажки и вывеска: «Пионерлагерь».

На поляне, уронив лица в траву, грелись бледные поварихи. Старшая пионервожатая помахала красивой рукой.

Камень жег прохудившиеся сандалии. Демин остановился около игрушечного магазина и купил шар. Шар был теплый и нежный. Демин прижал его к лицу и посмотрел сквозь него на розовые дома. Шар он решил подарить сестре.

По воде плыли апельсиновые корки. Старик в капроновой шляпе бросал их с моста. Демин засунул палку под ремень, как саблю.

Раз, два, три... Двенадцать каменных плит оставалось до его дома. «Лягушка» хлюпала носом, будто у нее был насморк. От нее тянулся черный толстый рукав. Вонючая вода текла в открытый люк. Рядом с насосом стоял человек в широких ржавых штанах, с проволокой в руке.

— Ну, что, пацан? — равнодушно спросил человек и посмотрел выцветшими глазами на Демина. — Водопроводчиком хочешь стать?

— Нет, — сказал Демин.

— Инженером?

— Нет.

— Правильно. Инженеров сейчас — как собак нерезанных. Или на хирурга?

Человек почему-то рассердился и пнул ногой шланг. Демин перешагнул натекшую лужу, в которой плавал тополиный пух, вынул палку и застрекотал по ограде сквера. На площадке Смоляковы кидали мяч.

Ключей у Демина не было. Он поднялся по зеленой ищарапанной лестнице на второй этаж и позвонил. Он знал, что Елагины на даче, а сестра наверняка на работе. Но он позвонил. Ему просто хотелось, чтобы кто-нибудь был. Из соседней двери посмотрел на него стеклянный глазок. Дверь была обита новым дерматином и держалась на двух английских замках. Демин отвернулся, позвонил еще раз, а потом, скрипя шаром, спустился во двор. То ли шар был такой слабый, или Демин сильно надавил — шар взорвался и хлестнул по лицу.

— Ты что, паршивец, людей пугаешь? Хулиган! — взвизгнула тетка из соседней квартиры, тряся детскую коляску на рессорах. В коляске зашлось криком дитя.

— Он сам лопнул, — защитился Демин, огорченный тем, что погиб прекрасный шар.

Но тетка вдруг завелась. Она забыла про коляску и замахала руками, как мельница.

— Это называется — советские пионеры! А мою кошку кто вчера запихнул в водосточную трубу? Турист сопливый...

— Вчера меня здесь не было, — сказал Демин.

— Еще оправдывается, каракатица неумытая...

Тетка побелела от гнева, неожиданно подскочила и больно вцепилась в ухо. В ухе что-то треснуло. Демин попробовал вывернуться, но пальцы женщины, пахнущие пеленками, держали капканом. На глазах Демина навернулись слезы. Из окон выглядывали жильцы.

— Так его, — сказала дворничиха с метлой. — Распустились, спасу нет.

Тяжелый, пыхтящий человек в твидовом пиджаке вмешался:

— Слушайте, отпустите ребенка.

— Он напугал моего ребенка, — злорадно сказала женщина, но лицо ее немного прояснилось, и она выпустила ухо. Демин нагнулся и поднял выпавшую палку. Пыхтящий человек поставил на землю солидную пачку книг, связанных веревочкой, и положил пухлую руку на плечо Демина, другая рука висела у него, как плеть, вдоль тела.

— Пойдем, мальчик, ты мне поможешь донести книги, — дипломатично сказал человек без руки. Демин плечом потер ухо и недоверчиво посмотрел на мужчину.

Все в доме звали его музыкантом. Музыкант приехал в их дом весной. Было еще холодно, но он раскрыл двойные рамы, запечатанные старыми хозяевами, и повесил голубые занавески. По вечерам музыкант играл на рояле. Через раскрытое окно были слышны то веселые, то грустные мелодии. Иногда музыкант тосковал. Забрасывал рояль и вынимал из футляра блестящую белую трубу. Чистые серебряные звуки лились в небо. Дрожали звезды. Прохожие останавливались, прислушивались. Некоторые сворачивали в сквер и глядели на окна, на голубые занавески, на белую рубашку в полутьме и застывшее серебро трубы, поднятой кверху.

— Не огорчайся, — сказал музыкант, открывая дверь в квартиру. Они вошли в комнату. В комнате было сумрачно от задернутых занавесок, блеснул большой рояль без чехла, одна стена была завалена книгами, у другой — стояло кресло-кроватка и маленький стол с пластиковым оранжевым стулом.

— Садись, мальчик, — сказал музыкант, когда Демин опустил ношу. — Палку и рюкзак оставь в прихожей. Не огорчайся, взрослые бывают несправедливы. Сейчас будем пить чай.

— Я не буду, — сказал Демин, переминаясь кривыми ногами.

— Тогда что же мы будем делать?

— Мне нравится эта штука, — выдавил Демин, накручивая на палец резинку от шара.

— Это не штука, мальчик, а рояль.

— Это вы играете?

— Иногда, — скептически произнес музыкант. Щека у него дернулась, и в рукаве сердито заскрипело.

— И вам это нравится?

— Что — нравится?

— Ну, играть. . .

— Странный вопрос.

— Слушайте, сыграйте что-нибудь.

— Гм, это что, доставит тебе удовольствие?

— Вы другой раз играете хорошо.

— Откуда ты знаешь?

— Через окно все слышно.

— Понятно, — сморщился музыкант, снимая пиджак. — Как ты понимаешь — хорошо или плохо?

— Хорошо — это когда ничего не слышно.

— Что «ничего не слышно»? — заинтересовался музыкант и плюхнулся в кресло. Он старался сдержать улыбку, чтобы быть серьезным.

— Ну... плохо — это когда слышны машины и крики во дворе.

— Интересный анализ, — буркнул музыкант и вдруг разволновался. По лицу у него пошли красные пятна, и щека дернулась три раза. Музыкант встал, подошел к роялю, поднял тяжелую крышку и сел на крутящийся табурет. Клавиши были плотные и желтые от времени, а одна пластинка отклеилась.

— Это «Беккер», — сказал музыкант. — Он очень чуткий, но его немного расстроили, когда везли сюда.

Музыкант вздохнул, опустил руку нежно на клавиши и нажал ногой потертую педаль. Звук получился грустный и немного смятый. Музыкант закрыл глаза и прошелся на этот раз строго, а потом немного отпустил.

Голубые занавески колебались от сквозняка, и вся комната казалась голубой. А человек стал бледный. Даже в черном лаке рояля он был очень бледный. Он играл минуты две, потом приглушил звук и застыл, прикусив губу.

— Как тебе — понравилось? — наконец произнес он.

— Ага, — сказал Демин. — Начало хорошее, а конец — яичница с луком.

Музыкант встал и надул живот. Демину показалось, что его сейчас выгонят из этой голубой комнаты. Он понял, что допустил какой-то промах, чего нельзя было делать. Щека у музыканта сильно дернулась, глаз закрылся совсем, и лицо стало свирепым. Демин поднялся с пластмассового стула и сделал шаг к двери.

— Ну, я пойду, — сказал он сиплым шепотом, но неясное желание удерживало его на месте.

— Кто твои родители? — неожиданно спросил музыкант; лицо его разгладилось, он щелкнул подтяжкой по животу и добавил: — Это мое сочинение. Конец мне самому не нравится... В тебе что-то есть...

Музыкант прошелся по трескучему паркету.

— Меня всегда мучают начало или конец, — пожаловался он.

Теперь Демину понравилось, что с ним говорят, как со взрослым. И ухо не так сильно горело.

— Так кто же твоя мать?

— Никто, — грубо сказал Демин и пощупал в кармане прохладный пятак, на который можно было купить пирожок со сладкой капустой.

Музыкант подошел к книжной полке и достал оттуда целлофановую пачку сигарет с фильтром.

— Так, может, ты все же ответишь?

— Моя мать умерла.

— А отец?

— Он зашибал, и тоже умер.

— Нельзя так говорить о своем отце, — неуверенно произнес музыкант, вытаскивая зубами белую сигарету.

— Это сестра так говорит.

— Значит, у тебя есть сестра. Она тебя любит?

— Не знаю. Она говорит, что я ей испортил жизнь.

— Почему?

— Она хотела выйти замуж, а я помешал.

— Это она так говорит?

— Парень ходил год, а потом бросил. Она говорит, что из-за меня.

— Значит, плохой парень.

— Не знаю. Она его обожала.

— Значит, она несчастлива из-за тебя?

— Еще ей не нравится работа. Она всегда приходит злая с работы.

— Почему же она не сменит работу?

— Она говорит, что везде одинаково. Сменила три работы, и все ей не нравится.

— Что же ей не нравится?

— Она говорит: работа однообразная и глупая.

— Гм... Любая работа приносит пользу обществу.

— От этого ей не легче.

— Ты рассуждаешь как старик.

— Сестра говорит, что лучше один раз взлететь в космос, чем всю жизнь штамповать детали. Осенью она отдаст меня в интернат. — Демин вздохнул.

— Это она так говорит?

— Да.

Музыкант крикнул, и лицо у него вдруг стало мрачным, кончик носа опустился. Он стал похож на птицу в клетке.

Демин скосил глаза на черно-белые клавиши.

— Можно, я попробую? — хрипло спросил он и, загребая ногами, подошел к роялю, погладил полированные клавиши ладонью. Руки у него были в цыпках, с обгрызенными ногтями.

— Ноты знаешь? — спросил музыкант и сонно посмотрел в окно. Косолапая инженерша из двенадцатой квартиры несла сумочку, как дохлую кошку. По асфальту мчался мотоциклист, распухший от ветра.

— Нет, но я попробую. У нас в школе есть пианино, но оно все разломано. Вера Архиповна не подпускает к нему. Но иногда мне удается немного поиграть.

Музыкант недоверчиво улыбнулся. Он знал, чем это кончится.

На канале орали подростки и скрипела землечерпалка. Музыкант нагнулся к табурету, завинтил его до отказа. Но все равно он был высокий. Демин, ерзая сырмятными шортами, взгромоздился на него и неуверенно нажал на отбитую клавишу. Ему казалось, что она звучит лучше всех. Он старался поймать ускользающую мелодию, ту, что играл музыкант. Он сразу же сбился, но поправился и сделал что-то сносное. Один кусок получился чистый. Музыкант закусил губу и встал сзади.

— Повтори, — сказал он строго и больно сжал плечо Демина. — Так. И ты говоришь, что нигде не учился? А это...

Рука музыканта, как змея, поползла по клавишам. Он усложнил. Но Демин повторил. Оба покраснелись и мешали друг другу локтями.

— Теперь фа-минор.

Демин сделал и это, но намного хуже. И вдруг музыкант раскричался. Живот заходил ходуном под его репсовой рубашкой.

— Ты, парень, фокусник!.. Ух! Убери этот палец, он тебе мешает. Верхнее «до» бери, «до»! Ах, каналья...

Тело музыканта стало легким, движения неуловимыми. Он распыхтелся еще больше. В горле булькало, как в насосе, который откачивал воду из подвала их дома. Музыкант вытащил из кармана длинный, в метр, платок, скомкал его, вытер шею и лысину и бросил его на рояль. Под расстегнутой рубашкой виднелся желтый ремень протеза. Демин онемел, уже плохо понимал, что ему говорит этот чело-

век, и все больше путал. Но он всем телом чувствовал дрожание струн. И диссонанс царапал его слух.

Демин горестно снял руки.

— Я больше не могу. Она ужасно скрипит.

— Кто скрипит?

— Землечерпалка. Даже здесь слышно. Поэтому я путаю, — схитрил Демин.

— Ага, — сказал музыкант. — Играть, конечно, хватит.

Демин встал. Музыкант хлопнул крышкой, закурил и передвинул бронзовую статуэтку, стоящую на рояле.

— Это что? — спросил Демин.

— Янус, — сказал музыкант. — Бог римский.

— А почему у него два лица?

— Ну, как тебе это объяснить... Люди всегда имеют два лица... Что они есть на самом деле, и что из них сделала жизнь. Ты понял что-нибудь?

— Не очень, — сознался Демин.

— Как бы тебе полегче объяснить... — Музыкант покрутил пальцами. — Понимаешь, я не музыкант, я — инженер. — Он приподнял левую руку. — Вот эта штука помешала мне стать настоящим музыкантом. Понимаешь, ни то ни се. И инженер из меня плохой, потому что я люблю больше это... Я раздвоился. Это плохо, когда человек раздваивается. Имеет два лица. Верно я говорю? — тоскливо спросил инженер.

Демин кивнул. Музыкант снова стал бледным. Демин повернулся, чтобы идти. Он взял рюкзак в коридоре и обструганную палку.

— Подожди, — сказал инженер. Он подошел к двери и долго в раздумье стоял, окутываясь голубым сигаретным дымом.

— Ну вот что. Послезавтра ты ко мне придешь. Мы пойдем в одно место, — наконец произнес он. — Мне с тобой будет не справиться...

В рукаве у него сердито пискнуло. Музыкант вздохнул.

— Потом мне надо поговорить с твоей сестрой. Ты должен учиться музыке...

— Вы правду сказали? — спросил Демин тихо.

— Ну, иначе ты пропадешь. Вот. Иди. Будь здоров.

Музыкант строго кивнул. Демин повернулся, качаясь вышел на площадку. Дверь слабо щелкнула. Тогда он, перепрыгивая через две ступеньки, сбежал на свой этаж и снова



позвонил в квартиру. Но никто не вышел. Демин направился на канал. Он никак не мог успокоиться, его знобило, и он не понимал почему. Ему хотелось увидеть сестру и поговорить с ней. Он представил, что скажет его сестра:

«Это хорошо, когда у сестры есть брат. У человека всегда кто-нибудь должен быть, брат или сестра. Чтобы было к кому прийти. Так говорила мать. Без тебя мне было скучно. Мы сейчас пойдем в кино или лучше кататься на лодке. Ты будешь грести. Ты мало загорел. Тебе понравилось в лагере? А что у тебя на локте? Знаешь, я решила... Не отдам я тебя в этот интернат. Пойдем обедать, у меня есть деньги».

На скамейках горевали старухи. В канале скрежетала

землечерпалка. Зеваки толкались по набережной, заглядывали в нутро канала. На кнехте сидел матрос в застиранной рубашке апаш и глядел снизу на ноги проходивших девушек. Баржа качалась от падающей в нее мокрой глины и терлась кранцами о борт почерневшей землечерпалки. Редкие, вывороченные со дна камни с грохотом катились по желобу. Пузатый катер выплевывал из нутра мутную воду, дожидаясь, когда наполнится баржа.

Демин вернулся в сквер, устроился на скамейке и стал ждать, положив подбородок на палку, как старик. Белые лепестки жасмина с тихим стуком падали на землю, источая неуловимый запах. Мордастый Жарков подбирал лепестки и запихивал в рот, а разжевав, выталкивал их мокрым языком. Демин снял с палки затекший подбородок и стал делать песочных человечков. Пять человечков без левой руки. Им неудобно было взяться за руки, и он нарисовал их по отдельности.

Чисто выбритый мужчина в светлом костюме курил, через ограду пуская сиреневые кольца в сад.

Демин увидел сестру издалека. Высокая прическа отсвечивала медью на солнце. Мужчина в светлом костюме перешел на другую сторону и бросил сигарету в канал.

«Она сегодня красивая», — подумал Демин и помахал ей палкой. Она качнулась и прибавила шаг. По тому, как мужчина взял ее за протянутую ладошку, и по ее счастливому лицу Демин понял, что сестра совсем забыла, что он должен был сегодня приехать.

Он сторбился и, повернув в другую сторону, пошел сначала медленно, еще на что-то надеясь, потом побежал туда, где скрежетала землечерпалка.

Юрий Оболенцев

ЗАТВОР № 20 403

Я сегодня впервые у Невской Дубровки.

Здесь граница

бессмертья и смерти...

*На ладони затвор от армейской винтовки —
двадцать тысяч чегыresta третий.*

Где хозяин —

парнишка,

такой же как я?

...Только этот затвор

да воронка.

Да звезда от пилотки.

А где-то семья...

До сих пор не пришла похоронка.

Здесь из каждой траншеи война...

Миг —

и рушится тишина.

Боль —

и рот перекошен криком...

И желание —

как-нибудь

приподняться над этим мигом,

до березы,

до кочки той

*доползти,
подминая глину, —
чтобы больше земли за спиной,
чтобы меньше шагов до Берлина.*

*Тонкой струйкой стекает песок,
засыпает пробитую каску.
Видно, пулею
или осколком...
в висок...*

Перечеркнута жизнь солдатская.

*Необъятна Россия...
Кому рассказать?
Сотни верст отшагал бы я...
тыщи...*

*Ветер по полю,
словно солдатская мать,
ворошит,
ворошит пепелище.*

ТАЙГА НЕ СРАЗУ ОТКРЫВАЕТСЯ

*С утра скрипят натруженно уключины,
В сплошных лесах —
протоки,
словно просеки...
Таежных рек лукавые излучины
измучили коварными вопросами.*

*Исходит стоном стая комариная,
прикрыла солнце тучей свирепеющей,
прилипла...
Неотвязной камарильею
который день преследует на бреющем.*

*Вцепился в борт,
корявой держит лапищей
лешак,
хитро прикинувшийся деревом...*

*Таинственны языческие капища,
морочат нас,
заманивают дебрями.*

*А мы гребем...
Зверье в прибрежных зарослях
притихло,
плеском весел растревожено.
Что мы несем тайге,
на что позаримся?
Крадутся рядом тени осторожные.*

*Природа
неулыбчивой красавицей
отгородилась запертой дверью...
Тайга —
она не сразу открывается,
она сперва
должна тебе поверить!*

Владимир

Кавторин

Мокрое утро

РАССКАЗ

Олежка проснулся от острой тоски и боли в груди. Было часа четыре. В косые прорезы ставень сочился серый, холодный полусвет. Но и без него Олежка точно знал, что творится на дворе, — он чувствовал это каждой клеточкой своего щуплого двенадцатилетнего тела.

А на дворе творилось нерадостное, болезненное утро затяжной весны. Надо всем миром царили тяжелые, глухие клубы желто-серого ночного тумана, поднимавшегося от недотаявших сугробов. Клубы эти неподвижно висели в зябких ветвях голых деревьев, медленно текли над рекой, с головой укрывая вишни в сбегавших к реке садах. И в этом тумане все: и бревенчатые стены домов, и заборы, и столбы вдоль улиц, — все это было черно от выступившей холодной испарины. . .

И еще на дворе — сейчас только, совсем недавно — не стало Барса. Это не предчувствие, не предположение — Олежка знает это точно, потому что только после смерти

друга мир может быть таким беззвучным, как этот туман за стеной.

Барс давно уже болеет. Все больше лежит в будке, осторожно уложив лобастую голову на вытянутые лапы, — такой тихий, нос горячий. . . И рыжие пятнышки над бровями моляще подрагивают время от времени. . . А чем ему поможешь? Вчера Олежка стянул у матери банку молока — и Барс вроде бы немного ожил, даже прошелся по двору мелкой трусцой, останавливаясь и обнюхивая каждую чуть проклюнувшуюся травинку. . .

А теперь он мертв. . . Лежит заочневший где-нибудь в грязи. И оттого в мире так тихо, и жутко, и ненадежно. Олежка не выдерживает, осторожно сползает с кровати, идет будить брата.

Брата его зовут Славка. Он на три года старше Олежки и учится уже не в поселке, а в городе, на первом курсе техникума. Домой он является поздно, сам греет себе ужин на примусе, имеет карманные деньги и уже целовался с девочкой. Спит он обычно крепко, лежа на спине и закинув одну руку за голову, и грудь его поднимается и опадает беззвучно и равномерно, как заведенная.

— Славка, — трясет его Олежка за плечо, — Славка!

Но тот только бормочет во сне и меняет позу.

— Славка! Проснись! Мне одному страшно. Барс сдох. . .

— А? Что? — Брат поднимает голову и секунду ошале-ло смотрит по сторонам, потом поворачивается на другой бок. — Отстань, вечно тебе мерещится. . . — Но через несколько секунд все же откидывает одеяло и садится.

— Откуда ты взял? — хрипло спрашивает он.

— А ты послушай! . . Его нет.

Славка прислушался, нахмурившись, но тут же на его губах мелькнула улыбка успокоительной догадки.

— Чокнутый ты, — решил он. — Барс просто спит. И ты спи!

Олежка отрицательно покачал головой, но Славка уже нырнул под одеяло и завозился, укладываясь. Ему очень хотелось спать, и целую минуту смутное беспокойство боролось с дремотой, пока не победило окончательно. В мире не было никаких звуков, кроме хрипящего тиканья ходиков в соседней комнате, и Славка вдруг вспомнил, что

вечером, когда он шел из техникума, Барс даже не выглянул из будки, чтобы приветливо поскулить...

Олежка повсхлипывал тихонько, потом замолк, вздохнул и стал одеваться...

— Ты пойдешь? — спросил Славка.

— Я боюсь...

— Подожди, — Славка откинул одеяло, и утренний холод вонзил тысячи иголок в его разогретое сном тело. — Форменный идиотизм, — пробормотал он, вздрагивая, — он просто спит, а ты паникуешь. — Но тоже натянул брюки и полпелся в кладовку, где висели их с Олежкой ватники.

— Ходи тихо! — строго прошипел он брату и отвесил легкий подзатыльник. — Побудишь всех...

Тот благодарно смолчал и даже ухитрился без звука открыть визгливую дверь.

Плотный туман и слабые сумерки рассвета делали все во дворе расплывчатым и громоздким. Кусты сирени поднимались у крыльца темно-серыми клубящимися шарами выше человеческого роста. По дорожке, посыпанной жужелицей и черной теперь от проступившей влаги, они прошли до калитки и посветили в будку спичкой — там было пусто, и от кукурузных листьев, на которых спал Барс, тянуло холодом. Значит, его здесь не было давно. Славка тихонько присвистнул.

— Не свисти, — попросил Олежка, — ему больно ходить.

— Так я ж не зову.

— А он подумает... И ему ходить больно.

Барса не было ни в сарае, ни в коровнике, ни в закутке возле курятника, а холод и сырость все настойчивее пробирались под ватники и покрывали тело зябкими пупырышками.

— Странно, — сказал Славка, — придет, наверное, куда он денется? И с чего ты все-таки взял, что он умер?

— Пойдем вдоль плетня, — предложил Олежка.

— Зачем?

— А он ходит иногда, траву ищет...

— Ты что — совсем? — Славка покрутил пальцем у виска. — Зачем собаке трава?

— А он лечится. Найдет какую-то травку и съест... Только нет сейчас травы.

Ботинки вязли в тяжелой, тщательно вскопанной по

осени земле. Стебли малины, росшей вдоль забора, были в тумане очень толсты и больно царапали руки. Доски штакетника пахли сыростью. Олежка шел первым, а Славка сзади. Он еще не проснулся окончательно, и, когда прикрывал глаза, ему казалось, что все это чепуха и нет никакого серого тумана и никакой смерти, а стоит только свистнуть, как мокрое, упругое и стремительное тело Барса бросится из кустов ему на плечи и пылающий розовый язык, как всегда, попытается дотянуться до щеки...

Да, как всегда. Как каждый день, когда Славка, идя из города, насвистывает потихоньку какую-нибудь песню, а Барс, слышав его издалека, бросается встречать. Бег у него легкий, бесшумный, и невольно пугаешься, когда он вдруг выскакивает из тьмы — одно ухо стоит, другое заломлено, бочковатая грудь и поджарый живот ходуном ходят от горячего дыхания... А потом он носится кругами, то исчезая во тьме, то снова возникая, и все пытается прыгнуть тебе грязными лапами на грудь, приглашая к игре.

— Зажги спичку, — сказал вдруг Олежка, и Славка почувствовал, что он дрожит.

— Испугался?

— Он тут...

— Где?

— Вон... Темное.

Славка присел, шаря по земле руками, и вдруг увидел.

Барс неподвижно лежал, наполовину протиснувшись в лазейку под забором. Шерсть на его спине встала дыбом и была мокра от росы, а пасть оскалилась мертвой, страшной улыбкой. Он, видно, не рассчитал своих сил, да и лазейку затащило весенней грязью, и тонкие доски штакетника врезались в спину.

Славка стоял и видел, как он дергался то взад, то вперед, пытаясь освободиться от этого нечаянного плена, но лапы оскальзывались в грязи, и с каждой попыткой доски врезались все больнее. И оттого, что смерть пришла во время борьбы, так напряженно, в изломе, застыло его тело. Только уши были как у живого — одно чутко наставлено в сторону парка, а другое заломлено и обвисло.

Вот так... Наверное, так...

Славке вспомнился горьковатый запах ивовых сережек, последнего снега, лежащего в ямах, веселая упругость тропы, совсем недавно бывшей непролазной грязью... Он

вспомнил, как бодро ему шагалось, как вольно мотались руки и поднималась грудь, и свист — он сам собою срывался с его губ от ощущения весны, холода и горячей крови, бродившей в жилах. Ах, этот легкий свист! . .

— Что? — спросил он, поднимаясь с земли. — Что ты сказал?

— У-умер? — Зубы у Олежки стучали от холода и страха.

— Да, холодный... Как его угораздило, черт!

— Он тебя встретить хотел, — завистливо вздохнул Олежка.

— Я не свистел ему, — строго сказал Славка, — не звал. Понял?



Они помолчали.

— А он чувствовал, что умирает, а? Как ты думаешь?

— Что?

Олежка не ответил.

— Давай закопаем его, пока мамка не проснулась, — предложил он, — а то еще скажет на мусорку оттащить...

Он вытянул Барса из-под забора, а Славка сбегал в сарай за лопатами.

— Взяли! — сказал Славка, наклоняясь к Барсу и хватая его за лапы, — ну!

— Подожди, — попросил Олежка, — это же его место. Он тут любил... Пусть уж здесь, а?..

Земля весной мягкая, но до чего же тяжелая и липкая! Лопата уходит вглубь от легкого толчка, но выворотить ком земли непросто. Он отрывается неохотно, с громким и чмокающим звуком, и лунка тут же подтекает водой. Они копали молча, чувствуя, как разогреваются их тела и тяжело дышание, — копали, пока не пошла плотная, светло-желтая глина.

Славка между делом прикидывал в уме, у кого бы это попросить щенка, чтобы был Барсу достойный преемник, но мысли его путались с воспоминаниями, и он снова и снова представлял, как шел через молодую кленовую посадку, как перед тем провожал на Суслицкое Галю, и как она смеялась, и как... И чем больше он вспоминал, тем ненормальнее, тем болезненнее казалось ему это чувство легкости, силы и удачи, от которого свист срывается с губ так же бездумно, как переставляются ноги. И уже казался ему этот свист чем-то вообще независимым от воли, как судорога или озноб...

— Не свисти хоть сейчас, — попросил Олежка.

— Что? — Славка, не понимая, поднял голову.

— Не свисти... Ты свистишь.

— Почему?

— Я не знаю.

— Почему ты думаешь, что я свистел? Я не свистел! — сказал Славка, возвышая голос. — Ты же не слышал, зачем говорить? Он сам полез. Я не звал, а если он хотел меня встретить, то я не виноват... — Он бросил лопату на кучу глины и шагнул вперед. — И не смей мне говорить, что я свистел!

— Но сейчас-то ты свистнул, — робко сказал Олежка, — я же слышал.

— Ах, слышал! — Славка сжал кулаки.

— Сейчас только. . . Слышал, да.

Олежкаина круглая физиономия дернулась от неожиданного удара, а Славка, резко повернувшись, пошел к крыльцу, ломая стебли малины. . .

— Чего дерешься? — вскрикнул Олежка.

Он посмотрел Славке вслед, пожал плечами, стащил Барса в могилу и принялся забрасывать его мокрой глиной. Ему часто перепало от брата ни за что ни про что, он привык уже не обращать на это внимания, если не было слишком больно. . . Да и не думал он в то утро о собственных обидах.

Его больше занимало, что чувствует теперь Барс, и не больно ли ему от ударов глиняных комьев, и понимает ли он хоть сейчас, как любил его Олежка. . . Не так, как Славка. . . Славку всегда все любят, а он никого, или так только — понемножечку. Конечно, Барс мертвый, а мертвые ничего не могут чувствовать. Нет, лучше — даже не лучше, а интереснее — помереть самому и лежать в гробу, и все бы плакали, и отец бы сказал: «Я все говорил ему, что он маленький и не брал его на рыбалку, а ведь он был взрослый — даже вот умер. . . И с кем же я теперь буду рыбачить?»

А потом тебя понесут на руках и опустят в могилу и будут кидать глину на гроб. . . Нет! Этого, конечно, не надо, а было бы хорошо как-нибудь умереть так, чтобы в последний момент все-таки оказаться живым.

А Барс, Барс, наверное, умер окончательно. У него только голова еще не засыпана — страшно Олежке кинуть землю на открытые Барсовы глаза. Но Барс не шевелится — значит, не чувствует ни холода, ни боли, ничего. . . Как же это можно — ничего не чувствовать?

Олежка пытается представить себе такое, и ему вдруг становится страшно, и что-то сжимает, сжимает грудь. . .

Он бросил лопату, отвернулся и, схватившись за мокрые дощечки штaketника, заплакал беззвучно и отчаянно. . .

. . .Туман незаметно редел и расслаивался, а низкое, серое небо светлело и поднималось над землей. Потом в кустах произошло какое-то едва приметное движение, клубы тумана вытянулись в слоистые полосы, и эти полосы вздрогнули и пошли вверх, становясь на глазах тоньше и прозрачнее.

«Если бы я был благородным, правдивым человеком, — думал Славка, сидя на крыльце и чувствуя к себе что-то вро-

де отвращения, — то сейчас бы пошел к нему и извинился. Прости, дескать, брат!»

Но, даже думая так, Славка знал уже, что не пойдет и не скажет.

Он был несправедлив к брату. Это стыдно. Но извинениями тут ничего не исправишь. Вообще как-то странно это все устроено. . .

Сам Славка знает, что Олешка добрее и преданнее его и, наверное, больше достоин любви. Но все — отец, знакомые, уличные мальчишки, собаки даже — относятся к Олешке немного пренебрежительно и только жалеют, а его, Славку, любят. И это странно. Отец не берет Олешку на рыбалку, мальчишки не хотят с ним играть в футбол, мать не пускает на речку. Конечно, он слабый, и легко простуживается, и не умеет дать сдачи, но что же из того? Ведь все равно ему хочется радоваться и чувствовать себя сильным и побеждать. . .

Вот даже Барс! Ведь как Барс был несправедлив к Олешке, таскавшему у матери для него рыбу. . . Рыбу Барс по едал, презрительно приподымая верхнюю губу, точно делал ей милость, а на Олешку мог даже зарычать. Своим покровителем и другом он избрал одного Славку, а почему? И зачем вообще существуют сильные и слабые, старшие и младшие, — кому это надо? Это же несправедливо!

Он снова вспомнил, как шагал вчера по упругой, как каучук, тропе, петляющей между горьковатыми запахами ивовых серег. . . Разве же это справедливо, разве же можно мириться с тем, что одному так легко и свободно, когда умирает другой? И что счастье одного ставит последнюю точку в горе другого?

И мысли эти казались Славке очень важными, очень нужными. . . Наверное, думать их было нужней, чем извиняться перед Олешкой или хоронить Барса. Но он очень мало спал и очень замерз, и у него ломило виски, и было вообще тяжело наедине с такими мыслями — они были слишком непривычны и тягостны, чтобы додумать их до конца.

Он встал, молча подошел к Барсовой могиле и поднял свою лопату. Олешка подвинулся, освобождая место поудобнее.

— Пошевеливайся, — сказал Славка, — а то мать к колове скоро выйдет — не заметила бы. . .

Когда они, разровняв землю, относили в сарай лопаты, Славка со стыдом поймал себя на том, что уже улыбается.

Туман почти исчез, и над вишнями, сквозь облака, проклюнулось пятнышко синевы, и по этому пятнышку угадывалось встающее где-то над миром солнце. . .

Они разогрелись, работая, и Славка чувствовал под ватником приятное тепло и силу мускулов, согретых легкой усталостью и готовых к любому движению, к работе, к жизни! И трудно было горю долго держаться рядом с этой глубокой телесной радостью. . .

— Не трусь! — он хлопнул Олежку по плечу. — Я такого тебе щенка завтра принесу — класс! У Лехи Рыбака возьму. Не веришь?

— Ага, — сказал Олежка машинально и, повернувшись к чуть приметному клочку перерытой земли, добавил: — Холодно ему, наверное. И мокро.

И Славка, все еще державший его за плечо, почувствовал, как по худенькому телу младшего брата волною прошла дрожь, словно это самому Олежке было холодно и мокро.

Герман Цветков

ЛОСЬ

*Качаются звезды от ветра.
Березы промерзли насквозь.
За темными ветками кедра
Проходит
 весь
 в инее
 лось.*

*Рога бронзовеют жестоко.
И луны сияют в глазах.
И справа полоска Востока
Светлеет на синих снегах.*

*Он чувствует — темень взорвется.
По елям,
 по соснам
 в зенит
Прокатится красное солнце
И стынувший лес озарит.*

*И вот из-за ближней осины,
Как будто желанью в ответ,*

Рванулось.

*И утренник синий
Окрасило в огненный цвет.*

Все стало вокруг необычно:

Деревья,

снега,

небосвод,

Следы невесомые птичьи,

На озере вздыбленный лед...

Олег

Юрков

** * **

*Слежу за уходящим мартом,
за речкой, не текущей вдаль,
за птицей, что висит над парком,
как неподвижная деталь.*

*Глядят в чугунные проломы
пригнутые к земле кусты.
Еще не гасят рыболовы
у прорубей свои костры.*

*Леса и реки ждут брожения.
От глубины до вышины
зимы последние сраженья,
они уже предрешены!*

*Как хорошо впотьмах проснуться,
с трудом дойти до чердака,
ладонью к небу прикоснуться,
чтоб дождь пошел наверхняка!*

ДОМОЙ

*Скорей домой, скорей домой!
Туда, где рожь, дожди и клевер,
где падает свинцовый Север
на берег белой головой!*

*Где день — не день, и ночь — не ночь.
Где дороги цветы и вина,
где ландышам не превозмочь
благоухание жасмина.*

*Там так заметен бег недель,
листва пугливо-говорлива.
Там каменная цитадель
колышется на дне залива.*

*Прикосновенье милых рук.
Над морем облако сырое.
О, Север, каменный мой друг,
мое рождение второе!*

Виктор

Черепелжа

Проездом

РАССКАЗ

Дема Громов шел в родную деревню не торопясь — лишь бы успеть до заката. Родных в Бельковке у Демы не осталось, но он был уверен, что каждый пустит пожить у себя.

Осеннее солнце перевалило за полдень и светило холодно, словно отраженное в воде. В лесу не высыхала роса, круглые капли сияли на опавших листьях. Подойдя к ручью, Дема посмотрел на солнце, скинул на землю парусиновый рюкзак, с которым не расставался в экспедициях, и решил прийти в деревню чисто побритым. Он вынул зеркальце, мыло, бритву, подаренную начальником отряда за хорошую работу, и принялся бриться, расположившись на поваленной березе. . . У берега в воде рубиновой каплей отражалась ягодка костяники. К воде подкралась мышь, понюхала и шмыгнула в траву. . . От лесной тишины, от ощущения чего-то давно знакомого, вдруг напомнившего о себе, Дема почувствовал себя свободным и молодым.

«Тридцать лет — уже не молодость, — молча рассуждал

он, споласкивая в ручье бритву, — а у меня и щетина еще не горазд жесткая. — Ладонью провел по густым вьющимся волосам. — У другого небось уже и плешь появилась бы... а ведь несладкая жизнь досталась...»

До армии Дема жил с родным дедом Екимом, работал в колхозе. Потом дед умер, Дему взяли служить, и оттуда он написал в колхоз, что от дома отказывается.

Началась новая жизнь... Уральская стройка: в бараке народу битком — дверь не успевала закрываться, а морозы злющие — умывались с вечера, потому что к утру замерзала вода в умывальнике... Не выдержав, Дема уехал в Мурманск ловить треску. Работа тяжелая, и все время мокрый. Удерживало одно — много платили. Дема решил накопить денег и накопил бы, если бы не пристрастился к спиртному. Однажды сейнер ушел без него, и Дема, оставшись на берегу, загулял. Пропил все сбережения, а когда опомнился, решил: надо уходить.

В экспедиции было легче. Дема был незаменимым работником: таскал рюкзаки с породой, спальные мешки, умел всегда выбрать место для палаток и готовил на всех еду. Два года Дема прожил с геологами. А нынче затосковал, разругался с начальником отряда и взял расчет...

Кончив бриться, Дема ополоснул лицо, сложил в рюкзак бритвенные принадлежности и зашагал дальше. «Правильно, что не взял путевку на юг, — размышлял он на ходу, принюхиваясь к запаху опавших листьев, — связался бы с какой-нибудь... просадил бы все деньги». Потрогал на синих джинсах карманчик для часов — он был твердым, там лежал аккредитив, сложенный маленьким плотным прямоугольничком. «В деревне можно и без денег прожить... Похожу на охоту, попью молока».

Бельковка осталась такой же, какой ее Дема представлял себе: у озера — дома с соломенными крышами, колодцы с журавлями. Только за скотным двором пристроили навес для сеялок и тракторного прицепа, да провели во все избы свет. Дема шагал мимо окон, желая увидеть знакомых. В стороне от дороги наливал из колодца воду лошадям сухонький старик, подпоясанный поверх телогрейки пугом. Дема сразу же узнал в нем конюха деда Ваню и свернул к колодцу.

— Демка! Пропащая душа! — обрадовался дед Ваня.

Дема пожал руку, похлопал по крутому лошадиному боку. Оглядевшись вокруг, спросил:

— Как поживаем?

— Как вишь: петь не поем и выть не воем, — помаленьку. Куда это ты размахался?

— Где не прогонят, там и остановлюсь, — пошутил Дема.

— Коль так, то ко мне давай. У меня просторно. . . Старауха моя третьего лета, царство ей небесное. . .

Дема сбросил рюкзак и, взяв из рук деда Вани ведро, стал играючи, одной рукой черпать из колодца воду.

— Лошадей теперь мало держим, теперь техника пошла, — говорил дед Ваня. — А ты, видать, совсем городской стал, и куртка на тебе модная. Небось начальником каким работаешь? . .

— Да есть немного того.

Лошади, напившись, отходили от желоба и щипали пожелтевшую траву. Дед Ваня пустил лошадей на выгон и, закрыв проход, направился с Демой в избу.

Дема прохаживался по избе, поглядывая на деревню в окна.

— Твой дом под склад пустили, — сказал дед Ваня, приглашая Дему к столу, и зажег свет.

После первой рюмки Дема почувствовал уют от бревенчатых растрескавшихся стен. Вспомнилась родная изба в февральскую вьюгу. . . В темноте за окном гремел у колодца заледенелый журавль, а Дема, уткнувшись в спину деда Екимы, лежал на печке и слушал, как кто-то дышал в печную трубу. . .

— Хорошо иметь свой дом, — задумчиво сказал Дема.

— А ты где теперь, Дема, живешь? Не слышать было.

— В Ленинграде, где ж еще, — соврал Дема. — Теперь все там. Правда, не могу сказать, где работаю, — завод номерной. . .

— Ишь ты! — притворно удивился дед Ваня. — Женился или нет?

— Ну да, женился! Я вольная птица.

Дед Ваня, слегка опьянев, заговорил поучающе:

— А я бы тебе, Демка, посоветовал жениться. Поступил бы в совхоз, а то какой с тебя толк земле. . . Девоч у нас —

только выбирай! Вон Надька Чубарова — одна, девка работающая. А?

«Значит, еще не вышла замуж», — подумал Дема, пытаясь представить по памяти Надю. Она выросла в деревне без отца, без матери. В войну какая-то женщина с девочкой попросилась ночевать к бабке Степаниде и ночью ушла, оставив Надьку. Бабка Степанида нашла в кармане Надькиного передника фотографию ее отца и записку с фамилией.

— Чего раздумывать? — настаивал дед Ваня. — Надька девка скромная. . . Правда, говорят, у нее был какой-то ефрейтор, когда солдаты приезжали картошку копать. Да мало ли чего говорят. . .

От этих слов сердце у Демы съезжилось. И он стал в мыслях успокаивать себя: «Да она не больно-то и красивая, а теперь для меня уже и старовата. . .» После ужина, растревоженный, Дема оделся и пошел на улицу.

Мимо Надиного дома он прошел совсем медленно. Света в окнах не было. С тревогой в душе Дема прислушался: тихо! И пошел за деревню к клубу. Темнели льняные скирды на опустевших полях, вдали светились огни давно знакомых деревень: в Васильевку Дема ходил в школу, в Кислино — на танцы, а в Заянье возил на мельницу рожь. . . Ему представились деревенские избы, в которых сейчас тепло; семьи собрались за столом и обсуждают, кому что на зиму купить или связать. И Дема вдруг почувствовал себя одиноким, оторванным от всего. Чтобы заглушить это чувство, он торпливым шагом через поле направился в клуб.

Молодежь толпилась у раскрытых дверей. Дема никого не мог узнать: мальчишки уже повзрослели. . . Хрипло заиграл магнитофон. Молодежь ринулась на середину зала. Дема увидел вдруг в углу у сцены Надю Чубарову. Она почти не изменилась: такая же полная, на щеке чернело пятнышко — Надя и раньше наводила его черным карандашом, — даже не появилось ни одной морщинки на лице. Надю никто не приглашал танцевать, и она смотрела в одну точку, как будто ее ничего не интересовало. Дема незаметно подошел к ней и тронул за холодный локоть. В глазах Нади промелькнул испуг, но, узнав Дему, она коснулась щекой его плеча и, отпрянув, обрадованная, спросила:

— Как это ты надумал к нам?

— Да проездом, — ответил Дема, выводя Надю на середину зала, и, спохватившись, добавил: — Поживу, присмотрюсь — может, останусь. . .

Дема танцевал медленно, стараясь крепче прижать Надю к себе. А она молча, напряженной рукой давала понять, что сопротивляется, и, заглядывая Деме в лицо, краснела. Он не знал, о чем говорить, глядел по сторонам и замечал: они с Надей в зале самые старшие.

— Пойдем лучше домой, — предложила Надя, — поговорим по дороге.

Она переобулась в резиновые полусапожки, завернула туфли в газету и взяла Дему под руку. Они шли в Бельковку полевой дорогой, освещенной яркой луной. Сверкала роса на листьях позднего клевера. «Скоро заморозки», — подумал Дема.

— Где ты так долго пропадал? — спросила Надя.

— Смотрел, как люди живут, деньги делал, — с медленной важностью ответил Дема. — Я же в Баренцевом море ловил треску. . . Проболтаешься в море неделю, а потом как очумелый выскакиваешь на берег — и пошла плясать! А куда деньги девать? — сама посуди. . . Потом с геологами работал; хорошие ребята, да больно умные. У меня зато силенки побольше, без меня ни на шаг. . . А ты как поживаешь?

Надя заглянула сбоку Деме в лицо.

— Ничего. . . Дом хочу продать, да не решусь. . . Прешлый год отца нашла. По радио часто говорили фамилии, кто кого разыскивает. Я услышала свою фамилию и подумала: дай напишу. И нашла. Ездила к отцу, у него уже дети большие. Мне как-то неловко было: приехала я туда, а говорить не о чем. . . Когда прощались, он сказал, что могу приезжать в любое время, звал насовсем. Теперь не знаю, как быть. Иногда такая тоска: так бы взяла все и бросила. . .

— Дом не надо бросать, — сказал Дема. — Вон в городах люди тысячи дают, чтобы купить дачу.

От косогора до деревни шли молча, и Дема все время думал: позовет к себе или нет. Около Надиного дома остановились. В тишине слышалось легкое пощелкивание облетающих листьев.

— Дем... — тихо сказала Надя. — Ты меня тогда любил или просто так?

«Начинается», — раздраженно подумал Дема и, помедлив, ответил:

— Как «просто так»? Разве у меня нет души?

Надя прижалась к его руке, тихо сказала:

— Как-то жаль, что все так вышло...

— Да-а, чувства — вещь тонкая. — Дема вздохнул.

Надя постояла, наклонив голову, и направилась в дом. Дема хотел идти следом, взял Надю за плечи, но она умоляюще остановила:

— Не надо...

На другой день Дема уже помогал деду Ване на конюшне: сгребал и складывал в кучу навоз. Шумно было от воробьиного гомона. Воробьи скакали на пружинистых лапках вокруг лошадиных копыт, торопливо клевали. Дед Ваня, сидя у распахнутых ворот, проверял сбрую и поглядывал на Дему.

— Это хорошо, что крестьянского дела не забыл... Сколько время прошло! — говорил он, растягивая руками истертые ремни. — А помнишь, как я, бывало, ребятишек созывал имена жеребьятам давать? Ты еще совсем махонький был, ниже черенища от вил, сопливый... Кобыла жеребится, сосунок чуть обсохнет, а я вас уже на конюшне собираю: кто красивее имя придумает. У тебя всегда красивее всех получалось...

Дема слушал деда Ваню, а сам думал о Наде. Хотелось пойти на скотный двор, поговорить с ней. В раскрытые ворота доносились голоса девчат. Только на людях, может, не стоит, разнесут, как ветром...

И все же, вычистив конюшню, Дема решил. Из ворот скотного пахло парным теплом. Какая-то девчонка в зеленой курточке и в зеленом платье, худенькая и шустрая, как щучка, увидев Дему, закричала:

— Девки! Кто пришел! — И скрылась за кормушкой.

Девчата доили коров, выглядывали на Дему. А он шел вразвалочку, похлопывая коров по костистым задкам, искал глазами Надю. Она раздавала коровам сено.

— Привет крестьянству! — поздоровался Дема, приглаживая волосы.

Надя приветливо улыбнулась, села на низенькую скамеечку и стала смазывать вазелином коровье вымя.

— Я гляжу, вы тут не плохо живете, — не зная, о чем говорить, начал Дема.

Надя мельком глянула на него:

— Нравится, так оставайся. . . доить научу.

Дема пристроился на кормушке и смотрел на Надю сбоку, так ее лицо казалось красивее. Она принялась доить, но работала медленно, и Дема чувствовал, что она смущается. Ему нравилось это. Надя время от времени сдувала рыжеватый локон, спадавший на глаза.

— Сегодня пойдешь в клуб? — тихо спросил Дема.

— А ты? . .

— Что там хорошего. Девчат красивых нет, музыка — барахло.

Надя перестала доить и, подумав, сказала:

— Заходи ко мне через час, я буду дома.

— Ты ж мне запретила входить. . . Я лучше попозже забегу. А? — Дема пристально посмотрел Наде в глаза.

— Приходи, — отозвалась она.

Дема застегнул молнию на куртке и бодрой походкой пошел на улицу.

Он едва дождался вечера. Переколот дрова, принес соломой утеплять яблони, переложил из рюкзака в карман куртки плоскую бутылку рома. И когда дед Ваня стал готовить ужин, Дема пошел к Наде.

— В Васильевку схожу — может, ребят знакомых встречу, — уходя, сказал он.

— Ну, ну. . . — одобрил дед Ваня. — Да приходи пораньше, вместе-то веселее.

Слегка подморозило. На деревне запахло дымом. В Надиной избе светились окна. Дема тихонько постучался. Сразу же отодвинулась занавеска, потом хлопнула в сенях дверь. Дема быстро поднялся на крыльцо и в пыльное дверное стекло увидел круг света от карманного фонарика и слабо освещенное лицо Нади.

— Кто там? — взволнованным голосом спросила она.

— Это так-то гостей встречают! — громко отозвался Дема и сделал по ступенькам два громких шага, будто уходит.

Звякнул запор, и Надя окликнула :

— Дем! Ты обиделся?

— Ладно, ладно, — сказал Дема и прошел через темные сени в комнату.

Здесь было чисто. Пахло горячими кирпичами и сухой рожью. Но все эти запахи перебивал аромат духов. Дема помнил, что такие духи после войны приезжие меняли на хлеб и картошку. На стене тихо играл репродуктор, подвешенный в фанерном ящичке из-под посылки.

— Я все думала: придешь или не придешь. . . — взволнованно сказала Надя. — Я тебя сейчас накормлю.

Дема посмотрел на ее белую прозрачную блузку, плиссированную юбку и нарочно спросил:

— Ты собралась куда-нибудь?

— Нет, что ты! — смутилась Надя.

Дема поставил на стол бутылку рому, неторопливо снял и повесил на гвоздь спортивную куртку. Надя собрала ужин, достала из буфета тонкие рюмки со старинными вензелями — память о покойной бабке Степаниде — и, подсев к Деме, смотрела, как он разливал ром.

— Я ведь и за границей побывал, — сказал Дема. — Вообще там жизнь ничего. . . Ну ладно, Надя, давай за встречу. . . А в Америке, мне один матрос рассказывал, есть пробные браки. . . — Дема выпил, не закусывая. — Молодые сходятся на год, а если надоест, корма в корму — и уходи к другой. . . У них на этот счет здорово дело поставлено.

Через несколько минут Дема сидел, тесно придвинувшись к Наде. Она разглядывала его скуластое рябоватое лицо и квадратные ладони.

— Что ты мне не писал из армии? — спросила она.

Дема не ожидал такого вопроса и, чтобы оттянуть ответ, вздохнул:

— Я не о себе думал, о тебе. . . Пойми сама, зачем бы я стал тебя обнадеживать. Думал: будь что будет — дождется так дождется, а письма тоже не гарантия.

Надя ласково потрепала чуб Демы:

— Глупенький ты, глупенький. . .

Дема перехватил ее горячую руку, притянул к себе. Сквозь жаркий туман ощутил упругие плечи с врезавшимися тесемками.

. . . На дворе была ночь. Дема, чувствуя плечом щеку

Нади, прислушивался к тишине в доме: так тихо бывает перед первым снегом.

— Дем! — шепотом спросила Надя. — Ты часто отца вспоминаешь?

— Чего вдруг взбрело?.. Я его почти не помню. Только помню, как он висел у нас за деревней, руки так крестом расставлены, а больше ничего не помню. И еще какого-то фрица, он все плеткой размахивал и на народ что-то лаял..

Надя еще крепче прижалась к плечу Демы.

— Я теперь только и думаю об отце.. И о тебе думать буду.

Дема промолчал. Пожалуй, пора уходить. Он стал в темноте одеваться.

— Куда же ты? Останься.. — сказала Надя. — Утром уйдешь. Я утром пойду на дойку и тебя разбуджу.

— Я лучше в другой раз зайду.

Тускло белел в канавах тонкий лед. На другом берегу озера тлел костер. Дема постоял, поглядел на ясное звездное небо и пошел спать.

Дома он хотел неслышно пройти к своей кровати, но на печке заворочался дед Ваня:

— Чего поздно?

— В клуб зашел.

— Я и то чую: духами пахнет.. Нет, Демка, жениться тебе надо.

— Я еще молодой, — хрипло ответил Дема. Во рту было сухо, болела голова.

— Куда как молодой, — нараспев отозвался дед Ваня.

Дема лег не раздеваясь — и как провалился в бездну.

Рано утром дед Ваня разбудил его:

— Сдымайся! Съездим на озеро, бросим несколько тоней, ружье прихватим.

Увидев за окном на ясени кисти семян, отяжеленные свежим снегом, Дема почувствовал бодрость, по-солдатски вскочил с постели. Вспомнил о Наде: возле бабы любая сила согнется. С радостью оделся потеплее и пошел за дедом Ваней на озеро.

По черной воде, в матовых берегах плыли они в са-модельной долбленной лодке. Отчетливо темнела от дома

к озеру тропа: в каждом отпечатке следа желтели опавшие листья.

— Вот она, моя стихия! — смеясь, сказал Дема. Ноздри жадно дышали утренним воздухом, как у охотничьего пса, впервые выпущенного в лес. От радости хотелось палить из ружья в воздух.

Дед Ваня плавно греб лопатой, словно боясь плеском воды распугать тишину. Заметив на поле холмик, занесенный снегом, он направил лодку в берег.

— Надо удобрения набрать, пока не смерзлось... все равно ведь пропадет. А я сейчас по снежку побросаю — смотришь, весной трава подкормится.

Дед Ваня взял старенький ссохшийся мешок и вышел из лодки, а Дема медленно поплыл вдоль берега. Дед Ваня каблуком сапога отбивал куски удобрения и пригоршнями складывал их в мешок. А потом ходил по поляне между кустов и размахивал рукой. Дема глядел на тусклые просветы неба, отраженные в воде, вспоминал озера, какие встречал в экспедициях. Тогда ему было страшно от одиночества. Всегда казалось, что вертолет с геологами может его не найти... А сейчас Дема был спокоен, он с улыбкой смотрел на деда Ваню, ходившего по кустам.

С шумом, тяжело поднялась из-под берега утка. Дема вздрогнул, потянул на себя за ствол ружье — курок зацепился за сетку. С грохотом покачнулось озеро и растаяло.

Очнулся Дема в больнице. Сначала мутно различил окна, потом спинки кроватей, тускло поблескивавшие в вечернем полумраке. Хотел повернуться на бок — боль обожгла грудь и шею. На стон вошла дежурная сестра, пожилая тетка в белом ситцевом платке, склонилась к Деме:

— Что, дорогой? В себя пришел... Только лежи, не колыхайся. — Она подоткнула с краев одеяло. — Я тебе принесу чего-нибудь кисленького.

Сестра вышла из палаты и через минуту возвратилась с кружкой клюквенного морса, принялась поить Дему с ложки. От каждого глотка больно отдавалось в боку. Отпив несколько ложек, Дема вспотел и беспомощно закрыл глаза. Он чувствовал, как сестра приложила к его лбу прохладную ладонь, закрыла одеялом плечи и ушла. Но глаза уже не хотелось открывать, не хотелось думать. Дема снова забылся.

На другое утро проснулся он от яркого света. Утреннее солнце светило сквозь голые кусты. Деме показалось, что солнце светит откуда-то издалека, где нет ничего, только холод и глухота. А за окном, наверно, дул ветер: черный скрученный листок колотился на ветке. Дема почувствовал себя маленьким, беспомощным и покинутым. А в углу на сдвинутых койках тихо разговаривали двое больных:

— Васька! Как это у тебя все мальчишки рождаются? У меня уже третья дочь. Надо бы хоть одного сына. . .

«Может, приходил ко мне кто?» — подумал Дема и слабым голосом позвал:

— Сестра!

— Иду, иду! — отозвался за дверью женский голос.

Вошла сестра. Уже не та, что была вчера, а моложе. Улыбнулась Деме:

— Вам уже лучше. . . Хирург не ошибся, сказал: такой медведь выживет — сердце как будильник. — Она всунула под мышку градусник, присела на табуретку. — Счастье-то для жены какое! Живы остались. . . Она сутки проплакала, пока силой не увезли домой. Так здесь и ночевала в дежурке.

— Чья жена? — спросил Дема.

— Ваша. . . чья!

— А-а. . . — догадался Дема и промолчал.

Потом сестра взяла градусник, накормила Дему с ложки бульоном. Он закрыл глаза и незаметно уснул. За окном выл ветер.

Так шел день за днем. . . Однажды Дема проснулся, когда на низком потолке палаты тускло горели лампочки. Дежурила пожилая сестра, она носила к печкам дрова. Дема чувствовал себя лучше: несколько раз согнул и разогнул занемевшие ноги. Стал припоминать подробности случившегося: заснеженный берег, черную воду озера, утку, неожиданно взлетевшую из-под берега, ружье, зацепившееся за сетку. . . и вдруг Дема испуганно позвал:

— Сестра! Сестра!

Торопливо вошла сестра.

— Одежда-то моя где?

— Домой, что ли, собрался? — пошутила сестра. — На месте одежда.

— А синие джинсы? . . Брюки строченые.

— Все в узле связано:

Дема облегченно вздохнул. Аккредитив надо было спрятать надежнее. Может, буквы размыло. Потом поди получи деньги — намаешься. . .

Успокоившись, Дема легонько ощупал на груди повязку. На кой черт было приезжать сюда! Поехал бы на юг, деньги есть. Так нет — куда угораздило. . .

Потом его охватил стыд. Надо было опять звать сестру: самому не достать судно. «Неужели всю жизнь так?» — с отчаянием подумал Дема и заскрипел зубами.

Надоедливо медленно прошла еще неделя. На койке у стены лежал уже другой больной, поменьше ростом — как определил Дема. Это был молчаливый сухой мужик с ввалившимися глазами. Он часто отгибал одеяло и щупал свой желтый плоский живот, нажимал на поясницу и морщился. А на обходе врача больной морщился сильнее и даже охал. И каждый день умолял врача:

— Чего ж без дела-то лежать? Вылечите, доктор. . . любое лекарство одолею.

Когда врач уходил, больной лежал неподвижно, уставившись в потолок, и изредка косился на Дему. Однажды их взгляды встретились, и больной сквозь зубы спросил:

— Тоже никто не приходит?

— Придут. . . — отозвался Дема.

Больной вздохнул:

— Надоело лежать.

— Я бы и сейчас убежал, — оживился Дема, — да весь бинтами перемотан.

Больной отвернулся к стене и замолчал. Потом неожиданно повернулся к Деме:

— Знаешь, лежу, а сам думаю: лучше б не жить.

— Ты брось это, отец, — стал утешать Дема, пытаясь шевелить рукой.

— Какой я тебе отец?! — вскипел больной. И даже приподнялся на локте. — Нашел отца! . . Мне еще за полста недавно перевалило.

Вошла врач.

— Что шумите? Как самочувствие, Громов?

— Как медведь в капкане, — улыбнулся Дема.

— Смотрите-ка, совсем ожил. Вы и вправду медведь. На этой неделе сменим повязку, попробуем двигаться. А пока

лежите спокойно. Это Иван Филимонович тут все шумит? Возьмем еще раз анализы, посмотрим. Все будет хорошо.

Врач улыбнулась и ушла из палаты. Дема успел заметить облезший на ее ногтях лак.

— Видать, городская, а здесь даже негде ногти красить, — сказал Дема. — Сама небось картошку не умеет чистить. . .

Иван Филимонович подавил свой живот.

— Ты думаешь, я зачем сюда попал? — заговорил он. — Я тоже был вроде тебя, здоровенный. . . — Он устался в потолок. — Я всю войну в партизанах пробыл. Бывало, когда делали налеты на гарнизоны, так я наганом редко пользовался. Нож в руки — и пошел. Меня часто в разведку посылали. Однажды несколько часов в канаве под мостом пролежал. Лежу в воде и считаю, сколько сапогов прошло, сколько мотоциклов прокатило. В глаза труха сыплется, и вода ледяная: октябрь уже был. . . Война кончилась, все вроде бы ничего. Мне уже под сорок было. Вернулся я в свою деревню: ни кола ни двора. Женился на молоденькой, лет восемнадцати, — с мужиками-то после войны туго было. Зажили душа в душу, дом построили. А детей все нет. . . Потом часто хворать стал. Другой раз так согнет — неделю клюкой ходишь. Летом полушубок надевал. . . Пошла жизнь кувырком. С женой моей что-то сделалось, стала часто в район ездить — то на собрание, то на совещание. Как-то встречаю совхозного сторожа, а он мне — бряк: «Твоя-то с библиотекарем погуливает. . .» Я это мимо ушей пропустил, рукой махнул. А потом что-то в голову ударило: дай проверю! Однажды говорит: «В ночь буду за скотника дежурить». Я смекнул: никогда не дежурила, а тут — на тебе. Ночью-то я оделся, да на скотный. . . Говорят, не была. Пришел домой, с горя напился. . . А утром решил: выслежу, откуда возвращается. И выследил. . . Взял ружье и встал в кустах. Холодина! А сам в шубе на исподнем да в валенцах. Стою, думаю: как подойдет на выстрел — и конец. Через час слышу: снег хрустит. Бежит, торопится. Я уже ружье поднял, стою — не шелохнусь. И вот показалась! Прилуне-то косынка белая так и светится. А у меня руки задрожали, слезами глаза так и залило. Не смог я этому конец положить. Люблю, видно, ее, собаку. . . Лег в больницу, может, вылечусь — сила вернется. — Иван Филимонович вздохнул. — Ты бабе нужен, доколь здоровый.

Дема не ответил.

— Одному плохо на земле. Один в доме, что пес в конуре: холодина и скука. — Иван Филимонович натянул на голову одеяло. — А ты не женатый?

— Собираюсь... — отозвался Дема. — Нравится, да боюсь промахнуться. Меня ведь тоже на сивой кобыле не объедешь.

Иван Филимонович лежал неподвижно. Дема решил, что он спит, и умолк.

Как-то под воскресенье Дема проснулся рано: едва засинелись окна. Няня принесла к печке дрова. От няни пахло пирогами.

— А как же, милый, ноябрьские... — радостно отозвалась няня. — Я спозаранку уже и пирогов напекла, вечером в гости побегу.

Дема подсчитал в уме, что лежит он в больнице недели три. Потом стал вспоминать, как раньше было на праздник в Бельковке... Дед Еким резал поросенка, привязывал его вверх ногами на жердину, а Дема зажигал пучками солому и палил щетину. С нетерпением Дема ждал, когда дед разрежет поросенку коричневое шершавое брюхо и достанет пузырь. Из пузыря, натертого золой и надутого через соломину, получался сухой прозрачный шар, который можно без конца подбрасывать и ловить. А вечером Дема с дедом Екимом шли к кому-нибудь в гости... Когда Дема стал взрослее, он стал ходить с молодежью. Собирались отдельно в доме Нади Чубаровой, пели песни, крутили бутылку, парни с девчатами выходили в сени целоваться. Тогда впервые Дема и обратил внимание на Надю, но в сенях она ему не позволила себя поцеловать. Постояли, посмотрели в темноте друг на друга искоса и зашли в избу... И сегодня небось соберутся, погуляют и разбредутся парами. Дема с мучительной ревностью, непонятной ему, вдруг представил, как Надя стоит на заснеженной дороге в обнимку с ефрейтором, жметя к его подбородку пушистой прической, взволнованно дышит. А ефрейтор пытается ее укутать лапами шинели и, не снимая кожаных перчаток, обнимает за плечи.

Деме стало не по себе.

— Иван Филимонович! — позвал он.

Иван Филимонович еще спал. Няня сидела у приоткры-

той печки и что-то вязала. Огоньки отраженного света перебежали на концах спиц.

— Подохнешь никому не нужный, — тихо произнес Дема.

В коридоре раздался звонок. Няня, шлепая валенками, пошла открывать. За дверью слышался ее голос:

— Как же, хорош уже, совсем выдюжил. . . проходи, милая, в эту палату.

Дема увидел Надю, — в груди что-то подтянуло, как бывает на качелях. Она поставила корзину у порога и радостно подошла к постели Демы. Он покосился в сторону Ивана Филимоновича. В палате запахло духами.

— Прости меня: еле вырвалась. Девчат упростила моих коров подоить. — Надя присела на край постели, не сводя с Демы сверкающих глаз. — Я тебе пирогов напекла с вареньем. . . только выздоравливай!

Надя принесла от двери корзину и разложила пакеты и банки на стульях.

— Дем. . . тебе намного лучше?.. Вот видишь, это я о тебе думала — и тебе лучше. . . Ты не рад, что я приехала?.. Дед Ваня проклинает себя, что ружье взял на озеро, даже захворал. . . Вот тебе рыба от него, ешь на здоровье.

Надя развернула газету, положила на одеяло перед Демой. Он принялся медленно есть, внимательно выбирая кости. В экспедиции был случай, когда он всю ночь пролежал с рыбьей костью в горле.

А Надя говорила:

— На днях за свой счет возьму отпуск и приеду к тебе на несколько дней. Ни одну медсестру к тебе не подпущу. — Надя улыбнулась, нежно коснулась плеча Демы. — Ешь, я на тебя не буду смотреть.

«Удочку закидывает», — подумал Дема и продолжал есть молча.

Надя прошла к окну, раздвинула пошире занавески и снова присела на край постели.

— Ты от меня теперь никуда не денешься, — говорила она, поправляя одеяло. — Я тебя заставлю много есть, ты должен скорее поправляться. . .

Потом она сидела и уже не говорила, а просто смотрела на Дему, как покровительственно ласково женщины смотрят на детей.

А через час, на прощание, Надя погладила густые Демины волосы и сказала:

— Вот увидишь, я на той неделе прилечу к тебе! — и уехала.

В палате стало тихо и пусто. В процедурной слишком громко гремели инструменты.

Иван Филимонович заворочался, высунулся из-под одеяла:

— Эта?

— Она...

— Видать, ласковая.

— Все они мягко стелют.

— Про эту не скажешь. Смотри — не прогляди!

Дема не ответил. Лежал и думал. Голубым отсветом блеснул потолок.

Вскоре Деме наложили легкую повязку и разрешили ходить. Непривычным казалось ослабевшее тело, противно подергивались мышцы на ногах и в боку. Время от времени Дема осторожно пробовал приподнять кровать за спинку, но острая боль пронзала грудь. Тогда Дема приходил в отчаянье: неужели на всю жизнь? И он ходил и ходил от окна к двери, измеряя ступнями половицы, как когда-то в детстве измерял по тени время. Но беспокойство не оставляло Дему. Тогда он старался думать о Наде. Что хозяйственная — этого от нее не отнимешь. Другой — тряпки подавай, а у нее на уме только работа да работа... Дема пытался представить, как они стали бы жить вместе, как утром бы он уходил на работу, а в обед садился бы дома за стол и ждал, когда Надя подаст горячие щи. «Может, она и вправду любит меня?..»

А когда Деме разрешили выходить во двор, он уже ненавидел себя за эти мысли. «Распустил слюни, раскис», — упрекал себя. В больничной телогрейке и широких пижамных брюках он бродил по двору, осторожно нагибался и плавно бросал снежки здоровой рукой. Там, куда падал снежок, образовывалась голубая лунка. Свежий воздух и ходьба укрепили Дему, и он всем нутром почувствовал свободу и силу. Махнуть бы через забор и идти бы километров двадцать без оглядки... Хорошо бы в тайгу: нарубить охапку лапника, выпить спиртику с чаем, в картишки бы переки-

нуться... На худой конец можно бы и в море помотаться с месяц, а потом на берегу погулять... И Дема решил: «Все же уеду!» Но тут же вспомнилась Надя. Задумался... «А наплевать, уеду, да и все!»

Он отломил от куста тоненький прутик и стал чертить на снегу: «Срочно в море!» И тут же решил: «Пошлю телеграмму». Дема достал из пижамы мятый лист бумаги и, расстелив его на доске забора, принялся сочинять: «Псковская, Гдовский, Бельковка, Громову. Ждет команда. Мурманск. Срочно море. Капитан». Дема обрадовался: телеграмма придет к деду Ване, и он расскажет об этом Наде. То, что и надо! Тогда для нее не будет неожиданности.

Дема подозвал к ограде парня, неторопливо шедшего по дороге, и, подав ему клочок бумаги и рубль, упросил:

— Друг, выручи! Отбей телеграммку, сдачу себе бери.

Парень присвистнул и побежал к почте. Дема спохватился, что может подвести штамп отправления. Но парень уже скрылся в двери. И Дема решил: будь что будет.

Чем здоровее себя чувствовал Дема, тем тягостнее становилось безделье. На прогулке после тихого часа Дема зашел на кухню, попросил поколоть дров. Но кухарки с красными пухлыми руками добродушно обругали его и велели уходить, пока не увидели врачи. Дема присел на оттаявшее крыльцо и смотрел в серое небо, как вороны, играя, гонялись друг за другом.

Скрипнула калитка. Дема обернулся и увидел Надю с туго набитой сумкой. «Это мне на поправку, — сразу же определил Дема. — А по лицу видно, что узнала про телеграмму».

Надя подошла, поздоровалась и села рядом на крыльцо.

— Я тебе тут кое-что принесла... Бутылку меда, теплые носки, и дед Ваня белье передал... и фуфайку новую — сейчас сыро.

— Да хватит вам со мной нянчиться! — вспылил Дема и сердито глянул на Надю.

— На процедуру! — позвал в форточку Иван Филимонович.

И Дема, обрадовавшись, собрался уходить, не зная, что сказать.

— Тебе телеграмма из Мурманска, — сказала Надя

тихим голосом. Она дрожащей рукой подала распечатанную телеграмму.

Дема сделал вид, что прочитал. А сам, посмотрев на штемпель отправления, быстро разорвал на мелкие куски. Надя заглянула Деме в лицо:

— Уедешь?

Он отвернулся, изобразив на лице тоску:

— Что ж поделаешь... Я не могу без моря. Видно, природа у меня такая... и бок уже совсем затянуло.

— А как же я? — тихо спросила она, глядя в широкую спину Демы.

Он, ссутулившись, смотрел в даль поля, на кирпичные дома, и не обернулся.

— Ты только скажи, чтоб я тебя ждала. Ты же ненадолго, верно?

«Надо ставить точку», — решил Дема.

— Ты быстрее возвращайся... Только не думай, что я навязываюсь тебе. — Надя подошла к Деме вплотную, мягко положила руку на плечо. — Я и одна могу прожить, раньше-то жила...

— С ефрейтором, — отрубил Дема.

Надя побледнела. Судорога пробежала по губам, рука медленно сползла с Деминого плеча. Надя хотела что-то сказать, но только в горле сухо просвистело. Она медленно пошла к калитке.

В день выписки Дема был взволнован. Когда мылся в ванной, думал о Наде, вспоминал перекошенное судорогой лицо. Может, и не стоило так определено? А вдруг никогда нельзя будет работать? Врачи, они тоже — тяп-ляп... Дема, стоя в ванне, принимал боксерскую позу, трогал лиловую вмятину на боку. Потом нагибался, упираясь руками в стену, — боли не было.

Помывшись, Дема долго одевался перед зеркалом, то выпускал воротник рубахи на безрукавку, то прятал его. Подошел попрощаться Иван Филимонович:

— Ты как жених! Придешь в деревню — сразу женись, брось болтаться.

Дема пожал ему руку, закутался, потрогал карманчик для часов и, распрощавшись с медсестрами, пешком направился в Бельковку.

Пахло мокрой землей, черневшей из-под снега. Дема шел вразвалочку по грязной дороге и пел:

..Мы пойдем с тобой во зеленый луг,
Мы пойдем с тобой да нарвем цветов...

Поскользнувшись, он зарычал от боли. Боль отдалась в пальцах руки. «Как приду, нагрею воды и попарю немного... Не дай бог, на всю жизнь так останется».

Успокоившись, Дема опять зашагал плавным широким шагом. «Зря я с ефрейтором перегнул, может она и вправду любит меня? Надо было сказать: «Подождем, привыкнем друг к другу». А там было бы видно — до весны далеко...»

Дема перебирал в памяти все встречи, видел черное пятнышко на щеке Нади, вспомнились слова: «А теперь и о тебе думать буду...» И в душе проснулась тревога. Дема шагал, не замечая грязи.

Вскоре он увидел на бугре Бельковку, потемневшие от сырости избы. Синий туман висел над пустыми полями, над угрюмо черневшим кустарником. Слышно было, как ругались на скотном дворе девки.

Дема смотрел на залитую водой борозду, на зеленые травинки под холодной прозрачной водой. От тишины и от запаха земли, навевших далекие воспоминания, проснулось на мгновение желание снова жить в родной деревне, стоговать сено, возить солому и ходить на праздники в гости. «Может, остаться и жениться на Надьке?.. Если уеду — опять в чужие люди, опять все заново. И куда ехать?..» «А теперь и о тебе думать буду...» И все же Дема свернул с дороги на задворки, чтобы не видеть Надин дом.

Дед Ваня, похудевший, небритый, сидел на верстаке у окна и клепал ведро. Улыбнулся Деме одними глазами, влез на печку и сбросил ему валенки.

— Ты меня, Демка, прости, не мог я в больницу прийти — так скрутило.

— Что ты, дед Ваня! Это мелочи жизни, — успокоил Дема, раздеваясь. — Заштопали — высший сорт!

Дед Ваня вынул из печки чугунок с супом и стал собирать на стол.

— Теперь, пока не поправишься, живи у меня... Давай-ка супцу похлебаем.

Дема придвинулся к столу, заглянул в окошко:

за опустевшим садом виднелся Надин дом с заколоченными окнами.

— Надька к отцу недавно уехала, — сказал дед Ваня.

Дема задумался.

— Ничего не передавала?

— Нет.

Он прошел к кровати и достал рюкзак.

— Никак собираешься куда? — насторожился дед Ваня и, видя, что Дема принялся собирать свои вещи, стал уговаривать: — С ума спятил, что ли! Кто тебя гонит?

Дема опять заглянул в окошко, затащил в рюкзак шнурок и закрыл глаза.

— Куда поедешь теперь? — смирившись, спросил дед Ваня.

— Не знаю, — ответил Дема не сразу.

Сергей Вольский

* * *

*Заката розовый платок
Окутал землю светлой грустью.
Он неизбежен,
Как итог
Дня, прошумевшего над Русью.*

*Одел багрянцем камыши,
Раскинулся в полях окрестных
И на мелодию души
Он лег
Словами доброй песни.*

*И мне себя не превозмочь!
Стою, волнением объятый:
Тиха украинская ночь —
Напевны русские закаты.*

* * *

*Град Палех. Русские умельцы
Издревле в том краю живут.*

*Художники ли, земледельцы —
Неважно, как их назовут.*

*Другое важно как примета:
Что солнечны сердца у них,
И в каждом сердце столько света,
Что хватит на десятерых.*

*Такому не научишь с детства,
Хоть как угодно ворожи.
Здесь, очевидно, по наследству
Дается красота души.*

*. . . Зарницы в Палешку упали,
Блестят лишь купола во мгле.
Стоит на свете город Палех —
Живая сказка на земле.*

НЕЖНОСТЬ

*В лес вхожу. Он мне дорог издавна. . .
Ни избы в ночи, ни огней.
Слышу, лес мне клянется лиственно
В неизбывной любви своей.*

*Я пройду сквозь туманы мгlistые,
Растворясь в лесных чудесах.
О, Россия!
Плесь речистые
В озорных озерных глазах.*

*Бродят кони долинами лунными,
Зелена от стрекоз трава.
И звенят дождевыми струнами
Скрытой нежности острова!*

Леонид

Замятнин

* * *

*Только камень, да куст облепихи,
Да седея от пены река.
Наблюдаю, задумчивый, тихий,
Как на Север плывут облака,*

*Как седеет трава на рассвете,
Как в низину уходит туман.
Я попался в незримые сети
Этих выжженных солнцем полян.*

*Оставляю себя в перелесках,
В кабардинских курганных степях.
Оставляю себя в переплесках
Горных речек, в эльбрусских снегах.*

*Глажу пряди травы, обнимаю
Валуны на речном берегу.
Так я Родину
Вдруг понимаю,
Что и слов отыскать не могу.*

Владимир

Губин

У нас в механическом цехе

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

Я делаю гвозди

Климов — мастер цеха.

— Зачем пришел? Никто по тебе не плакал, — сказал он мне.

Я пришел в механический цех с аттестатом зрелости, объяснил, что окончил десятилетку, что хотел было стать профессором ботаники, но ничего путного из этого не получилось — провалился на приемных экзаменах в университет.

— Не успел родиться, а уже провалился? У-у-у! — загудел мастер Климов.

— Я работать хочу.

— Правильно. Кто не работает, тот даром нюхает воздух. Ну, а знаешь ли ты, неправдашный профессор по ботанике, какая у нас работа? — спросил меня Климов после раздумья. — У нас в механическом цехе работа куда

тяжелее, чем там, где руками трогают ребра дохлых бабочек...

— Я грамотный, десятилетку окончил, буду чертить...

— Ты будешь делать гвозди, — сказал мастер Климов и выдал мне проволоку, молоток и зубило, принес большие рабочие рукавицы.

Я надел эти рукавицы и поднял вверх руки, как крылья, и, наверное, стал похож на злого волшебника из балета «Лебединое озеро».

Но я не делал ничего злого.

Я делал гвозди.

Непослушный молоток ударялся бойком не в зубило, а мимо. Проволока царапала меня. И гвозди получались страшные — кривые, как после землетрясения.

— Трогать металл труднее, чем бабочек, — сказал я однажды во время обеда Климову.

— Ты настоящий парень. Не струсил. Хватит калечить проволоку. Гвозди у нас вручную не делают. Их на станках штампуют. Пойдем, научу!..

Итак, я делаю гвозди.

Некоторые мои знакомые при встрече со мной на улице спешат почему-то сразу узнать, сколько мне платят за то, что я делаю гвозди.

Другие просто спрашивают:

— Как дела у тебя на работе?

— Хорошо.

И они улыбаются. Понятно, почему они улыбаются. Я делаю им гвозди.

Оля Буданова

Ее лицо было трудно запомнить. Хотели даже сфотографировать для стенгазеты это очкастое лицо, чтобы потом хотя бы исподтишка запомнить, какое оно некрасивое, неспортивное и маленькое. Но Буданова вскочила со стула и далеко убежала от фотографа. В своих очках она могла бы получить на фотографии в стенгазете сатирически...

Однажды в ночную смену вместе с Будановой в цехе работал юноша Вася Барабанов. До перерыва они яростно и молча старались наточить побольше хороших болтов из

железных болванок. И наточили их целую гору почтенного вида.

Перерыв. Тут обычно трудящиеся механического цеха вытирают ветошью руки, курят. Вася не курил в перерыве. Вася улыбнулся ей в перерыве. А Буданова не могла улыбнуться, она вела себя глупо — она покраснела. За свои двадцать лет она впервые осталась ночью наедине с парнем — и покраснела. Затем она почему-то хотела спрятаться под верстаком или смертельно заболеть гриппом. Не спряталась? Не заболела? Нет. Нет. Буданова нечаянно наткнулась на электрощит на стене и нечаянно горячими от стыда пальцами так сильно рванула его рубильник, что некая важная штучка в этом рубильнике вспыхнула, хрустнула и сломалась. Свет погас в цехе.

— Ой! — вскрикнула Буданова. — Плохи наши дела...

— Наши дела — мрак! — толково пояснил Вася Барабанов.

— Вы что-нибудь понимаете в электричестве?

— А как же иначе! Я изобрел электричество, — пошутил Вася Барабанов. — Сейчас у нас отсырели пробки.

— Ах, пробки! — обрадовалась Буданова. — Полезу наверх, посмотрю их. Ждите меня здесь.

Вася ждал минуту.

Затем Вася ждал несколько минут.

Наконец Вася решил сбежать за дежурным электромонтером.

— Куда же вы? Возьмите меня отсюда, я боюсь.

— Прыгайте.

Вася поймал ее в воздухе.

Ориентируясь на зеленый квадрат окна, Вася понес ее на груди по всему механическому цеху, чтобы бережно посадить на подоконник. Их лица были близко одно от другого, носы — рядом, а губы, а губы...

Буданова шептала:

— Извините...

Во время прыжка ее очки упали на пол.

Пол в механическом цехе бетонный-бетонный.

...Теперь Вася Барабанов и Оля Буданова дружат, ходят вместе в кино. Вася смеется в кино. Оля смеется в кино. Комедия.

Выяснилось, что и без очков девушка правильно видит все, что показывают в кино.

Очки — забыты.
Вместо них у нее — глаза.
Об этих глазах я хорошо думаю.

Илья Спичкин

Илья Спичкин ростом меньше всех. Он самый маленький человек в механическом цехе и в общежитии — вечером он становится на табуретку, чтобы включить электрический свет в комнате.

Год назад Илья бросил техникум, пришел к нам на завод в механический цех. Мы удивились, когда увидели его. Он был одет в разноцветную форму уличных дурачков.

— Ты кто, футурист?

— Нет, я стилига. И с музыкой связан немножко.

— И с музыкой? — переспросил невпопад Вася Барабанов. — А что ты знаешь о композиторе Скрябине?

— О ком?

О композиторе Скрябине Илья не имел никакого понятия. Но зато он сколько угодно мог рассказать нам о сыне композитора Скрябина, о Ваське Скрябине, о котором знал все. Илья дружил с этим Васькой. Он также мог хорошо рассказать и о сыновьях других знаменитых композиторов, о других Васьках. Всех сыновей композиторов звали Васьками. А эти Васьки души не чаяли в нашем Илье.

— А что такое симфония? — ехидно спросил мастер Климов.

— Симфония — штука чудная... Человек сто оркестру — пожарного или, может быть, похоронного, всякого... Одеваются они вечером во фраки, это такие костюмы с хвостами, и шагают в Сад отдыха на Невском проспекте. И тут у них начинается симфония. Вот где потеха! Каждый пожарник во фраке играет свою любимую песню — кто какую умеет. Кто умеет играть «Степь широкою», тот ее и играет. Кто умеет «Уходили комсомольцы», тот играет «Уходили комсомольцы», это хорошая песня, она про любовь и разлуку, а кто ничего не умеет, тот просто так на трубе трубит «тра-тру-тре!», или на скрипке скрипит то же самое, или

встанет во весь свой огромный рост и прутиком машет. Сто пожарников одновременно играют сто песен. Во фраках они, этого не надо забывать.

— А ты не безрукий?

— Нет, вот они, мои руки-то.

— Ну, и руки! — воскликнул старик Чеканов. — Ладно, поживешь с нами, там разберемся, чем ты пахнешь.

— У меня свой запах, — гордо ответил Илья.

На другой день маленький Илья Спичкин первый раз пришел на работу. Первый раз в проходной завода он опустил свой рабочий номер — треугольный жетончик с цифрами. Илья вышел на середину цеха и засучил рукава. Все, кто в цехе делал свое дело, даже не заметили, что маленькому Илье стало страшно. Все думали, что ему не страшно среди торопливых и непонятных машин с непонятными, как иностранные имена, названиями. У этих машин по бокам было приделано много разных колес, о которых Илья ничего не знал, а когда о колесах ничего не знаешь, то кажется, что все колеса вертятся в одну сторону. . .

Илья опустил руки с засученными рукавами.

Мастер Климов перепутал его фамилию:

— Ну, что, брат Свечкин, долго мы еще в носу ковырять будем?

— Я не Свечкин. Я Спичкин.

— Не имеет значения. Главное — это как ты работать начнешь. Тут до тебя трудился один паренек по имени и фамилии Петя Гуляй-Голым. Честное слово, Петя Гуляй-Голым! Смешно? Где Пете гулять голым и зачем ему это, когда для Пети во Фрунзенском универмаге, отсюда недалеко, продается столько приличных и недорогих пиджаков. Ничего этого не было указано подробно в его фамилии. Там все почти было, а этого не было. С такой фамилией только в бане жить. . .

— Или в русском народном анекдоте несчастьем работать, — нашелся Илья.

— Беда! . . Но Петя у нас в механическом цехе лучше многих других точил металл. И что? И все называли его Ивановым. Так-то вот, Свечкин! . .

— Я не Свечкин.

— Не имеет значения. Бери скорее болванку! Не эту — смотри, что берешь. Эта ценная. На первый раз ты бери

плохую, из брака, понятно? Сюда закрепи ее так. Это ты сверлишь сейчас. . . А затем будешь полировать. Эх, и испачкаешься тогда! Я из тебя хорошего слесаря сделаю. На всю страну прозвучишь! . .

— Я не арфа.

— Не имеет значения. Сверли! . .

Сверло, мягко повизгивая, вбивалось в металл. Белая струйка эмульсии намочила пальцы. Все, кто в цехе делал свое дело, делали свое дело.

Так началась новая жизнь Ильи Спичкина — жизнь рабочего-металлиста. О ней я напишу серьезную книгу. Когда-нибудь.

Грустная песня

Киргизский народный хор приехал к нам в механический цех на гастроли. Хор привез к нам в автобусе свой оркестр без инструментов. На сцене этот оркестр сел на полу в ногах у хора и простыми палочками различной толщины делал по-киргизски так, чтобы была музыка. . .

Киргизский народный хор не ожидал от рабочих механического цеха такого горячего одобрения своей сценической деятельности, не думал хор, что уже после первого номера рабочие будут долго и громко хлопать в ладоши. Стены цеха дрожали от наших аплодисментов.

— Не хлопайте так! Вы мне завод сломаете! — ворчал инженер Дадакин, мрачно думая о капитальном ремонте.

Инженер не любил ничего громкого. Он явился на этот концерт, тайно надеясь на то, что увидит здесь балерину — почти голую женщину на цыпочках. . .

— В этом желании нет ничего плохого, — волновался Дадакин перед концертом хора. — В конце концов иногда абсолютно все люди бывают голыми, как очищенная картошка.

Киргизский народный хор повторил свою песню. Эта песня была много лучше, чем если бы вместо нее показали на цыпочках женщину. Песня взволновала нас больше — в отдельных своих местах она звучала подобно какой-то молитве, а порою напоминала нам взволнованный речитатив.

Когда занавес опустился, я спросил у сидевшего рядом со мной Сагиева — что пел хор.

— О, это грустная песня! — сказал Сагиев, который хорошо знал киргизский язык. — Это песня о том, как один глупый ишак ходил в горы и сломал свою бедную ногу. . .

И все-таки. Утром другого дня те, кто запомнил мотив этой песни, ничего не могли делать молча. Люди ходили у верстаков и напевали, люди внимательно следили за движущимися механизмами на станках и напевали, люди склонялись к чертежам и напевали — каждый напевал по-своему — киргизскую грустную песню о том, как ишак в горах сломал себе ногу.

Бог

У нас в механическом цехе работал токарем-универсалом старик Сергей Николаевич Чеканов.

Ребята прозвали его Богом. Утром в карманах брюк он приносил в цех свои огромные руки и предъявлял их друзьям в проходной вместо обычного приветствия «Здравствуйте!». В обеденный перерыв Бог садился в красном уголке с комсомольцами читать газету «Правда», клал свои руки возле себя на столе тяжелыми кулаками вперед. Большие пальцы на кулаках были интересно оттопырены в стороны. Казалось, что это не кулаки лежали, а два серых настольных слона, сделанные из камня, задрав свои хоботы, вышли на поединок. Белого пламени его бороды, где у старика вырос целый мешок серебряных жестких волос, вполне хватило бы для украшения еще пятерых мужчин в механическом цехе. Когда Богу исполнилось ровно семьдесят лет, то непоборимый временем старик еще больше оброс бородой и усами, стал морщинистым — сильно морщинистым, стал несимпатичным — страшно несимпатичным, словно бы рта у него при себе ни кусочка не было. Словно бы рот у него был нигде.

— Инженер Дадакин советует мне уходить на пенсию, — жаловался старик в механическом цехе. — Инженер говорит — старичку пора тихо пожить, без учеников, дескать, без биографов и без шкафа для инструментов. Не



понимает, что мне станет скучно. Купи себе, говорит, обезьянку, и пусть она будет дурачиться. . . На пенсию! А как же этот станок без меня тут останется?

Его токарный станок, — многие из вас видели этот станок в кинофильме о ветеранах труда, где режиссеры и операторы хорошо показали стране и самого старика, и его руки, и этот станок, — прочно сделанный из металла, как танк. Бог творил чудеса на этом станке. Он зорко следил, чтобы уборщицы или вообще посторонние экскурсанты не подходили близко к станку, не чихали. Бог считал — от чихания на станке поржавеют ценные части.

Этот станок решили передать другому токарю — Васе Барабанову. И Вася сразу же захотел попробовать поработать на этом станке. Но старик загорюдил дорогу:

— Куда лезешь? Ты прежде ступай вымой руки! . .

— С удовольствием.

Затем старика провожали на пенсию.

Старик Чеканов Сергей Николаевич сидел в красном уголке цеха на сцене и непрерывно курил. Зеленые облака густого табачного дыма лениво заползали старику в бороду, медленно плавали возле его лица, тяжело оседали на пол.

Инженер по технике безопасности Дадакин рассказывал на трибуне о том, как старик Чеканов работал на своем станке:

— А так и работал! Сперва он брал в крепкие руки шершавую крупную заготовку. . . Эта заготовка могла бы его оцарапать, и тогда получилась бы травма. Но заготовка боялась и слушалась нашего старика, которого мы недаром и не в кредит прозвали Богом. Прекрасное прозвище! Мне бы такое. Бог — не сапог. В общем, понятно, что из простой заготовки получалась не травма, чего я, конечно, больше всего боялся на свете, а вместо травмы, товарищи, там получалась деталь первого сорта на уровне лучших мировых стандартов с тонкими художественными линиями по бокам. С линиями, похожими на детские улыбки летом. . .

— А когда я помру, что будет? — неожиданно спросил старик и конечно испортил хороший доклад про улыбки.

— Цех похоронит тебя, героя, как героя! — быстро ответил Дадакин. — А пока не мешай.

— А что дальше будет?

— Все будет. И коммунизм будет! Ты знаешь.

— Тоже мне похоронщик нашелся! Не похоронишь! Я хочу жить аж до самого коммунизма, понятно? А помирать буду, тоже глаза не закрою — пусть все видят. . .

Свой свет

Настольная лампа — как детское солнце! После двенадцати ночи в несовершеннoлетних прозрачных лучах этой лампы Вася Барабанов сочиняет стихи о любви. Каждый раз после двенадцати ночи в комнату, где возле своих стихов сидит Вася Барабанов, поэт, через открытое настежь окно со двора влетает ночная бабочка.

Вася Барабанов — искатель. В словаре большого электрического города Вася Барабанов искал сплошные мужские слова о любви, он искал их трудно и долго, по несколько раз вслух повторял себе написанные фразы, вычеркивал кое-что в них, курил и не курил.

Красная бабочка — искатель. Инстинктивно влекомая из темноты на огонь, она, вероятно, искала себе по ночам приключений, — она старалась, может быть, разгадать тайну света, грозно и весело стучала крыльями по абажуру, нервно поржала над книгами и бумагами, хотела быть похожей на торопливого лохматого человека. У бабочки на голове торчали зеленые выпуклые глаза. Этими глазами, не моргая, бабочка смотрела на свою тень. Ее тень, отраженная лампой, на потолке была велика — ростом с курицу! Бабочка думала, что это она сама такая большая — ростом с курицу! В этом смысле бабочка решила испугать Васю Барабанова, поэта, она с размаху села на чистое Васино лицо. Была ночь. Вася Барабанов ударил бабочку метким щелчком изо всей силы. . .

Была ночь. . .

Эту историю рассказал наутро в механическом цехе сам Вася Барабанов, поэт. В конце его рассказа была такая задумчивая фраза:

— Я стал немножко мудрее, ребята. Я понял, что надо иметь свой свет, и тогда не ошибешься в собственных размерах. . .

Мы хотели спросить у Васи, что значит иметь свой свет, но Илья помешал.

— Правильно, — сказал Илья. — Пусть всякие бабочки с мусорного двора к тебе на лицо не лезут, а то потомки подумают, что наши поэты писали стихи о любви, когда вокруг них поржали бабочки. Нет, наши поэты писали стихи о любви, когда вокруг них опасно гремели громы. «Тра-та-та!» — гремели громы.

Осторожно! Осторожно?

В механический цех самыми первыми проникали на середину ранние солнечные лучи, они заплетались в одежду людей, сыпались на холодные ходовые части машин, —

этими лучами, как тончайшими кисточками художника, мастер Солнце реставрировало все постаревшее после еще одного вчера прожитого дня.

К новому агрегату я прилаживал деталь, которая нравилась мне, потому что в полете своих загадочных линий эта маленькая деталь, подобно маленькой женщине, чувствовала жадное прикосновение рук и нервно играла со мной в риск, — в любом творческом деле и на любом производстве есть эта необходимая игра.

— Осторожно! — шепнул мне на ухо Дадакин. — Опыт и славу человек обретает лишь осторожностью. . .

— Чего осторожно? — Я не мог работать иначе.

— Вы так молоды и поэтому так неразумно лихи, что, боюсь, непременно случится беда: покалечитесь. Вот.

— Ах, не мешайте! — сказал я ему.

Наладчики торопили меня скорее поставить эту деталь под раму в гнездо нового агрегата. Я торопился, лежа спиной на земле, на монтажной площадке, а наверху рябые решетки машин мельчили мне солнечный свет и абстрактно переплетались некие трубы.

Капало солнце в холмы металлической стружки на заводском дворе, где клены сердито шумели под натиском ветра, чтобы на них не садилась пыль.

Чемпион

Илья Спичкин хотел научиться играть в шахматы так, чтобы стать чемпионом мира, — чемпионом всего мира! Илья не стал чемпионом мира, — чемпионом всего мира. Это трудно. Но зато Илья стал чемпионом всего нашего завода. Наш завод занимал гораздо меньше земли и неба, чем весь мир. Однако по своей величине этот завод считался тоже не последним в большом промышленном городе, где делали гвозди, пишущие машинки и корабли.

В первом же туре Илье повезло.

Илья встретился в шахматной партии с пенсионером Чекановым и победил.

Илья поначалу готовил адский план разгрома вражеских позиций пешками. Он бережно и осторожно двигал

вперед пешку за пешкой и после каждого нового хода некоторое время не отнимал своей руки от шахматной фигурки, с недоверием глядя в напряженно открытый настежь рот противника, словно он был где-то на международном турнире и перед ним сидел не пенсионер, старик Чеканов, а древний и волосатый, ужасно мудрый перс, который не мог ни словечка сказать по-русски.

Конечно, старик мог сказать по-русски все, что угодно.

— Нахрапом меня не возьмешь, я тоже играть умею, — говорил он.

— Ваш ход, — едко замечал Илья.

— Разве наш? А мы и не знали. Так. Наш. А ты хитрый. Но и мы ничего себе, хитрые. Вот ежели мы сюда, на белую клеточку, сами пешку легонько подвинем, ты нам, конечно, по морде? Понятно. А ежели сразу туда мы поскачем галопом конем, еще больше по морде? Не надо. Объявим тебе шах ферзей? Сдавайся. . .

— Беру ферзя! — обрадовался Илья.

— Отдай ферзя! . .

— Не отдам, не дурак.

— Ну, хрен с ним! Победил ты меня, понятно? — старик огорченно ударил кулаком по столу, и шахматные фигурки посыпались на пол.

Победителю турнира Илье Спичкину в завкоме вручили новенькие часы «Ракета».

— Как? Насовсем? — удивился Илья. — Золотые?

— Станный ты, — строго сказал председатель завкома. — Это же ценный приз, которым мы награждаем тебя за отличную игру в шахматы.

— Спасибо, — сказал Илья.

— Валяй в том же духе, нам чемпионы нужны.

Илья носил часы на левой руке. Левый рукав его рубашки был до локтя закатан, чтобы все видели настоящее золото. Илья ходил гордо, — если он шел по цеху, а навстречу ему неслась автокара с тяжелыми чугунными поковками на борту, то Илья, рискуя жизнью, ни за что не хотел уступить автокаре дорогу, по которой он шел туда, куда нужно. Вероятно, к вершинам шахматного искусства. И чтобы не задавить Илью, — чтобы не потерять чемпиона, — бедная автокара поворачивала в сторону, решая впредь никогда с ним не встречаться.

Теперь в цехе разговаривали мало, боялись. Ибо стоило

нам только начать в свободное от работы время полезную беседу о лыжах, о музыке, о перспективах жилищного строительства и даже о качестве канцелярского клея для стенгазеты, как тут же откуда-то появлялся Илья и сообщал, что сейчас, например, без семнадцати с половиной минут ровно четыре часа.

Когда все молчали, Илья подкрадывался сзади к кому-нибудь и пытал:

— Знаете, сколько сейчас времени?

— Знаю.

— А через полчаса сколько будет, знаешь?

— Знаю.

— Сколько?

— Сто лет. Отстань!..

— Что?

— Куда-нибудь денься.

— Сто лет. Не знаете. Сейчас ровно два пополудни, а через полчаса, если мои золотые не встанут, будет ровно...

В начале августа чемпион опоздал на работу. Мастер Климов сделал ему замечание. Но Илья предъявил Климову свои золотые часы, на которых времени было меньше, чем на самом деле. Климов тоже показал Илье свои часы, на которых всегда было точное время.

— Двенадцать часов есть двенадцать часов, — сказал Климов.

— Но это на ваших двенадцать, — обиделся чемпион. — Мой-то часы поглавнее ваших, они как-никак золотые.

Мы хотели слегка проучить чемпиона по-своему. Но сделать это нам категорически запрещали и мастер Климов, и Устав ВЛКСМ, и, наконец, Уголовный кодекс.

Тогда мы придумали перехитрить чемпиона.

Купили ему телевизор.

— Давай, Илья, поменяемся! Мы тебе, Илья, подарим наш телевизор, а ты нам, Илья, подаришь свои золотые часы.

— Хе-хе, — засмеялся Илья. — Во-первых, часы золотые, они тикают и такают, я их люблю. Ничего нет на свете лучше часов.

— Хе-хе, — засмеялись мы тоже. — Лучше часов телевизоры.

— Первые в мире часы изобрел не герой, — пояснил Вася Барабанов.

— А кто? — спросил Илья. — Может, ты?

— Лет, вероятно, тысячи две назад жил далеко от нас на берегу древнего Нила один бородатый пессимист, который от яркого солнечного света в Египте рано устал смотреть на вещи, на пестрые ткани, на дела людей и природы. За это поссорился с солнцем старик.

— Стой! — сказал Спичкин. — Так не рассказывай, тебе надо голос на страшный сменить, не пиши.

— Дерзко и злобно, широко раскрыв воспаленные веки, он гипнотическим взглядом долго пытался принудить погаснуть дневное светило, — сказал Барабанов уже страшным голосом. — А под вечер ослеп и упал на горячий песок животом. . .

— Запутался в бороде, что ли? — спросил Илья.

— Упал животом на горячий песок. . .

— Не обжегся, бедняжка? Песком-то?

— Упал на горячий песок! — рассердился тогда Барабанов.

— Животом, — уточнил Илья Спичкин.

— Животом! Животом! — закричал Барабанов. — Ему захотелось расплаты. . .

— Стой! — сказал Спичкин. — Чего разошелся? Теперь слишком страшно. Вон как глазищи сверкают! Нельзя ли чуток поспокойнее?

— Ему захотелось взять на учет все жизни на свете, ускорить, приблизить им сроки сошествия в землю, чтобы все помнили — время не вечно. Тогда он придумал часы — бестолковый механик. . .

— Уважил, — сказал Барабанову Спичкин. — Хорошая сказка.

— Часы постоянно будут напоминать тебе о том, что время идет, идет. . .

— Идет, идет! Конечно.

— К тебе приближается старость и смерть, Илья Спичкин! У смерти немые ноги. . .

— Фу! — поморщился чемпион. — Я не желаю думать о смерти.

— Часы заставят тебя, они вызывают мысли о смерти так же, как плевательницы вызывают желание плюнуть. . .

— Верно, — сдался Илья. — Плевательницы вызывают желание плюнуть.

Обмен подарками прошел торжественно.

Спустя месяц Спичкин сказал:

— Я очень хитрый. Я ваш телевизор вчера очень хитро опять обменял в общежитии на целую юбилейную библиотеку русских сказок. Все десять томов за один телевизор! . .

— Обменять такой телевизор на сказки? — возмутился Вася. — Что такое телевизор? Сядешь удобно, зажжется экран — и тебе показывают жизнь во всем ее многообразии. . .

— А у тебя на коленях кошка, — иронически проговорил Илья. — Сядешь и смотришь, как из подворотни. Нет, жизнь я увижу и в жизни. Спасибо.

— Но десять томов! — задумался Вася. — Зачем тебе так много сказок?

Игорь

Фролов

ПЕСНЯ НА ЛИТЕЙНОМ

*Я помню начало кочевки
в апреле, похожем на март.
Узлы в перехватах веревки
на лыжах — подобие нарт.*

*И я на узлах возвышаюсь,
крест-накрест закутан в платок,
а мама все тянет, пластаясь,
постромки тугой ремешок.*

*С позиций отходим к востоку. . .
Суровый, ни в чем не виня,
провалами выбитых окон
Литейный глядел на меня.*

*И там, где моста возвышенье,
где неба простор голубой,
возникла вдруг песня отмищенья,
на смертный зовущая бой.*

*Штыки показались и лица —
то с песней солдаты росли.
Мне в сердце и гнев, и величье,
и веру России несли.*

ЗЕМЛЯ

*Я в роце облетающей березовой
на ощупь грузди черные искал.
Мне часто попадался искореженный,
под листьями ржавеющий металл.*

*Вот корпуса от мин, вот гильзы медные,
вст простучалась шлема пустота.
Земля преобразовывает медленно
передовых печальные места.*

*Там столько жизней было перемолото!
Но все-таки, свершая поздний суд,
и эту — нашу землю — археологи
культурным слоем тоже назовут.*

** * **

*Зарос тростником и розогом
противотанковый ров.
Шуршат голубые стрекозы,
охотятся на комаров.*

*Штрихами снуют серебрянки
в просвеченной солнцем воде.
Давно переплавлены танки,
что двигались к этой черте.*

*Темнеет за поворотом
железобетона плита —
руины нехитрого дота,
стоящего насмерть тогда.*

*Какие укрепрайоны
крушила машина войны!
Но этот рубеж обороны —
надежда и гордость страны!*

*Что, кроме земного поклона,
бесчисленным синим цветам?!
Последний рубеж обороны
в России идет по сердцам.*

Юрий

Колжер

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЧАСОВНЯ В ПРАГЕ

*Застенчивый фасад, простой двускатный свод,
Обширный тихий зал апостольского вкуса,
Такая тишина, что кажется — вот-вот
Послышатся шаги магистра Яна Гуса.*

*С подсвечником в руке он зал пересечет,
Посмотрит в темноту спокойно и устало,
Приблизится к стене и, осветив проход,
Растает в глубине восточного портала.*

*В каморке у себя он пишет допоздна.
Скрипит его перо, поет сверчок запечный.
Глядит к нему в окно кусочек неба млечный.
Такая высота, такая тишина!*

** * **

*На Гражданском проспекте весна, —
На Гражданском проспекте, где крыши
От дешевого золота рыжи
И закату рубаха тесна,*

*Где белесые ночи без сна
Мы проводим все реже и тише,
Где высокая память ясна —
Не яснее, чем небо, но выше. . .*

*Не любовь, только память жива!
Не любовью, а памятью живы
Заповедные наши слова,*

*Полушепоты, вздохи, курсивы
Далеки, различимы едва, —
Далеки, оттого и красивы. . .*

Ирина

Габуева

Натурщица

РАССКАЗ

— Да она такова-то хороша! Ой и хороша-то. И уж восемьдесят шестой ей. А хорошая-то, белая. Только склероз у ей после гриппа-то произошел. Я говорю: узнаешь меня? Это же я, Маруся. Не узнала. Старость уже приходит, склероз получается.

В мыльне стоял тот особенный шум, который бывает только в бане. Среди льющейся воды, всплесков кипятка в парном тумане плавали гулкие голоса женщин. Баня на днях открыта была после ремонта, стены сияли, выкрашенные масляной краской. Взамен износившихся цинковых заведены были белые эмалированные тазы.

Здесь царил естественность знакомства всех голых между собой. Буфетчицы, официантки, продавщицы, администраторы единственной пока в городе гостиницы.

Блаженное состояние тела и духа, превращающее баню в праздник, незаметно для Нины Азаровны наступало после долгого мытья, часа через два. Тогда отпаренное, отмы-

тое тело начинало жить новой жизнью, и жизнь эту здесь, в бане, хотелось продлить до бесконечности. Она слушала разговоры соседки, говорила ей свое и радостно оглядывалась, не замечая неудобства и тесноты, а напротив, довольная всем и теснотой тоже. Многих она здесь знала, многих за долгую жизнь в городе часто встречала на улице, в торговых рядах или у себя в столовой, где работала кассиршей. А с завтрашнего дня у нее начинался отпуск.

Квартиранток не оказалось дома, когда она вернулась после бани, — должно быть, ушли на танцы. Это были три девушки, приехавшие с Украины учиться на кулинарных курсах. Работать они будут в ресторанах.

Длинным вечером после бани она пила чай с соседкой Ефимовной, угощала ее вишневым вареньем. Вишня росла под окнами. В здешних местах она необыкновенного вкуса и сладости. Долго сидели они за чаем, и ей все было хорошо и покойно. Потом перешли из кухни в комнату — началась передача КВН, а они смотрят ее постоянно. Им очень нравятся ведущие, которых, еще не видя в кадре, они узнают по голосам.

А наутро в свой первый день отпуска Нина Азаровна не знала, куда деться от тоски, слонялась без дела по дому. Дом у нее добрый, просторный, построенный незадолго до смерти мужа, — две комнаты, кухня, кладовая, ванная. Она ходила из сеней в кухню и обратно, все валилось из рук, и на сердце была тоска.

Чуть не все утро так она маялась, потом, догадавшись, поправила печь, замазала, побелила и повеселела — уж очень хорошо получилось. За завтраком она смотрела на печь так и эдак. Пока вставшие квартирантки умывались, пили чай, причесывались, стоя друг за дружкой перед зеркалом, Нина Азаровна ходила за ними, говорила про свою тоску и все хвалилась ловко заделанной печью.

Ей стало совсем хорошо, когда она вышла из дому и над головой распахнулось из края в край чистое синее небо.

Привычно увидела она белые ограды монастыря на противоположном низком берегу реки. Увидела и художника, что рисовал отсюда монастырь или что-то далекое, а что — было не понять. Это был крупный высокий мужчина, пожилой, в берете, несмотря на снег. Нина Азаровна засмущалась и прошла мимо, глянув на него с добрым смехом.

Она собралась в торговые ряды, она только туда и ходит

во всем городе, да и то в мануфактуру либо в промтовары. Продуктовые ей редко нужны, раз целые дни проходят в столовой. Но сегодня Нина Азаровна купила хорошей копченой колбасы, молока в пакетах и свежей сдобы. В хозяйственный завезли эмалированную посуду, она купила голубые мисочки.

После магазина ноги сами понесли ее в столовую. Там, побывав на кухне, постояв около буфета и всем рассказав, как хорошо сегодня печь поправила, она надолго расположилась около заменявшей ее кассирши, любовно оглядывая зал. В углу одиноко сидел местный пьяница Федотыч и, размахивая руками, громко разговаривал с соседним пустым столиком. У раздаточной скопилось очередь, тут больше всего было учащихся и шоферов.

В субботы и воскресенья горожане приходят в столовую семьями, заняв два-три столика, объединяются за обедом знакомые. А и в будни вечерами у мужчин здесь создается свой клуб, составляются на скорую руку компании, вдруг становятся шумными. Вино есть в буфете, водку приносят с собой. Для туристов в городе рестораны и кафе, но они появляются и в столовой. Местные жители, наоборот, в ресторанах бывают редко, не принято.

Азаровна не любит туристов, не понимает их приездов сюда, хождений по городу с фотоаппаратами и женщин, среди которых бывают немолодые и толстые, а тоже ходят в брюках. Зло рассматривает она их в торговых рядах — что за блажь приезжать сюда отовсюду. Но у себя в столовой любовно всегда смотрит со своего возвышения перед кассой, как они едят. Добрая она, ей нравится и самой кормить людей, и смотреть, как они насыщаются.

Она любила мужа своего кормить. Бывало, суп стоял на столе минута в минуту, когда он в обеденный перерыв приходил с работы. Сама она тогда ближе к дому работала, чтобы все успеть для него. Или не работала совсем, дом и огород все время отнимали. Яиц, например, магазинных муж не признавал, так она для него восемь кур держала.

Мужем своим она гордилась и ухаживала за ним радостно, берегла его время, понимая, что работа у него ответственная — он был директором быткомбината.

Одна из посетительниц столовой задержалась у кассы:

— Что это ты рассаживаешь, Азаровна?

— Да в отпуске я.

— А что замуж не выходишь?

— Да куда мне, что ты? — смущается Азаровна.

Родом она была из соседнего городка, зеленого и чистого, который любила за воспоминания детства, за всю жизнь, до замужества там проведенную. Замуж она вышла в начале войны уже, мужа сразу взяли на фронт, и скоро он вернулся без ноги. Безногого, она встретила его хорошо, очень любила. Потом сын у них родился. И потянулась ее жизнь между мужем и сыном на долгие годы, промелькнувшие, как сон. Муж у нее всегда был на первом месте — так уж выходило.

А два года назад жизнь эта кончилась: муж умер, сгорел от рака легких. На другой год сын уехал, поступил учиться в областной город. Осталась она одна.

Прошло несколько дней. Все так же не мил был Нине Азаровне отпуск, не знала, что с ним делать, чем себя занять. По утрам долго пила чай, кладя на хлеб толстые куски колбасы. Потом шла по воду. И тогда обязательно видела монастырь напротив за рекой, вид которого ей давно привычен.

На берегу снова появился художник. Несколько раз Нина Азаровна проходила мимо не глядя. Он сам к ней обратился, когда она несла воду на коромысле.

— Добрый день, хозяйка, — сказал художник.

— Здравствуйте, — ответила она.

— Может быть, поговорили бы со мной? — спросил художник.

— О чем это? — удивилась она.

— Да я хотел просить вас. Не попозируете вы мне, хозяйка?

— Что? Это как? — растерялась Нина Азаровна.

— Знаете, я хотел просить вас. Вы идите вот здесь с коромыслом, как и шли. А я посмотрю. Я бы вас написал. Вы мне нужны в мою картину. Вы мне поможете?

Теперь она поняла и смутилась. Художник был очень вежлив. Нина Азаровна и не раздумывала долго, согласилась.

— За ваш труд я заплачу вам...

Теперь ее уже не пугали пустые дни отпуска. Теперь, переделав с раннего утра домашние дела, она становилась

перед художником с ведрами на коромысле. Смотреть, как Азаровну рисует художник из Москвы, собирались соседи. Любопытных притягивало, как магнитом. Так и сыпалось со всех сторон:

— Смотри, Азаровна, в музей угодишь. А что?

— Да ты что-то зарумянилась, девка.

— А ты ничего. Тебе как раз в картину — ты сама и есть картина.

Она раньше не подумала, что кругом народ, и растерялась, а потом стало ей все равно. Но в конце концов у каждого были свои дела.

Это были хорошие дни, она гордилась, что ее рисуют. В свои сорок с лишним была она еще красивая, румяная и знала это. На картину она смотреть боялась.

Стояли ликующие голубые дни марта с золотистыми облаками, с серебряными снегами под солнцем. Это был март, когда зима и весна одновременны, слиты воедино в снеге, в солнце и запахах. По снежной тропе, по вырубленным в снегу ступеням спускаются к реке женщины с бельем, спешат — дни уходят, приближается большая вода, когда уже нельзя полоскать в реке.

А на высоком берегу перед художником стоит женщина, неся ведра с водой на коромысле.

Нине Азаровне стоять легко, потому что хорошо вокруг и воздух легкий, и дни со снегом, но без ветра. Эти дни как-то действовали на нее. Что-то с ней происходило. Впервые подолгу праздно стоя на берегу, она смотрела на все, что окружало ее, чего она не замечала раньше, много лет. Все удивляло ее теперь. Хорошо было видно далеко вокруг, и всюду из чистых серебряных снегов вырастали белые стены.

Она жила эти дни новой жизнью. Несмотря на вежливый нрав и разговор художника, она его побаивается, украдкой рассматривает его большую фигуру, черные брови и движения его рук. При этом интересно ей разгадывать чужую жизнь — какая у него жена, наверное молоденькая, а дети уже большие, от первой жены. Художник ей нравился, но она относилась к нему снисходительно — разве мужское это занятие? Конечно, дано не всякому, но, выучившись, рисовать каждый сможет. Перебрав мысленно непонятную ей жизнь, она привычно погружается в собственные воспоминания. А когда художник предлагает ей отдохнуть, приглашает его к себе.



В доме тепло. Они пьют чай, и Нина Азаровна одно за другим все рассказывает художнику о своем муже. Днем и ночью муж только о работе и думал. Очень любил работу. Бывало, на вечеринках мужчин они рядом не сажали, а то опять сцепятся в своих разговорах о делах.

Муж, например, кричит за столом начальнику торга, почему тот ему тканей не отпускает. А тот кричит, что он знает: они в своем комбинате понашьют барахла, потом не продать. Директор детдома тоже недоволен. Я, говорит, привожу ребенка, мне нужен 42-й размер, а ты мне шьешь 48-й. Я, говорит, на ребят как смирительные рубашки надеваю. А муж опять кричит, что, мол, ты ничего не понимаешь, ты понимаешь — план?

Художник слушает со вниманием. Она наливает ему вторую чашку и говорит обрадованно, рассказывает свежнему человеку, что быткомбинат в те годы питался от движка, которым управлять умел один Федя, больше никто. На него в войну даже броня была. И вот запустит Федя тот движок, сам напьется, уснет либо совсем домой уйдет. А движок и остановится. Муж тогда посылает за Федей Азаровну, та берет с собой пятилетнего сына, в руки чапельник такой длинный для русской печи и идет в ночь без огней, темень — глаз выколи. А чапельник от собак, собак в ту пору много было в городе. Федя спит, конечно. Азаровна трясет его, трясет, еле добудится, поднимет и чуть не в охапке несет до места. А сын рядом шагает с чапельником. Муж дожидается, набрасывается на Федю. Азаровна пугается, умоляет мужа. Потом муж проводит с Федей ночь у того движка.

Она задумывается. Художник тоже молчит, курит, смотрит в окно.

«Как мой муж любил работу!» — страстно думает женщина.

— Как он любил работу! — вырывается у нее.

— Что? — спрашивает художник. — Простите?

— Ничего. Нет, это так, — говорит она.

— Да, живут люди по-разному, а жизнь не прерывается, — говорит художник. Он спрашивает, слышала ли она легенду, связанную с историей монастыря. И рассказывает о насильном заточении в этот монастырь царской жены в наказание за бесплодие. И как вскоре разнесся слух, что царица-монахиня родила сына. До сих пор не могут ученые выяснить, действительно ли был у царицы сын и правда ли, что если был, то умер в младенчестве и похоронен в монастыре. А уже в наше время в могиле обнаружили богато обряженную куклу. Значит, если родился у царицы сын, то остался живым, и его спасли, скрыв от царских глаз за стенами монастыря.

Нина Азаровна удивилась. Сколько лет живет здесь, не знала ничего.

Она всю жизнь прожила для мужа и не жалеет об этом. Конечно, она не видела ничего. И города, можно сказать, совсем не знает. А люди специально отовсюду приезжают смотреть красоту его, напротив их монастыря экскурсии останавливаются, долго слушают, что им рассказывают.

Когда художник кончил писать, Нина Азаровна, уже привыкнув к своему положению, без опаски подошла к картине. Ближе были дома их улицы, а вдалеке главы церквей. И была чужая, не ее фигура, одетая, как она, в ее яркий платок, с коромыслом и ведрами. Она смолчала, но и не скрывала всем своим видом полного разочарования. Художник складывал ящик, вежливо благодарил ее, ни о чем не спрашивая. Он замешкался, ища в клочьях травы, уже откывшейся под снегом, потерянную кисть.

Нина Азаровна рада была, что никто сейчас не видел картину. Она долго смотрела художнику вслед.

В начале апреля на реке тронулся лед, а еще через два дня, ночью, в одной из многочисленных ее петель образовался ледяной затор. Нина Азаровна в толпе стояла на берегу. Сияло солнце. Мальчишки, весело крича, с большими палками прыгали с льдины на льдину. А в следующие ночи вода прибывала, разливалась, выбрасывала лед на берег. При ударе льдины крошились, края их осыпались, расслаиваясь на вертикальные чистые пластины, совсем прозрачные.

Потом пришли золотистые ранние вечера с солнечными пятнами на освободившейся ото льда реке, с тихо плывущими в ней облаками, с мальчишками, таинственным кружком сидящими на крепостном валу, с неизменным во все эти дни дымом, оттого что жгли траву. Вечера с грачиными криками, с пересвистом птиц, с весенними птичьими хлопотами в ветвях деревьев, с озабоченными их перелетами над головами людей.

Нина Азаровна стоит у окна палатки-магазинчика, разговаривает со знакомой продавщицей. Покупателей нет.

— Это чьи ж гнезда такие? — спрашивает Азаровна.

— Да это грачи. Ихние гнезда. У всех, знаешь, по-своему, а ласточки из грязи лепят себе жилье.

Нина Азаровна удивляется:

— Все я перезабыла. А если вороны?

— Так ведь те в лесу, а здесь не живут. А вот если ласточки, голуби там, галки, те, знаешь, не на дереве живут, под крышами, а чем выше, им и лучше.

Потом еще долго говорят они о детях. Азаровна ждет сына на летние каникулы, а писем давно не было. Она те-

перь ходит по городу то в одну, то в другую сторону. Она надивиться не может окружающему, смотрит на ребят, что жгут по склонам крепостных валов, на берегу реки прошлогоднюю траву, чтобы новая родилась скорее и была ярче. Павлик ее каждую весну тоже зажигал эти костерики. Но ведь это не сейчас придумано — вдруг приходит ей в голову, — наверное, когда-то давно было так. И это удивляет ее.

Удивляет ее белый свет монастырских стен среди дня и в ночи, потому что с наступлением темноты белое сияние усиливается.

Домой пить чай она уходит, когда внизу за оградой монастыря зажигается электрическим светом окошко в одном из домиков.

А вечер разгорается, воздух густеет, небо и травы присыпаны пеплом, и распластались у горизонта облака. На монастырском берегу жирно и влажно протянулись огородные земли. Пахнет речной сыростью, дымом. Тишина. Кричат мальчишки, лают собаки. По берегу идет мужчина в высоких сапогах, иногда попадая ими в самую воду, тянет по воде длинное бревно.

Тишина приносит удары колокола на башенных часах. Проходят еще минуты, мужчина уже причаливает бревно, вытягивает его из воды.

И вдруг внизу, в городе разом вспыхивает электричество. От одного из фонарей в реке выстраивается оранжевая колонна. Вечер догорает. Воздух и небо становятся темнее.

Владимир Беспалько

* * *

*В такое верится не сразу,
такое зреет в тишине, —
так я, не доверяя глазу,
на ощупь проверял в душе:
деревья, осень, снег глубокий,
движенья ручейков и рек, —
чтобы понять тебя, далекий
и незнакомый человек.*

ПРИГОРОД

*Непривычный поток тишины —
даже слышно, как ива плачет,
чуть скрипит, регулируя сны,
флюгерок над заброшенной дачей.
К водопою ползут валуны,
тишина в эту ночь многолика,
от разбитой пластинки луны
серебристая льется музыка.
Закружилась осина, пенек,
подбоченившись, крикнул: «А ну-ка!»*

*И летит над рекой светлячок,
словно капля зримого звука.*

* * *

*Восходит солнце над землей, восходит,
как будто женщина из волн выходит.
На запрокинутом лице улыбка,
а в волосах ее золотая рыбка.
Она ладонью по земле проводит —
и свежая трава вслед восходит;
она легонько дышит на кустарники —
и почки превращаются в фонарики;
она скороговоркою капли
заворожила лес — ручьи запели.
В их светлом и задумчивом журчанье
неясное скользит очарованье.*

Анатолій

Степанов

Венера, работа и мы

— Я вчера такую Венеру видел!..

Из разговора

РАССКАЗ

Есть у нас на заводе красный зверь; сам он весит больше пяти тонн и свободно поднимает три тонны. В инвентарном списке этот зверь числится как электрокара. Раньше кара была выкрашена в зеленый цвет, и только недавно ее перекрасили в ярко-красный.

Мы везли в кочегарку кирпич. Виктор правил карой, а я шел сбоку. Кара двигалась медленно, и я шел потихоньку, задевая ногой за ногу.

Перед самым забором, ограждающим наш завод, стоит дом. Обыкновенный пятиэтажный жилой дом. На втором этаже на подоконнике сидела девчонка. Она сидела, свесив ноги на улицу, читала книжку и болтала ногами. Одета она была только в купальный костюм — загорала.

И нужно же мне было взглянуть в ту сторону и увидеть ее.

— Ты посмотри, какая Венера, — сказал я Виктору. — Красавица! Богиня!

Он посмотрел и согласился:

— О, вот это да!

— Девушка, — крикнул я, — не выпадите из окна! Ваша жизнь нужна обществу.

— Да, — подтвердил Виктор, — если красавицы будут вываливаться из окон, общество лишится красоты.

Она оторвала взгляд от книги и глянула в нашу сторону. И ответила:

— Лучше бы вы занимались своим делом.

— Эт-ти она какая! — восхитился Виктор.

Когда ему просто что-нибудь нравится, он говорит «о!», а когда его восхищение поднимается выше среднего, он говорит «эт-ти!».

И вдруг грянул гром. Это кара врезалась — в баллоны с улекислотой. Баллоны стояли совсем не на месте — возле дороги.

Виктор резко затормозил и дал полный назад. Но раз баллоны начали падать, они не могут остановиться. Падая, одни баллоны толкали другие, а те, падая, тоже толкали своих соседей — что-то вроде цепной реакции. Падали они с грохотом — слушать страшно.

— Ну вот, — сказал Виктор, когда упал последний баллон.

Я искоса взглянул на то окно. Девчонка смотрела в нашу сторону, но не смеялась. Очень тактичная девчонка.

К нам уже шел главный инженер. Он всегда появляется там, где его не хочется видеть.

— Что случилось? — подойдя, спросил он, хотя прекрасно слышал и видел, что случилось.

— Вот что, — Виктор кивнул в сторону упавших баллонов. Те лежали вповалку, будто убитые воины на поле битвы.

— Так, зайдите ко мне, — сказал главный инженер.

Мы пошли за ним.

В его кабинете стоял сладковатый запах — инженер курил только дорогие папиросы. Он сел в кресло, а мы остались стоять посреди кабинета.

— Так почему это произошло? — спросил он.

Мы молчали.

— Вы не пьяные?

— Во рту не было, — ответил Виктор.

— Честно, не пьяные? Но как трезвый человек может врезаться на каре в баллоны?

Мы опять молчали.

— Вы понимаете, что могло произойти?

Инженер зря старался, — мы понимали.

— Ведь баллон, — продолжал он, — это бомба. В баллоне семьдесят атмосфер. Это настоящая бомба. А если бы какой баллон взорвался? Вы понимаете, что было бы?

Мы стояли и слушали инженера. Конечно, он прав. Он абсолютно прав.

— Объясните, как это произошло?

— Ехал и врезался, — объяснил Виктор.

— И не врезался вовсе, — вмешался я. — Кара случайно задела один баллон, а остальные попадали.



Не объяснять же, что мы засмотрелись на девчонку. Хотя в этом и нет ничего особенного, но об этом нельзя говорить начальству. Если ему сказать, он сразу же закричит: «Что? Для чего вы оформлены на заводе — работать или на девченок глазеть?» И он опять будет прав. Разве объяснишь начальству, что поклонение красоте не имеет ограничений.

Нет, перед начальством нужно быть только невиновным — начальство не любит виноватых. Уж лучше представить дело так, чтобы начальник сам оказался виноват: пусть сам себя хоть ругает, хоть оправдывает.

— Что же теперь — повеситься из-за того, что кара случайно баллон задела? И разве так можно, — продолжал я, — чтобы баллоны стояли возле дороги? А то, что они стоят, а не уложены — это разве можно?

Главный инженер прекрасно знал, что это непорядок. И знал, что это его вина, — он давно должен был заметить это.

— Да, — согласился он, — баллоны нужно убрать отсюда. Сейчас, как отвезете в кочегарку кирпич, грузите баллоны на автокару и возите на склад под навес. И там сложите аккуратненько в штабель.

После этого главному оставалось только отпустить нас.

Когда мы подошли к каре, я посмотрел на то окно. Окно было по-прежнему открыто, но Венеры на подоконнике не было.

Наталья

Дзибель

МОЙ АВГУСТ

Вернись, мой август!

Гриб блеснет
забытой, бабушкиной сказкой!

Я подойду к нему с опаской, —
а вдруг он гном? ..

и удерет? ..

Вернись!

Последней земляникой,
так запоздавшей, удиви.

В осенней грусти оживи
ромашек белокрылых кликом.

Свергни на тропочке лесной
лосиным, наливным копытцем
и дай мне из него напиток
преображающей водой.

Вернись, мой август, в октябре,
когда все от дождей устанет,
чтоб вновь затеплилось дыханье
любви, оставленной в тебе. . .

Михаил

Мишин

Юмористические рассказы

Шел по улице троллейбус

Троллейбусов было много. С легким воем тормозили они у остановки, где топтался Марципанов. Раскрывались створки дверей, торопливые граждане входили и выходили, и троллейбусы, держась за звенящие провода, катили вперед. Они были похожи друг на друга, как новые дома, мимо которых пролегал их маршрут. И троллейбус, куда забрался Марципанов, ничем не отличался от остальных.

Сначала Марципанов удобно уселся на место для инвалидов и пассажиров с детьми. Потом неспешно лег, высунув грязные башмаки в проход между сиденьями. Общественность молчала. Тогда заговорил Марципанов. Вернее, он запел. Исполнив «Очи черные» и «Клен ты мой опавший», Марципанов сказал со смехом: «На кого бог пошлет!» — и плюнул через спинку сиденья.

Бог послал на худого гражданина в очках.

— Зачем же вы плюетесь? — удивился гражданин, вытирая рукав пальто. — Не надо плеваться.

Такие слова Марципанову не понравились.

— Т-ты, гад, — нахмурился он и уже прицельно плюнул в худого.

— Видать, выпил человек, — сказала про Марципанова какая-то наблюдательная старушка.

Марципанов хотел двинуть ногой по старушкиной сумке, но троллейбус трянуло, и Марципанов чуть не свалился с сиденья. Это его рассмешило.

— Плюх! — сказал он и дернул за платок девушку, сидящую впереди.

Девушка встала и ушла к кабине водителя. Марципанов начал стаскивать с ноги ботинок.

— Безобразие, — сказала дама, сидевшая позади Марципанова. — Столько народу, и никто его не одернет!

— Хулиганство, — неуверенно поддержал ее оплеванный Марципановым гражданин.

Марципанов кинул в него ботинок.

— Вот бедолага, — огорчилась за Марципанова старушка с сумкой. — Эдак нога у тебя застынет. Нынче, поди, холодно.

Марципанов едва не разорвал рот в страшном зевке и потянулся.

— Ух ты, Маруська, вобла зеленая, — объявил он и сейчас же заснул.

Пассажиры троллейбуса повеселели. Однако ровно через минуту Марципанов ожил. Он сполз со своего места, отыскал в проходе ботинок и сказал трезвым голосом:

— Граждане, прошу внимания. Я должен извиниться. Это был эксперимент — сколько вы будете терпеть безобразие пьяного человека. И что же вышло? Вышло, что вы все стерпели. Где же, товарищи, — возвысил голос Марципанов, — ваше сознание? Чего же вы со мной, то есть с пьяным, чикались? Вам надо было...

Досказать Марципанову не дали оправившиеся от шока граждане.

— Вы, вы... наглец! — выкрикнул худой гражданин в очках.

— Вот, — довольно кивнул Марципанов. — Вот так и надо было сказать.

— Но ведь это же издевательство! — воскликнула дама,

что сидела позади Марципанова. — Это же бандитская выходка!

— Правильно, — сказал Марципанов. — Только чего же вы раньше-то молчали?

— Обманул! — ахнула старушка с сумкой. — Я-то, дура, думаю, он пьяный, а он. . .

Широколицый мужчина взял Марципанова за локоть.

— Все, — громко сказал он. — Нечего над людьми измываться. Еще кабы пьяный был. . . Граждане, кто в милиции свидетелем будет?

— Что вы! — сказал Марципанов, пытаюсь выдернуть руку. — Я же сказал, не пил я. Это эксперимент был, понятно?

— Раз не пили, в милиции объяснитесь, — дернул шеей худой гражданин в очках. — Раз трезвый плевали.

— Перед вами я особо извиняюсь, — сказал Марципанов, — но ведь для опыта же!

Троллейбус подъехал к очередной остановке. Двери открылись.

— Выходи! — потянул Марципанова широколицый. Марципанов уперся. Пока они пихались, троллейбус поехал дальше.

— Ты у меня выйдешь, — сказал Марципанову широколицый и обратился к худому гражданину: — Поможете мне его взять на следующей остановке.

Худой гражданин гордо кивнул.

Марципанов опечалился. Он повертел головой. Вокруг были нелюбезные, недружественные лица. Марципанов вздохнул. В милицию не хотелось, и выход был только один. Марципанов наклонил голову, колени его подогнулись, и он стал валиться на широколицего мужчину.

— Ну-ну! — закричал тот, стараясь удержать Марципанова. — Не прикидывайся!

— Испугался, — сказал кто-то.

— Сейчас же встаньте! — призвал Марципанова худой гражданин в очках. — Слышите!

Марципанов горько зарыдал, бия головой по твердому колену широколицего.

— Все ж таки он пьяный, — сказала старушка с сумкой.

— Возможно, ему нездоровится? — предположила дама, ранее объявившая поведение Марципанова бандитским.

— Паз-заррастали стежки-дар-рожки! — взвыл вдруг Марципанов, подняв голову.

— Ну! — с торжеством сказала старушка, глядя на сидящего в проходе Марципанова. — Нешто трезвый так вальтаться-то будет? Как есть нажрался!

— А чего ж он, если пьяный, про эксперименты потрезвому излагал? — спросил с сомнением широколицый мужчина.

— Господи, да по пьянке-то чего не скажешь, — разъяснила умная старушка. — Вот мой сосед, как напьется, так все про политику говорит да про экономию. Пока не дерется, и не понять, что пьяный. . .

— Понюхать надо, — сказал кто-то. — Пахнет от него водкой?

— Одеколоном пахнет, — сообщил широколицый, посопев возле Марципанова. — Одеколон, наверное, и пил.

— Опытный, — сказал кто-то, — все знает.

При этих словах широколицый зарделся. Потом, пробормотав что-то, поднял Марципанова и положил на сиденье.

— Я бы все же позвал милицию, — без энтузиазма сказал худой гражданин в очках.

— Не толкайтесь, — сказала ему старушка с сумкой.

— А ведь, наверное, семья у него, дети, — пришла мысль в голову даме, сидящей позади Марципанова.

Старушка с сумкой наклонилась над Марципановым и потрясла его за плечо:

— Тебе выходить-то где? Слышь, парень? Едешь-то ты куда?

— Любовь — кольцо, — произнес, зажмурившись, Марципанов. — А у кольца я сам овца. . .

— Ну вот, — сказала старушка. — Кто до кольца едет — помогите выйти ему. А то, не ровен час, под колеса попадет, пьяный-то. . .

И старушка с сумкой поспешила к дверям. Ей было пора выходить.

Все замолчали, Марципанов осторожно приоткрыл один глаз. Вокруг стояли люди. Добрые, внимательные, сердечные. Но трезветь не стоило. Во всяком случае, до кольца.

Марципанов повернулся на бок, положил руку под голову и снова закрыл глаз.

Почтовый рассказ

Воскресный декабрьский день. Два часа дня. Яков Александрович Блуждаев сидит на диване в своей квартире. Из-за бетонной стенки свободно проникает нытье соседского магнитофона: «По ночам в тиши я пишу стихи...» Яков Александрович морщится. Меломаны за стеной мешают Блуждаеву читать письмо, которое он держит в руках. Рядом на диване лежат еще два нераспечатанных конверта.

«Родной мой! — читает Яков Александрович. — Ужасно, ужасно по тебе скучаю. Два месяца мы не виделись, а кажется — сто лет. Ты не пишешь, совсем забыл про меня...»

Глаза Блуждаева увлажняются. «Леночка, девочка, — думает он. — Действительно, сто лет. Нехорошо...» «В общем, — читает он дальше, — хочу, чтобы праздник мы были вместе. Приезжай, если ты меня любишь. Целую, Лена».

Яков Александрович откладывает письмо в сторону. «Что ж, — решает он. — Это идея. Куплю подарок и поеду. Новый год буду с ней».

«В каждой строчке только точки после буквы «л»...» — глухо ревет магнитофон за стенкой.

«Какое, однако, хамство», — думает Яков Александрович и берет в руки второе письмо. Это от Ларисы.

«Привет, привет! — пишет Лариса. — С наступающим! Надеюсь лично тебя поздравить и приглашаю к себе на Новый год. Костя внезапно уехал в командировку. Впрочем, как и твоя жена. Так что будем вдвоем... Жду. Лариса».

«Жена, — думает Блуждаев. — Уехала жена в Новосибирск на три месяца. С неведомыми научными целями. А без любимой женщины Новый год — не Новый год. Хорошо, что не одна она у меня любимая».

Яков Александрович представляет себе Ларису и улыбается.

Соседний магнитофон грохочет про полет коней, про сердце на снегу и прочие страсти-мордасти.

Яков Александрович думает: «Надо, однако, выбирать. Можно, конечно, съездить к обеим, но это утомительно. Впрочем...» Блуждаев вскрывает третий конверт. Это письмо самое короткое. «Ты меня не любишь. Ты всех любишь, кроме меня. А если это не так, то ты приедешь ко мне на Новый год. Твоя забытая Л».

— «В каждой строчке только точки после буквы «л»...» — бормочет Яков Александрович. — Люсенька, детка. Всегда она так подписывается... И с Люсенькой тоже давно не виделся. С тех пор как она переехала... — Блуждаев вздыхает.

Он встает с дивана, подходит к окну. Во дворе мальчишки, вопя, катаются с деревянной горки.

«Что же делать? — размышляет Блуждаев. — Надо что-то решать».

Решать ему мешает звонок. Яков Александрович идет открывать дверь. Телеграмма. От супруги.

«Вылетаю тридцатого. Встречай. Целую».

«А ты люби ее, свою девчо-онку!..» — неистовствует магнитофон соседей.

Яков Александрович перечитывает телеграмму дважды.

«Вот, значит, какой пассаж, — думает он. — Значит, вылетает».

Блуждаев качает головой, сует телеграмму в карман. Потом берет три листа бумаги, ручку, садится за стол и пишет три одинаковых письма — Лене, Ларисе, Люсе.

«Дорогая моя девочка! Спасибо, что не забываешь. Очень хочу тебя видеть. Но лучше, я думаю, будет, если ты сама приедешь сюда. Во-первых, на меня другие не обидятся, а во-вторых, просто хочется встретить Новый год, как бывало, — всем вместе. Тем более и мама тоже приедет — телеграмму прислала. Так что ждем вас всех. Целую крепко. Папа».

Магнитофон за стенкой переходит на английский язык.

Владимир Ардамацкий

КЛОУН

*Как по ступенькам,
с каждым рядом выше,
по залу смех,
как легкий вздох, пройдет,
и на арену выйдет клоун рыжий
по долгу службы забавлять народ.
Ему веселья занимать не надо —
он многих сам от скуки исцелит,
под общий хохот следуют каскадом
паденье,*

трюк,

немыслимый кульбит...

Через ряды

*с галерки хохот льется,
а он кричит задорным тенорком
и только сам*

*как будто не смеется
и в зал грозит кому-то кулаком.
Пусть остроумьем лучшим избалован,
пусть ты в любом искусстве искушен, —
ты улыбнись,*

*когда смеется клоун,
и не грусти,
когда заплачет он.*

Ведь смех его

*как мир неистребимый,
а роль свою он знает наизусть,
и лишь у глаз,*

*под плотным слоем грима,
как паутинки, затаилась грусть.
Ты не спеши к нему с пустым вопросом,
когда за сценой выхода он ждет,
когда устало курит папиросу
и коробок в рассеянности мнет.
Спектакль окончен.*

*Под высокой крышей
затихнут вздохи, шорохи и крик,
знакомый клоун (вовсе и не рыжий),
присев в гримерной,
снимет свой парик.*

*Ботинок на ботинок здоровенный
поставит в угол (инструменты все ж)
и спрячет нос... не свой — обыкновенный,
свой у него на пуговку похож.*

*Потом прослушает прогноз погоды,
и напоет какой-нибудь мотив,
и яркой краски пестрые разводы
сотрет,*

*в растворе ватку намочив.
В дверях помедлив чуть перед уходом,
в вечерний город
свой направит путь... .*

*Закончен день, и он идет с работы,
устал и тоже хочет отдохнуть.*

Александр

Житинский

Веселые страницы

РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ

Экономия средств

Перед Новым годом пронесся слух, что в январе будет запись на машины всех марок. Такие вопросы почему-то всегда волнуют широкие массы общественности. Все начали обсуждать технические данные, сравнивать лошадиные силы и ругать ГАИ. Стало ясно, что настает эра всеобщей автомобилизации.

После праздника мы отправились записываться. Меня взяли за компанию. Шеф шел записываться на «Волгу», поскольку сдал докторскую в переплет, Гена рассчитывал избраться в доценты и шел на «москвича», Саша Рыбаков шел на «Жигули», а я шел от чистого сердца.

Приходим, а там толпятся мужчины. Пар изо рта идет, глаза блестят, над толпой носится дух наживы и еще что-то. Не обходится и без крепких слов, но в умеренных дозах. Публика все больше интеллигентная.

Стали записывать. Я потолкался, потолкался, да и не выдержал. Записался на «запорожца». А тут шеф подбегает.

— Быстрей! — говорит. — На «Волгу» сейчас немного народу стоит! Что ты теряешь? Потом разберешься!

И я побежал записываться на «Волгу».

— «Волгу» хочу! — говорю. — И чтоб цвета морской волны!

— Будет тебе морская волна, дорогой! — отвечает какой-то грузин.

Подошел Гена с пятизначным номером. Счастливый.

— Послушай! — шепчет. — А вдруг обстоятельства изменятся? Давай уж записывайся на всю катушку!

И я записался на «москвича». И на «Жигули» тоже записался. А потом побежал в соседний магазин и записался на холодильник. Для ровного счета.

Пришел я домой возбужденный. По дороге купил кефир и сто пятьдесят граммов колбасы отдельной. Мы с женой поужинали и на ночь затвердили наши номера. И еще поговорили про гараж.

А потом начались суровые будни. Вернее, суровые воскресенья. Каждое воскресенье я ездил отмечаться. То на «запорожец», то на «Волгу», то еще на что. И на холодильник тоже. Меня уже там узнавать стали.

— Вон, — говорили, — миллионер идет!

Так продолжалось три месяца. А потом я лишился «Волги». Торопился отмечаться и улицу в неполюженном месте перебежал. Нарвался на штраф. Порылся в карманах, выскреб всю мелочь — рубль и две копейки. Рубль я отдал, а на две копейки позвонил жене.

— Иду пешком домой, — говорю. — Ехать ни туда ни сюда не могу. Потерял рубль, но сэкономил девять тысяч. Новыми!

— Старыми тоже было бы неплохо, — мечтательно сказала жена.

Таким образом, одно воскресенье в месяц стало свободным. Я его личной жизни посвятил. А потом обстоятельства стали меняться. Как и предсказывал Гена. Жена ушла в декретный отпуск, и где-то тут в суматохе я потерял «москвича» и «Жигули». Сэкономил я на этом баснословную сумму. Мне уже можно было давать премию за экономию средств. Но «запорожцу» я не изменил. Я приближался к нему медленно, но верно, как червяк к сердцевинке яблока.

Развязка наступила неожиданно. Оставалось еще больше

тысячи номеров, но вдруг на очередной проверке мне вручают какой-то листок.

— Приходите завтра получать, — говорят.

— Чего получать? — спрашиваю.

— Машину. Белого цвета устроит?

— Нет, — говорю. — Белого никак не устроит. Хочу розового.

— Розовые тоже есть.

— Хочу двойного цвета. Снизу голубого, сверху серого.

— Таких нету, — отвечают.

— Ах, нету! — сказал я. — Что же вы думаете? Что я всякую макулатуру буду покупать? Всякий металлолом неокрашенный? Я денег не печатаю!

Это я правду сказал. Я их не печатаю.

Я бросил этот листок и пошел домой. У пивного ларька встретил дядю Федю, стеклодува нашего. Он мне всегда попадает в решительные моменты жизни. Выпили мы с ним по маленькой кружке, он и говорит:

— Слушай, Петьк! Тебе, я слышал, скоро коляска понадобится? Жену-то сvez уже?

— Еще нет. Кажется, скоро уже, — сказал я.

— Так об чем я говорю! У меня внучка уже ходит, бери ейную коляску, задешево отдадим. За три поллитры.

— Только после получки, — сказал я.

— Идет! Коляска-то еще совсем новая. Двойного цвета! Снизу голубого, сверху серого. . .

Старик

Глядя на нее, я понял, почему на Востоке так много поэтов. Она сидела у окна, склонив голову набок, и грациозно вертела авторучку в маленьких пальчиках. Она была молода. Она была прекрасна. Она поступала в институт.

«Из Алма-Аты, — подумал я. — Или из Ташкента. Роза. Персик. Урюк. . . Поставлю ей четверку».

Она встала и подошла ко мне с билетом и листком бумаги. Листок был чист, как ее душа.

— Закон Бойля — Мариотта, — доброжелательно сказал

я, заглянув в билет. С легким шорохом она подняла ресницы, длинные, как лыжи. Я чуть не задохнулся.

— Его открыли Бойль — Мариотт, — пропела она на своем непостижимом диалекте.

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...» — вспомнилось мне.

— Я вас сильно прошу!.. Я хотела объясниться, — вдруг сказала она.

«Объясниться?» — вздрогнул я и поспешно сказал:

— Переходите ко второму вопросу. Микроскоп.

— Я хотела сказать, чтобы поставить тройку. Мне нельзя получить меньше. Поставить тройку, и я поступлю, — горячо зашептала она, и в голосе ее была настоящая страсть.

«Вот тебе и объясниться!» — подумал я и четко произнес:

— Микроскоп.

— Если я не поступлю, меня выдадут замуж. Насильно. У нас так делают с молодыми девушками.

«Черт-те что! — подумал я. — Какие-то байские пережитки!»

— Может быть, вы ответите на другой билет?

— Зачем другой? Я не прошу пятерку. Неужели вам не жалко судьбы молодой девушки? Меня уведут в дом к старику. Я боюсь его.

«К старику... — размышлял я. — Это меняет дело. В конце концов, если вылетит после сессии, не моя вина».

— Ну что ж, по билету у меня вопросов больше нет, — сказал я, чтобы все услышали.

— У нас никто не спрашивает согласия. Меня обручили, когда я ходила в детский сад. Теперь он ждет. Разве это справедливо? Разве вы отдали бы свою дочь гадкому тридцатилетнему старику?

И тут я вспомнил, как ровно неделю назад меня поздравляли друзья. Они говорили, что я совсем еще не плох, что я приближаюсь к жизненному пику, что выгляжу я максимум на двадцать шесть. Я охотно верил, но на душе было как-то беспокойно, потому что в тот день мне исполнилось тридцать.

Поставил я ей двойку. Вкатил два шара. Врезал два балла.

Пускай возвращается в Алма-Ату. Или в Ташкент,

Самарканд и Бухару. Пускай летит на крыльях любви. Роза. Персик. Урюк. . .

Пускай скрасит последние годы жизни тому тридцатилетнему старцу. Физики она все равно не знает.

Техника безопасности

Время от времени нас проверяют, как мы знаем технику безопасности. Техника безопасности — это такая наука, которая помогает нам жить, когда жить опасно. Жить вообще опасно. С этой точки зрения светофор на перекрестке является мероприятием техники безопасности. И милиция тоже. И медицина.

Но я отвлекся. На проверке это понятие трактовалось не так широко. Лисоцкий задавал нам вопросы про резиновые коврики и калоши. Оказывается, когда закручиваешь пробки, нужно стоять в калошах на резиновом коврике. Тогда току труднее уйти в землю.

Теорию мы знали сносно, и Лисоцкий решил проверить нас на практике. Мы все вместе пошли в лабораторию. Практикантки смотрели на нас с благоговением.

— Проверим оказание помощи при поражении электрическим током, — сказал Лисоцкий. — Предположим, что эта шина под напряжением. . .

И он цапнул рукой шину заземления. То есть он думал, что это шина заземления. А это была другая шина.

К сожалению, мы заметили это слишком поздно, когда Гена уже успел рассказать анекдот про электромонтера, который заземлил дома двухспальную кровать. Гена рассказал и стал ждать, когда Лисоцкий засмеется. Но тот реагировал как-то странно. Лицо у него сморщилось, как от зубной боли. И весь он дрожал крупной дрожью. Можно сказать, его прямо-таки били судороги.

— Что с вами? — поинтересовался я.

Лисоцкий молчал. Наконец ему удалось свободной рукой показать на табличку. Там был нарисован череп с костями.

— Наверное, он под напряжением, — догадался Гена. — В таких случаях, говорят, нужно действовать быстро.

— А как именно нужно действовать, ты не помнишь? — спросил Саша Рыбаков. Саша у нас кандидат наук, он всегда бьет в самую точку.

— Давайте рассуждать логически, — сказал Гена. — Поскольку напряжение производит неприятные физиологические действия в организме. . .

— Не напряжение, а ток, — поправил Рыбаков.

— Давайте короче, — предложил я. — Человек устал стоять под напряжением.

— Под током, — сказал Рыбаков.

Лисоцкий посмотрел на Сашу благодарными глазами. Видимо, он тоже считал, что стоит под током, а не под напряжением.

— Нужно оттащить его за волосы! — сказал Гена. — Волосы не проводят электричества.

Это показалось правильным, но у Лисоцкого не было волос. Практически не было. А те, что были, не годились для нашей цели.

— Человек умственного труда рано лысеет, — скорбно констатировал Рыбаков.

И тут Лисоцкий рухнул на пол, разорвав падением электрическую цепь. Все облегченно вздохнули.

— Не дотрагивайтесь до него! — закричал Рыбаков. — Он сейчас весь наэлектризован.

— Что же, он так и будет здесь лежать? — спросил я.

— Нужно закопать его в землю, — сказал Саша. — На время, конечно, чтобы из него вышло электричество, — добавил он, заметив ужас в глазах практиканток.

Осторожно, чтобы не разрядить, мы вынесли Лисоцкого на носилках во двор и стали закапывать. Как всегда, собрался народ. Стали давать советы. Конечно, ничего путного. Советовали, например, вызвать «скорую». Да пока она приедет, человек совсем загнется!

Лисоцкий был большим человеком, и электричество выходило из него медленно. Во всяком случае, он не подавал признаков жизни. Тогда мы его откопали и опять понесли наверх. Нам уже порядком надоело с ним возиться, а он все не оживал. Наверное, в него вошло много току. Кто-то предложил делать искусственное дыхание. Лисоцкого положили на стол и начали давить ему на грудь четырьмя руками. А практикантки вызвали «скорую».

— Ну ладно. . . Хватит, — слабым голосом сказал

Лисоцкий. — Учебная тревога! На сегодня достаточно. Аттестацию придется повторить.

Оказывается, он притворялся для проверки. Вот артист! А «скорая помощь» его все-таки увезла. Здорово мы его намяли.

Культурные ценности

Когда наступил юбилей знаменитого композитора, жена сказала, что пора мне приобщаться к культуре. Я так считаю, что на нее подействовал газетный бум.

Последний раз я приобщался к культуре на втором курсе института, когда ухаживал за вышеупомянутой моей женой. Только она тогда еще не была ею. В те времена мы ходили в кукольный театр и в кунсткамеру, от которой у меня навсегда осталось незабываемое впечатление. Примерно как от морга, хотя в морге я не был.

На этот раз мы взяли билеты в филармонию по два рубля штука. Я никогда не думал, что музыка такая дорогая вещь!

— Ты бы хоть просветился немного, — сказала жена. — Почитал бы что-нибудь перед этим, послушал пластинки...

— Нет ничего ценнее свежего взгляда, — сказал я. — Как в науке, так и в культуре. Я всецело за непосредственное восприятие.

Зал филармонии, если кто не был и не знает, — это такой белый зал в центре нашего города, с колоннами и сценой без занавеса. Хороши люстры, в каждой из которых насчитывается по тридцать семь лампочек. Некоторые из них уже перегорели. Хрустальные побрякушечки я сосчитать не смог. Дошел до шестисот одиннадцати и сбился.

Билетов в тот вечер продали больше, чем было мест. Некоторые люди по бокам стояли, вытянув шеи. Мне их было жалко. Что ни говорите, это непорядок.

Когда публика расселась и съела конфеты, на сцену двумя колоннами вышел оркестр. Без всякого объявления начали что-то играть, какую-то сложную музыку. И не очень громко. Потом выяснилось, что они настраивали инструменты. Между прочим, это можно делать и за кулисами.

Потом раздвинулись портьеры в глубине сцены, и оттуда легкой походкой вышел дирижер во фраке и весьма приятной наружности, похожий на иранского принца и одесского жулика одновременно. Он поздоровался со старичком слева, у которого была скрипка, больше ни с кем. Вероятно, просто не было времени, нужно было начинать.

Дирижер сверкнул глазами в публику и отвернулся. Больше его лица в первом отделении я не видел. Некоторые зрители сидели наверху, над сценой. Они могли видеть его лицо. Наверное, билеты у них были подороже, я не знаю.

Начали играть и играли минут пятнадцать. Когда кончили, я захопал, а все остальные зрители стали кашлять. В филармонии хлопать полагается в самом конце, а в середине полагается кашлять. Я понял, что ошибся, и в дальнейшем для верности только кашлял.

Надо сказать, что публика воспитанная. Никто не показывал на меня пальцем. Несколько дам тонко улыгнулись, вот и все.

Стали играть дальше и играли еще полчаса. Я успел все сосчитать, включая колонны, а потом принялся разглядывать публику. Кое-кто спал, это я вам прямо скажу. Некоторые переживали, особенно старушки. Мужчины сидели тихо.

Когда кончили, дирижер поклонился и сразу же ушел, как будто его вызвали к телефону. Я тоже хотел уйти, но все хлопали, не двигаясь с мест. Дирижер пришел, поклонился и опять поздоровался со старичком. Забыл он, что ли? После этого он снова ушел. Так продолжалось раз пять, причем музыканты стояли и от нечего делать похлопывали смычками по подставочкам.

Наконец кто-то догадался дать дирижеру цветы, и больше он не появлялся. Можно было пойти в буфет.

В буфете продавали лимонад и конфеты. Пива не было. Мы пошли в фойе, где публика гуляла по кругу против часовой стрелки. Дамы пожирали друг друга глазами. Немного пожирали и меня, поскольку на мне был новый галстук.

Во втором отделении было абсолютно то же самое, только с роялем. Снова здоровались, но теперь вариантов было больше. Сначала дирижер с пианистом, потом дирижер со старичком, а потом пианист со старичком. В конце опять долго вызывали, хотя мне показалось, что многие нервно

нащупывают в кармане номерок гардероба. Я думал, что сыграют еще чего-нибудь для души, но не сыграли. В гардеробе было тесно и совершенно не понять, где конец очереди. Однако ругались мало и очень вежливо.

Я высчитал, что следующий юбилей этого композитора будет через сто лет. С удовольствием схожу в филармонию еще раз. Всегда интересно наблюдать обычаи, далекие от нашей повседневной жизни.

Японец

Как выяснилось позже, разговор был следующий.

— Жалко, что вы не японец, — сказал японец. — Вы не знаете вкуса настоящего риса. Рис у нас едят палочками, вот так.

И он пошевелил пальцами, показывая как.

— Нет, извините, денег у меня с собой нет, — сказал я, разводя руками. — Понимаете, в данный момент нет ни копейки.

— Это ничего, что вы не умеете, — вежливо сказал японец. — Я бы вас научил. Через неделю вы смогли бы взять палочками вот такое маленькое зернышко.

И он показал какое.

— Я же вам говорю, что ни вот столечко! — заволновался я. — Вы поймите, деньги для меня не главное. Мне и так все твердят: деньги! деньги! У меня это вот где сидит.

И я показал, где это сидит.

— Почему вы не любите риса? Мы все любим рис. Рис полезный. Знаете, сколько в нем витаминов?

И он показал, сколько в нем витаминов.

— Ну и что? Подумаешь, шесть лет учился! Если б я диссертацию защитил, тогда другое дело. Диссертация, знаете? Вот такой толщины талмуд!

И я показал, какой толщины талмуд.

— Нет-нет, я не пью, — испугался японец. — У нас мало пьют. Мы любим рис. Некоторые люди, правда, гонят из него сакэ, но это гадость.

И он сплюнул.

— Вот и я им говорю, что мне на диссертацию плевать! Я занят любимым делом. Вы понимаете: любимым! А мне, знаете, что говорят? Говорят — ты пропащий человек!

И я махнул рукой.

— Зря вы так относитесь к рису, — заметил японец. — Хотите, я сварю вам небольшую чашечку? Рис нужно есть только из круглой чашечки.

И он показал, из какой.

— Я с вами согласен, — сказал я. — Все дело в детях. С детьми недопустимо класть зубы на полку.

И я показал, как класть.

— Не сомневайтесь! — сказал японец. — Вашей вставной челюсти ничего плохого не будет. Когда рис хорошо сварен, он тает во рту. — И японец сладко зажмурился.

— Это я уже слышал. Мне это все говорят. Ты, мол, живешь в царстве грез. Ты должен обеспечить семью! У тебя двое детей!

И я показал, сколько у меня детей.

— Хорошо, — сказал японец. — Я сварю вам две чашечки.

И через некоторое время он принес мне две чашечки дымящегося риса с набором палочек, похожих на дирижерские.

— Извините, — сказал я, — но я сам в состоянии прокормить своих детей. Я работаю в научном учреждении и зарабатываю не так уж мало.

И я показал, сколько.

— Станный вы человек, — задумчиво сказал японец. — Вы совсем не похожи на японца. То вам мало, то много. Ну хорошо, возьмите хотя бы палочки.

Палочки эти я подарил жене. Теперь она вяжет ими свитер. А разговор с японцем пересказал мне потом Саша Рыбаков. Он у нас полиглот.

Анкета

Однажды приходит к нам один товарищ. Повертелся в лаборатории, на потолок зачем-то посмотрел, языком поцокнул. Мы думали, из пожарной охраны. Приготовились к самому худшему.

— Я из лаборатории социальной психологии, — говорит. — По вопросу изучения творческой атмосферы.

А у нас что? Атмосфера как атмосфера. До мордобития, во всяком случае, дело еще ни разу не доходило.

— Нормальная, — говорим, — атмосфера. — Души друг в друге не чаем.

Он хмыкнул и ушел. Мы думали, что отстал. Убедился, так сказать, что нас голыми руками не возьмешь. Но товарищ оказался настырный.

Приходим мы на работу через несколько дней, а на столах лежат аккуратненькие листочки. А на них напечатаны типографским способом вопросы разные. И разъяснено, как на них отвечать. Тут, конечно, шуточки начались по поводу использования этих листочков. Исключительно грубый юмор. Многие, между прочим, так и поступили. А я подошел к вопросу серьезно.

Дело в том, что последнее время вокруг какие-то разговоры о сокращении участились. И не просто, что, мол, будут сокращать, а уже более конкретно: кого, когда и за что. Я сопоставил факты, и получилось, что анкетка эта неспроста.

Поэтому я дела отставил и углубился в свои мысли. Рекомендовалось писать правду, а своей фамилии можно было не указывать. Только пол, возраст и должность.

Ну, меня так просто не проведешь. А почерк? По почерку не то что фамилию, а даже характер и тайные наклонности можно установить. Поэтому я принял меры предосторожности. Я ушел в фотолабораторию, запер дверь, включил красный фонарь и авторучку взял в левую руку. Теперь можно было начинать.

«Каковы Ваши отношения с непосредственным начальником?» — прочитал я.

«Замечательные», — написал я левой рукой.

«Довольны ли Вы занимаемой должностью и зарплатой?»

«Очень», — написал я печатными буквами и подчеркнул два раза.

«Есть ли у Вас возможности для творческого роста?»

«Сколько угодно», — написал я при свете красного фонаря.

«Ощущаете ли Вы заинтересованность коллектива в Вашей работе?»

«Всегда», — написал я и помахал левой рукой. С непри-
вычки она устала.

Тут кто-то в дверь постучал.

— Занято! — закричал я голосом лаборантки Веры Пет-
ровны. — Проявляю и печатаю! Не мешайте!

За дверью тихонько выругались тем же голосом и ото-
шли. А я поехал дальше.

«Какого рода Ваши взаимоотношения с сослуживцами?»

А у меня с ними разного рода отношения. Поэтому я на-
писал дипломатично: «С мужчинами мужского рода, а с
женщинами женского». Пускай сами разбираются. Потом
было еще несколько вопросов, с которыми я без труда рас-
правился одной левой. А последний вопрос был с подковыр-
кой:

«Что, по Вашему мнению, следовало бы изменить в орга-
низационной структуре Вашей лаборатории (сектора, от-
дела)?»

На институт они не замахнулись.

«И в самом деле, что?» — подумал я.

«А НИЧЕГО!» — нацарапал я, держа авторучку в зубах.
Потом я подписался: «Пол женский, 67 лет. Лифтерша».

Александр

Матюшкин-Герке

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

* * *

Человек за мою спиною.
Он идет уже долго за мною.

...Серой мышью ныряю
в метро я,
а за мной уже топают
трое.

Г. Горбовский

*Как-то вечером поздним
В субботу
Я домой возвращался
С работы.
Вдруг меня
Возле Дома культуры
Окружили четыре фигуры.
Коренасты,
Лобасты, зловещи,
Наседают, хватают за вещи.
Улыбаются: «Мы очень рады!..»
Я сигаю от них
За ограду.
Одинок, затравленно, гулко
Каблуками стучу в переулках,
Второпях отступаю
К реке,*

Оступаясь...
И я — в тупике.
Понимая,
Что все бесполезно,
Поднимаю
Обломок железный,
Иступленно реву:
— Налетай!
Что вам надо?
Чего вы пристали?!
— Мы твой сборник, — кричат, — не достали.
Почитай нам стихи,
Почитай!

* * *

...девушки мечтают о поэтах,
а в поэтах —
острый дефицит.

...но, рожая бойких медвежат,
ваши жены где-то тайно-тайно
все равно другим принадлежат.

В. Кузнецов

Дружеских не слушая советов,
Понапрасну молодость губя,
Девушки влюбляются в поэтов,
А поэты влюблены в себя.
Что поэтам суета мирская?
Им любовь возвышенной нужна.
Их прельщает женщина такая,
Как моя законная жена.
Хороша, спокойна, домовита,
Что твоя Венера сложена,
Как лесная пчелка, деловита
И вдобавок ко всему — умна.
Но вчера заметили соседи,
Что она, поэзию кляня,
На свиданья к белому медведю
Втихаря уходит от меня.

* * *

Если был бы я хоть младшим богом,
Землю с высоты окинув взглядом,
Я поэтам дал бы хоть немного
Из того, что им без чуда надо.

А. Аквилов

*Снится мне, что в рубище убогом
Я брожу по свету босиком
В чине поэтического бога
С лирой и казенным вещмешком.
У меня канючат подаянье,
Ну, а мне, представьте, каково,
Если, кроме старого сиянья,
Сам я не имею ничего.*

* * *

Давно развенчаны всевышние
И в сказки изгнаны свои,
И все же я во всеуслышанье
Кричу:
— Господь, благослови!..

С. Поликарпов

*Я прожил, братцы, жизнь суровую,
И, слава богу, — атеист,
Но, начиная книгу новую,
Благоговейно каждый лист
Я осеняю крестным знаменьем,
Чтоб не погас огонь в груди,
Чтобы воскрес в моем сознании
Святой завет: «НЕ УКРАДИ!..»
Врачую стихотворным пластырем
Жар воспаленной головы,
И признаю духовным пластырем
Союз писателей Москвы.*

* * *

Частенько на своем веку
С земли я поднимал строку,
А то и целое стихотворенье
Снимал с черемухи или сирени...

О. Колычев

*С корзиной в пригородный лес
Я как-то под вечер залез,
Чтоб в частых зарослях ольхи
Собрать созревшие стихи.
Я землю скреб, и, щуря глаз,
Я все деревья перетряс,
Но не упало ни строки
В ладонь протянутой руки.
И тут я понял — здесь, в лесу,
Я не один ольху трясу...*

Владимир

Алексеев

Дорожные этюды

Ереван. Солнечное утро на зеленом дворике из тутовых и абрикосовых деревьев с виноградной беседкой...

По утрам из снежно-белых облаков — блистающий большой Арарат, к середине дня пропадающий в солнечной дымке.

Ереванские утра в июле не жаркие, сон под открытым небом на раскладушке свеж и чист, петух меня будит криком: «Что такое?»

Ереван — центр — как спустишься с холма. А на вершине — окраина...

А на горе каменные узкие улочки, чисто подметенные, как будто в общей квартире; колонки, женщины, моющие шерсть: прошел мимо — подняли головы, посмотрели иноземным взглядом. Девочки у входа в каменные дома перебирают и раскладывают на просушку шерсть, и тут же мальчишки стаями, босоногие и грязные, с большими горящими глазами...

Ереван с горы — как на ладони, с двухэтажными домами в садах, с широкими столичными улицами, с европейскими кафе и ресторанами...

В городе Ереване на улице Чаренца живет мальчик Арсен. Я сидел под тутовым деревом, когда Арсен слез с него и, подойдя и улыбаясь, сказал: «Хочешь абрикосов?»

Пожал плечами: «Как знаешь».

Через пятнадцать минут под майкой на животе — пятнадцать-двадцать еще не зрелых абрикосов: «Бери, ешь», — мальчишеская рука, протягивающая один из прекрасных южных плодов. Мальчишеская рука, как и моя когда-то в детстве...

— Ты думаешь, я свои абрикосы принес? Нет, я украл.

Улыбка: «Вот я какой!»

Мальчику скучно, перед мальчиком долгое ереванское лето. Вот что он мне рассказал, когда мы лучше с ним познакомились:

— Вчера я на крышу залез, а внизу мать варенье варила, я сидел на крыше и в варенье камнями кидал.

— И чем это кончилось?

— Как чем? Пришел отец. «Арсен, говорит, если ты не перестанешь кидаться камнями, ты больше мне не сын». — «Хорошо», — сказал я. Я слез, высыпал три пачки соли и две пачки синьки в бассейн и сделал море. Отец увидел и говорит: «Арсен, когда вырастешь большим, станешь моряком?» — «Зачем? — сказал я. — Моряки плавают далеко в море, а я хочу жить только в Ереване».

Ереван. Проходил по окраинным горским улицам — кричали мальчишки в спину. Спускался в город — в центр, на площадь с дворцами из розового туфа — стиль великой эпохи, на площади парады...

Проходил по площади мимо фонтана, увидел себя в зеркале национальной галереи, таким и запомнил — в широких сандалиях на босу ногу, в ковбойке-распашонке, с монгольским мрачным разрезом глаз, — и пошел дальше на коротких и толстых ногах...

...Усмехнулся и поднялся — туда, в галерею; там было то, что осталось от тех, кто умер, кто жил, кто любил, чей дух витает на этих полотнах; там забыл себя, там в тишине летнего сияющего утра одиноко проходил по залам, шепча грустную молитву им, прекрасным, — с гордостью, что

принадлежу великому народу, с печалью, что сам недостоин быть великим...

Дует теплый ветер, солнце в зените, ишак щиплет траву, морда у него в мухах. Он помахивает хвостом, медленно приближаясь к палаткам — движет его вкусная трава.

Прямо по долине хребты гор; там, где упала тень от облаков, они фиолетовые, где солнце — зеленые...

Тихо звенит справа от меня ручей. Снежное облако ползет по вершине зеленой горы, я под горой; ручей слепит глаза, играет на камнях — то смеется тонко, то прозрачную песню поет, — и так без конца...

На вершине горы сидит чабан-азербайджанец в папахе, в руках у него маленькая пастушеская палочка, голова склонилась над ней.

Спит он или на палочке-флейте играет, а под ним на зеленых сочных лугах рассыпалось стадо баранов...

— Салам алейкум, баба (старик).

— Салам.

Спокойный взгляд, лицо желтое, сухое, нос — как старая слоновая кость.

И опять звенит ручей, блестит на солнце, слепит глаза... И опять дрема неотвязная, сладкая, ленивая...

И тогда приходит музыка, она звучит во мне, я закрываю глаза.

«Я тоскую по осеннему светлому лесу, по зеленому мху, наполненному холодной водой; когда ступаешь — вода заливает разгоряченную от ходьбы ногу; я тоскую по солнечным, пахнущим смолой полянам, по бесконечной череде русских облаков, идущих медленно над равниной, так медленно, как проходит на природе жизнь.

Что я ищу, к чему стремлюсь, о чем мечтаю? Или нет никакой мечты, как и нет времени, а есть остановившееся небо с серебристым снежным облаком, есть снежная гора Матис — блистательна она в голубом небе среди других гор, и мне все чаще хочется оторваться от земли и лететь ей навстречу маленьким мотыльком, лететь, чтобы сгореть в этом жгучем холоде солнца и льда, не оставив после себя и пепла...

Отчего вдруг приходит это — когда хочется любить все: людей, облако, небо?.. Или это сознание, что я умру, или

это стремление уйти куда-то, слиться с шумом горной реки, быть вечным, как вечны тени облаков, идущих по долине?

Не есть ли это стремление к смирению перед смертью, или это лукавый бог природы манит в свою обитель: то смеется, играя на солнечной свирели, то эхом проносится в горах, то шелестит листвой в зарослях ив и шиповника?

И когда это состояние приходит ко мне, мне хочется влезть на гору и, свесив ноги, великаном просидеть тысячу, две тысячи лет, сидеть и смотреть на долину, смотреть, как живут и работают эти древние люди. . .

Я дремлю, я закрываю и открываю глаза — и мне снятся или грезятся эти зеленые горы, а по горам плывут тени от облаков; белые стада, подобно рассыпанной пшенице, стекают с гор в долину, а пастухи на розовых лошадях. . .

И вдруг меня будит ишак печальным криком, и опять я вспоминаю ту, что осталась одна в пустой комнате, ту, что мне пишет: «Образ жизни моей стал приближаться к твоему идеалу: домоседствую с книгами, потому что все время одна и все как-то грустно и думается о прошлом. . .

В Ленинграде стоит хорошая погода, тепло круглые сутки, часто идут какие-то тихие, без ветра, дожди, утром туманно и тепло. . .

Стала я тревожно спать, все снятся мне какие-то подробные сны, которые хочется вспомнить, и никак не вспомнишь. . .

А сегодня мне приснился ребенок. Стоит в кроватке, на ножках пружинит, а во рту у него уже зуб, а я ему цветок показываю и думаю, он должен видеть все красивое. . . А он как хватанет его в кулачок и весь измял, а я думаю, что вот он уже маленький варвар, ведь он инстинктом должен понять, тронуть тихонько, осторожно. . .

Может, в этом во всем есть что-то хорошее, потому что, когда я вспоминаю это, я улыбаюсь. Я чувствую, что и на самом деле я иногда бываю счастлива».

Музыка, она звучит во мне, она звучит во мне неотрывно, и тогда я понимаю: среди истин самая прекрасная истина есть любовь.

Что же это такое?

Я ем шашлык, который мне жарят местные горцы, я пью самогонку из винограда и, сладко отрывивая и вытирая руки о штаны, взбираюсь на ишака.

Ишак кричит, орет, по-детски плачет, что-то в перерывах между криками «иа-иа» скрежещет у него в горле, словно это лопнувшая патефонная пружина, — и ни с места.

А я сижу на нем и думаю про себя, внутренне содрогаясь от радости: «Какое умное восточное животное. Не случайно оно избрало те народы, которые внесли немалый вклад в историю и культуру всех народов. Не случайно еще на первобытных ступенях человеческого движения возникло это содружество восточного человека и ишака».

Вдруг один из горцев подходит ко мне.

— Хачатур, — говорит он ишаку, — Володя-джан хочет ехать. Почему не едешь? Вуэй, нехорошо.

И он с силой опускает свою коричневую руку на пепельно-серый зад ишака.

Ишак вздрагивает и, огласив долину раздирающим душу криком, делает первый скачок — я подаюсь телом вперед; ишак делает еще скачок — я подаюсь телом назад, и вдруг он бешено начинает скакать по долине, отбивая мне зад.

И тут я начинаю истошно орать.

Я ору, ишак орет, мы несемся по долине, ошметки грязи и помета следуют за нами; горы мелькают, как дома улиц из окна автобуса.

Вдруг ишак делает резкую остановку, и я через голову лечу вниз, а он, почесав брюхо левой задней ногой, спокойно возле меня щиплет траву...

Я лежу на земле и постанываю от боли и обиды, слезы текут по моим похудевшим от тяжелой и нерусской жизни щекам.

Моментально ко мне сбегаются горцы. Они припрыгивают вокруг меня, что-то кричат, то и дело поднимая правую руку к виску. Один из них, лукаво улыбаясь, помогает мне подняться с земли.

А горцы продолжают вокруг меня истошно орать, вскидывая вверх руки.

— Ара! — кричат они. — Чэ!

Тот, что мне помог подняться, говорит:

— Володя, как дела?

— Хорошо, — говорю я, припадая на одну ногу, мысленно проклиная ишаков всего мира, в том числе и себя.

— Больно? — спрашивает тот улыбаясь. — Зачем падал?

— Как зачем? Как зачем? — кричу я вне себя от ярости

и тоже вскидываю руку к виску. — Плохой ишак. Очень плохой.

— Хороший ишак. Самый хороший, — говорит он мне. — Ты зачем назад сидел? Надо сидеть вперед.

И тут собравшиеся вокруг меня снова начинают что-то долго орать и препираться по-своему, где «чэ» и «ара» переменяются.

— Что они говорят? — спрашиваю я.

— Они говорят: чужой человек приходил, ишака брал, ишак скакал в гор, человек ишаку ухо резал, ишак плакал, человека бросал, — посмотри, у ишака один ух.

Я посмотрел — и в самом деле у ишака было одно ухо.

«Что же это такое? — подумал я с грустью. — За какие прегрешения судьба посадила меня на одноухого ишака? А может быть, это провидение определило мне это место и ни о каком прегрешении не может быть и речи?»

В глубоком унынии стоял я, опустив голову долу, а вокруг меня молча стояли горцы. За три тысячи километров, один, без друзей и близких, без любимой жены, с сознанием непричастности к их жизни — я был поистине одинок.

«Один, всегда один», — так думал я и между тем шел по долине.

Горцы, чуть приотстав, молча шествовали за мной.

Вдруг я остановился, увидев прекрасный, голубого, небесного цвета цветок — незабудку.

«И ты, мой друг, здесь один, без друзей и близких, — подумал я и склонился над цветком. — Как одинокий колючий кустарник в пустыне, пьешь ты свою влагу из горных расщелин, чтобы потом, неизвестно когда, одиноким сойти в могилу».

Горцы тоже остановились и, собравшись в кружок, заболтали, закивали головами, разом прокричали что-то, разом вскинули вверх руки, а потом вдруг разбежались.

«Станный народ, — подумал я с грустью, поднося к носу сорванную незабудку. — Очень странный: ишаки, помидоры, сопливые дети — много детей, десять человек детей...»

Когда я подошел к горе, я увидел, что разбежавшиеся горцы стекаются ко мне и кто тащит баранью ногу, кто бутылку водки, кто помидоры, кто перец.

Мы быстро разложили костер, надели на стальные прутья баранье мясо — и через несколько минут шашлык был готов.

Один из окружавших меня протянул мне завернутый в лопух, чтобы не обжечься, конец стального прута.

— Кушай, — сказал он. — У нас все так кушают. Водку пьют и кушают.

Мы пили и ели, а потом поехали на ишаках в селение и там пили и ели, и я уже не помню, как я заснул, как я добрался до своего «дома».

Помню, я еще долго повторял, долго мне еще слышалась отдаленным чудесным голосом армянская пословица: если я умираю за столом, почему ты не умираешь?

Во сне мне снились пьяные турецкие ночи, мне снились стамбульские кабаки, где восточные женщины, смуглые и тонкие, пели надо мной, смеясь животом и бедрами, пели прекрасными голосами сирен.

И под это пение, под эти речи я засыпал.

Горный перевал. Тишина. Только где-то в горах время от времени слышны взрывы, прокатывающиеся громом...

Проехала легковая машина, из радиоприемника — голос женщины, как будто голос кружащейся одинокой чайки над морем:

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас...

Встал и пошел. Нужно до света перевалить через перевал.

Шел. Солнце спускалось все ниже и ниже. Тень поднималась по склонам гор все выше.

Внизу все смолкло, а там, наверху, на солнце неумолчно стрекотали кузнечики. Песок и мелкие камни сыпались неожиданно с обрывов, нависающих на шоссе.

По дороге попадались и большие камни, говорившие о горных обвалах. Золотая змейка прыгнула из-под ног, отползла и быстро исчезла в расщелине, в последний миг лизнув хвостом по гладкому камню.

Усилился ветер. Стало быстро темнеть. Когда взошел на перевал, ветер свистел в ушах.

Темнело. От заката по земле шел неяркий белый свет. В такие минуты в сияющем небе летящий самолет горит ярким серебряным светом утренней звезды.

Показался над горой серп месяца. Пропылило по шоссе вечернее стадо. Пастух на лошади, две собаки и рядом мальчик на ишаке.

Они смотрели на закат, где пылала и малиново рдела, остывая в вечернем прохладном воздухе, вершина горы Арарат.

Лиц не было видно. Пастух что-то сказал мальчику. Мальчик тихо ему ответил, сверкнув нагорным светом ангельски прекрасных глаз. И мне показалось — мы над миром.

Потом стало совсем темно. Небо стало зеленым и близким. Высыпали звезды. Крикнула где-то в темноте женщина.

Прибавил шагу. Ветер мешал идти. Было страшновато и думалось почему-то о волках. Внизу под ногами светилось огоньками селение.

Желтые фары вырвались из-за поворота и осветили. Поднял руку. Машина остановилась.

— Куда? — спросил шофер.

— В Базар-чай.

— Садись, мы в Нахичевань.

Взобрался на мягкое сиденье. В кабине были двое. Тот, что сидел рядом с шофером, подвинулся.

Машина тронулась и медленно стала спускаться вниз с перевала. Ехали молча. Через полчаса въехали в селение. Когда протягивал шоферу деньги, он отстранил мою руку в сторону и засмеялся.

— Чэ, чэ, — сказал он. — Не надо.

— Спасибо, — сказал я. Мне было приятно. Я чувствовал, что ему хотелось мне сделать приятное, вот поэтому мне и было приятно.

Шофер взмахнул рукой, хлопнула дверца, заревел мотор, вспыхнули фары, зажегся огонек папиросы в темноте кабины — и я остался на дороге в селении, напротив дома, где меня ждал ужин и чай.

Нахичевань. Обжигающий в долине ветер. Тополя — раины — в небо.

Воскресный день. Муэдзин, кричащий с высоты мечети, а над ним серебряный месяц со звездой. . .

Центр Нахичевани на возвышении: вдали золотистым заливом на солнце блестит Аракс...

В центре — дома, напоминающие провинциальный русский город: с магазинами, парикмахерскими, с городским садом, с дворцом культуры, со стенными газетами и бильярдом в городском саду...

Базар почти под самой мечетью. На базаре — золотистые дыни, лежащие в пыли, арбузы зелеными горами, а на прилавках — янтарный виноград, помидоры, красный перец, баклажаны, а за прилавками — усатые смуглые головы, тонкая желтая кость — мусульманский Восток...

Проходил по базару, проходил по жаркой улице, ведущей в гору к площади, на площади — чайхана.

Чайхана: столики перед входом и столики внутри, в двух полутемных комнатках; вспомнил Торжок, детство, закусочные, колбасные витые шкурки на столах...

Чайханщик наливал из царских трехведерных самоваров, предварительно влив в них кипяток ведром, чай густой, крепкий, душистый — такого не заварить, не купить на родине...

Смуглый тонкий юноша ловко сновал между столиками, поднося в стаканах чай, стаканы стояли на блюде, в другом блюде был наколот сахар мелко-мелко, так кололи в свое время в русских деревнях, сахар — белее белых блюдец.

Юноша улыбнулся, улыбнулся и я. А потом подсел к моему столику, спросил, кто я и откуда.

И снова вскочил и, ловко лавируя между столиками, подлетел к одутловатому чайханщику, где схватил из-под самовара два стакана на блюде; взмахнул руками, словно вольная птица, и почти на пуантах, с приподнятыми руками, в одной из которых было блюдо с двумя стаканами чая, полетел между столиками.

Резко остановился на бегу, взмах руками — и блюдо с грохотом падало на стол, звенели стаканы, при этом из стаканов не проливалось ни единой капли чая...

И снова к чайханщику, а чайханщик, одной рукой держась за кран самовара, туповато смотрит на парящую струю.

Выпил два стакана, потом еще два, потел: ничего нет более приятного, чем потеть в чайхане при сорокаградусной жаре.

Юноша то и дело подсаживался, и не захотел, не брал денег за чай, с трудом уговорил...

Спустился с холма вниз, где глинобитные заборы по двум сторонам улицы, а за заборами сады, дома, окон почти не видно — чисто азербайджанский район.

Шел по улице, если, конечно, можно так назвать этот коридор, заглядывал во дворы, все казалось, все думалось — где-то должен быть гарем: семь жен и двадцать семь детей.

Встретил у двери в одном из дворов старуху — разговаривала с молодой. Проходил мимо — старуха прикрыла лицо рукой...

Заглядывал за заборы, и только в одном дворе три молодые женщины увидели, засмеялись чему-то, а одна из них махнула рукой...

Улыбнулся, взмахнул тоже и прошел мимо.

И опять поднимался бесцельно в гору, отягченный жарой, объевшийся зеленью и бараниной, опившийся чаем, потев и проклиная всяческий туризм...

И снова ходил по пыльным раскаленным улицам, заходил в магазины, пил чай, ел восточные сладости — думал или не думал, но было в душе томление и одно было желание: поскорее в гостиницу, где лег поверх одеяла на влажные, истонченные от времени простыни...

И тогда тоска по дому, по родине своей захватила, тогда казалось — лучше умереть вдалеке от дома, чтобы дома остаться навсегда живым...

И снова встал и пошел, спустился и поднялся: улица, чайхана, два стакана — сначала, два — потом...

И ночь в душной гостинице стандартного типа, с ревматическим, почти парализованным стариком, который всю ночь жаловался, ныл, плакал и постоянно вставал с постели.

Вот судьба: брошенная дочерью ревматический старик (дочь замужем, живет в Баку), пробирающийся в дом престарелых, из милости живущий в гостинице, и пенсия есть, конечно, — кто в наше время не имеет пенсии, — но разве дело тут в пенсии?...

И опять под звон цикад, в душную звездную ночь пришла тоска по дому, по родине и по той, что осталась одна в ленинградской квартире, что виделась стоящей у окна...

И захотелось закричать так, как кричали (однажды слы-

шал) верблюды, тоскуя по самке, — шли и кричали, и этот крик, жалобный и протяжный, напомнил мне крик доисторических птиц — думалось, они так кричали. . .

К утру пришла прохлада, к утру, засыпая, чувствовал себя маленьким мальчиком: «Ах, Вовик», — сказала мне бабушка, положив мне на голову свою теплую руку.

И уже улыбка одними губами, губами моей матери, и уже долгий и спокойный сон.

Вот любовь и даровала успокоение.

СТАТЬИ и РЕЦЕНЗИИ

«Звездинцы»

Впервые вместе имена Василия Лебедева, Михаила Глики, Алексея Леонова, Валентина Тублина, Валерия Мусаханова прозвучали, когда шел III съезд писателей РСФСР...

Первым из этой пятерки напечатался Алексей Леонов. Это было в 1962 году: «Звезда» опубликовала тогда его рассказ «Яблоки падают». Но к счастливому для автора дню вела дорога длиною в десятилетие. Леонов приехал со своей родной Орловщины в Ленинград, мечтая стать писателем. За плечами было бригадирство в колхозе, служба в армии, учеба в ремесленном училище, готовившем сталеваров. Начал Леонов с поисков работы по объявлениям. Работу он нашел: был слесарем-сантехником, электромонтером, машинистом башенных кранов на стройках города, плавильщиком на вакуумных печах в одном из научно-исследовательских институтов. Вечерами ходил в школу рабочей молодежи, учебу пришлось начать с седьмого класса. Для писательства оставались лишь ночи. Другого времени не было.

А писал он о том, что было ближе и дороже всего, — о родной земле, ее запахах и ветрах, о людях, выращивающих хлеб. Средняя полоса России — места Тургенева и Толстого «приходили» тогда в маленькую комнату Леонова. В его рассказах ощущался запах клевера, гречихи, скошенных трав. Крякали утки, горланили гуси, в перелеске отзывалось эхо... А за окном ленинградский дождь стучал об асфальт...

Примерно в том же 1962 году на станции «скорой помощи» появился новый шофер (надо сказать — шофер первоклассный, знающий, любящий и чувствующий машину) — Валерий Осипов. Его биография была сложной, неровной, изломанной. В ней был тот опыт, который бывает нечасто: Валерий знал, что такое Север, Камчатка... Однажды, когда он ехал возле канала Круштейна, наперерез бросился, прося подвезти, человек в морской форме. Было скользко, и Валерий с трудом затормозил и от этого разозлился на моряка. Правда, чувство раздражения сменилось заинтересованностью и любопытством, когда тот сказал: «Я — писатель». «Ну да? — не поверил Валерий. — Я, может, тоже писатель. Есть у меня кое-какие записи. Могу показать». Так у Виктора Конецкого оказалась рукопись. Рукопись разругал, но советовал Валерию продолжать писать.

Он продолжал. Написал повесть о шофере. «Два дня из жизни Климova». В качестве псевдонима взял фамилию матери и с тех пор стал подписываться — Мусаханов.

В доме Конецкого, куда Валерий Мусаханов теперь часто приходил, он встретил сверстника, тоже начинающего работать в литературе, — Михаила Глинку.

Михаил рос без родителей. Мать умерла, а отец погиб под Колпино в 1942 году и был похоронен в братской могиле. Через двадцать лет после его смерти друг отца передал Мише тетрадку со стихами, написанными Сергеем Глинкой. Так они «встретились» — отец и сын почти одного возраста, никогда не печатавшийся поэт и начинающий прозаик. Сын к тому времени закончил сначала Нахимовское, затем Высшее военно-морское училище подводного плавания. После увольнения в запас работал в Институте полупроводников, а вечерами писал. В 1964 году он отнес в жур-

нал «Звезда» рассказ «Шлюпки», и тот вскоре был опубликован.

Здесь же годом раньше напечатал свой рассказ «Ильин и Ганька» Василий Лебедев.

Есть много общего в судьбах совершенно разных людей, если эти люди — сверстники. Как и у Глинки, у Василия Лебедева отец погиб на фронте, а мать умерла. И тогда в большую семью Лебедевых, живших в Калининской области, пришла подруга матери — простая и удивительная женщина Анна Егоровна Белякова — та самая, которая потом, когда Василий стал писать, послужила ему прообразом тетки Аксиньи в повести «Маков цвет».

Василий рано пошел работать, ему было пятнадцать, когда он стал поваром-кондитером. Мальчишка стеснялся своей профессии, и когда у него появился паспорт — ушел на гвоздильный завод. Потом он не раз еще менял специальность и заводы, пока не пришло понимание, что свое, единственное дело — писательство. На пути к нему Лебедев был поваром, гвоздильщиком, инструктором по физкультуре, служил в санбате, а после окончания филологического факультета университета преподавал русский язык и литературу, был директором сельской заочной школы.

Далеко не сразу нашел себя и Валентин Тублин.

— Не могли ли мы с вами в одно время учиться в Нахимовском? — спросил Валентина Тублина Михаил Глинка, когда они впервые разглядывали друг друга.

— Могли, — сказал Валя.

Он действительно был нахимовцем, но — недолго. Потом он часто менял школы, а кончал вечернюю, работая в это же время учеником слесаря. Когда Тублин был студентом Инженерно-строительного института, он прочел объявление, которое приглашало всех, кто желает стать рабкором «Смены», прийти в назначенный день и час в редакцию на первое рабкоровское занятие. Валентин пришел и начал писать заметки, чаще всего о спорте, которым очень увлекался. Через некоторое время его стала печатать не только «Смена», но и газета «Советский спорт». А потом студенческие годы кончились, и Тублин уехал бог знает в какие глухие места прокладывать дороги...

Через несколько лет Валентин сменил профессию. Из спортсмена-любителя стал мастером спорта, тренером по стрельбе из лука. Жизнь, казалось, уводила от литературы.

Но как бы круто она ни заворачивала в сторону, а привела все же в редакцию журнала «Звезда»: именно сюда Тублин принес свой рассказ «Пока не пришел пароход». Он был одобрен и напечатан.

Первые произведения всех пятерых были биографичны. Даже профессии героев совпадали с профессиями авторов: у Тублина это были строители дорог, у Глинки — военные моряки, у Мусаханова — шоферы, у Лебедева и Леонова — колхозники. Они писали о том, что хорошо знали, сами наблюдали, в чем лично участвовали.

В ту пору в «Звезде» заведовал отделом прозы А. А. Хршановский. Он прочитывал то, что приносили молодые авторы так быстро, будто только их и ждал. Его отзывы были всегда определенны: «да» или «нет». Чаще «да». А уж если Хршановский говорил «да», это значило, что рассказ вскоре можно будет прочесть на страницах журнала. Так оно и было. Если посмотреть «Звезду» начиная с 1963 года, пожалуй, никто так активно не печатался, как те прозаики, о которых идет речь в этом очерке. Да и сами они стали бывать в редакции все чаще и чаще. Логично и естественно выросло при журнале «Звезда» литературное объединение.

Собирались в гостиной за длинным овальным столом. Читали друг другу только что написанное, а потом обсуждали, следуя правилу: говорить правду в глаза. Руководителем литературного объединения был Александр Смолян.

Постепенно из рассказов и повестей, прошедших предварительную публикацию в «Звезде», стали складываться сборники. В конце 1967 года вышла книга М. Глинки «Улицы ведут к морю». В 1968 году появились «Яблоки падают»

5
1972

А. Леонова и «Тугая тетива» В. Тублина. На следующий год — «Маков цвет» В. Лебедева и «Маленький домашний оркестр» В. Мусаханова.

Книги свидетельствовали о такой несомненной одаренности авторов, что все пятеро были приняты в Союз писателей.

Первые годы они были только «звездинцами»: куда бы они ни «отправлялись» — на Байкал, как Глинка, или в глубь веков, как Тублин, — написанное прежде всего приносили в журнал, который открыл их читателям.

Общим у них был не только «порт приписки» и не только страстная увлеченность литературой: их объединяло детство, пришедшееся на войну, трудные послевоенные годы, когда все пятеро были школьниками. Почти ровесники, они формировались под влиянием одних и тех же политических и общественных событий, но личный опыт сделал их совершенно непохожими друг на друга в творчестве. В литературу каждый принес свою боль, свои размышления о пережитом и свою манеру писать.

...Однажды в квартире М. Л. Слонимского — старейшего ленинградского писателя, знатока древней истории — раздался телефонный звонок. Звонили из издательства «Советский писатель»:

— Михаил Леонидович, один из начинающих авторов принес повесть «Испанский триумф». Это — о Юлии Цезаре. Не могли бы вы посмотреть?

— Сколько лет этому автору?

— Тридцать с небольшим.

— Не верю, что современный тридцатилетний человек может написать о Цезаре.

С большим трудом Слонимский согласился посмотреть рукопись Валентина Тублина, а через некоторое время вернул ее с блестящим отзывом.

«Ранним декабрьским утром 708 года от основания Рима одинокий всадник пронесся по Яникульскому мосту через Тибр...» Повесть начиналась четко, чеканно, как стук копыт по гулкой мостовой. В ней рассказывалось о победе Цезаря над Помпеем. И о том, что произошло после: о благодарственных молебствиях в честь победителя, пожизненно присвоенных ему всевозможных титулах и званиях, лавровых венках, статуях из золота и слоновой кости. Завладев вниманием читателя, автор вел к одному, казалось бы,

незначительному событию, маленькому эпизоду, ставшему, однако, кульминационным: народный трибун Понтий Аквила во время испанского триумфа не встал, чтобы приветствовать Цезаря. Не встал, напоминая своей демонстрацией о попоранной республике и утраченных республиканских правах. Не встал, протестуя против всеобщего раболепия, преклонения, духовного рабства.

События, удаленные от нашего времени на две тысячи лет, передавались Тублиным с такой художественной правдой, что казались документально точными.

За «Испанским триумфом» последовала написанная емко и иронично историческая повесть «Дорога на Чанъань».

О великом китайском поэте Ду Фу почти нет сведений. Известно лишь примерное время жизни: V—VII века н. э. Но как зрими все страницы «Дороги на Чанъань». Как насыщены они подробностями — живописными, осязаемыми. Как индивидуализированы все — от мала до велика — действующие лица этой трагедии. Но трагедии ли? Разве это трагедия, что гениальный поэт умирает нищим попрошайкой? Ведь главное то, что народ поет его песни...

Повесть «Дорога на Чанъань» — о потере себя и о своем осознании. О призвании и служении народу. О взаимоотношениях народа и его поэта.

Если Тублина интересуют люди известные в истории, то Валерия Мусаханова привлекают сложные, неровные, еще только формирующиеся личности. Его герои не героичны. Они терпят поражение, даже крах, но, проходя через это, мужают сами и несут добро другим. Таков главный герой повести Мусаханова «Мосты». Этот много переживший человек рассказывает о своей первой любви, трогательной привязанности легкоранимого человека, отвергнутого, сломленного, но через годы пронесшего свое чувство и теперь поющего гимн Любви и любимой.

В этой повести, как всегда у Мусаханова, один из героев — наш город, его сумеречные улицы, тусклое, похожее на алюминий небо, комнаты, наполненные странным сиянием, похожим на блеск новых, еще не захватанных монет, городские мосты, каналы, фонари.

«Всякий наличник на фасаде дома, мимо которого ты идешь, каждая пилястра, любой кусочек гранита странно волнуют и размягчают душу», — пишет Мусаханов.

В его произведении и тревожное ожидание счастья, и

крушение надежд, и мудрое осознание происшедшего. Поэтичная и прозрачная, как белая ленинградская ночь, чистая, как роса, повесть эта звучит словно элегия.

.. Годы идут. Вышла новая книга Михаила Глинки «Берег перемен». Как объяснил сам автор: «Берег — не только граница воды и суши. Это как бы пограничная полоса между вчерашним и сегодняшним, между сегодняшним и будущим».

«Берег перемен» — книга, рожденная поездками. Где только не побывал Глинка в последние годы: на Байкале, в Сибири, на Северном рыболовном флоте и даже, находясь на атомной подводной лодке, принимал участие в крупнейших маневрах последних лет, получивших название «Океан».

«.. В путешествии контакт с людьми знакомыми сведен до минимума, и перестаешь отражаться в зеркале, которое называется Привычный Круг.

Поездки. .. Я что-то ими отмерял. Я так много ездил, что само меняющееся ощущение дороги стало для меня зарубками возраста и размышлений. Передвижение по земле приобретало разные смыслы.

Сначала это было открытием Зазеркалья. ..

Потом я стал взрослеть, и Товарищ Опыт время от времени давал мне по лицу, когда я ждал удара в затылок. И тогда нужно было лечиться, а путешествия обезболивали.

Потом был жадный километраж — колесить, не пропускающая ничего. ..

Но время от времени остановки необходимы.

И тогда садишься на край канавы и нюхаешь подорожник. Это неверно, что он не пахнет», — так написал Глинка в своей книге, навеянной путешествиями, наполненной размышлениями.

.. В последнее время вышли новые книги и у Алексея Леонова: «Ходят девки» и «Птичий сторож». В них — преданность автора хлебопашцам и садоводам, мужикам и бабам, выдержавшим тяжелейшую из войн. В них — низкий поклон русской земле, в обращении к которой герои черпают силу и стойкость. Герои Леонова по-прежнему живут на Орловщине. И сам он каждое лето проводит там.

.. Недалеко от Ленинграда на пригорке у озера стоит бревенчатый дом. На старом письменном столе — портрет Льва Толстого — любимого из писателей. На шкафу — кипы

книг, где в удивительном соседстве находятся Монтень, Бунин, Андреев и... школьные учебники по русскому и немецкому языкам. Это соседство кажется странным, пока не вспомнишь, что хозяин дома Василий Лебедев еще недавно работал учителем. Здесь же среди книг его недавно вышедшие сборники «Высокое поле» и «Жизнь прожить».

Из пятерки «звездинцев» Лебедев, пожалуй, самый широко рецензируемый: статьи о его творчестве печатали многие газеты и «толстые» журналы. Он — лауреат премии Ленинского комсомола, получивший ее за «Маков цвет».

Все, что пишет Василий, добротное, как дом, который строят своими руками. Все ладно, прочно и стоит на фундаменте, который называется знанием. Его герои — его знакомые. Он рос и жил среди них, а став писателем, не только не отпочковался, но наоборот — еще больше погрузился в их дела, заботы, нужды.

...Идет постоянное соприкосновение с человеческими судьбами. Прошедший осмысление жизненный опыт становится книгами. А город на Неве, где жили и творили великие русские писатели, всем своим прошлым учит служению Литературе...

Г. СИЛИНА

Не краской, не кистью

Богата поэзия, выразительны ее средства. Но ей этого мало, она тянется к мелодии — возникает песня, тянется к живописи — обогащается цветом.

Сами стихи всегда выдадут того поэта, кто в душе еще и живописец. Известны стихи о Веласкесе, о фламандской школе живописи, о Иерониме Босхе у Павла Антокольского. У Ильи Сельвинского есть своего рода маленькая острая рецензия в стихах на картину Тинторетто «Сюзанна в бане», а также точнейшее воспроизведение техники и идейной сути полотен Анри Руссо.

Арсений Тарковский и Александр Межиров — поклонники живописи Ван-Гога. Тарковский замечает схожесть своей строки с мазком Ван-Гога, переживая его судьбу, как свою. Межиров, проникая в трагедию художника, говорит о «холсте и краске», об «интенсивном цвете» уже как художник.

«Желтый цвет безумного Ван-Гога, его бессмертный, интенсивный цвет, стал музыкой», — пишет Межиров. Он тоже замечает эту связь искусств: поэзия — живопись — музыка!

Цвет картин Ван-Гога привлекает и Александра Кушнера: «как желт его автопортрет!» Но его занимают темы картин, их композиция, воздействие их на зрителя. Кушнер очень тонко подчеркивает индивидуальность, неповторимость мастерства художника вопросом: «Зачем в кафе его полночном стоит лакей с лицом порочным...», «Зачем желтый стул поставлен так, что навек покой отравлен?..»

Эль Греко прельщает поэта серебряной краской. Но основное в его картине «Похороны графа Оргаса» видится Кушнеру в том, как художник кольцом размещает статистов, как кладет Оргаса в гроб «к небу лицом».

О волшебстве композиции этого мастера Кушнер говорит:

Нам со спины изобразит
Художник девушку, но сбоку
Недаром зеркало висит:
В нем профиль виден, слава богу, —

и потом сравнивает этот композиционный прием с поэтическими приемами.

Четкая композиция, лаконизм древнерусской иконописи, ее чистые краски — «синеок, как образа» — влекут Андрея Вознесенского:

За рулем влюбленные —
как ангелы рублевские.
Фреской благовещенья,
резкой белизной
за ним блещут женщины,
как крылья за спиной.

В поэзию Вознесенского Рублев врывается неожиданно, — в стихотворения, посвященные современным темам.

Не автор становился перед картиной, а картина как бы всегда у него перед глазами.

Ни одного имени художника не упоминается в стихах Николая Заболоцкого. Но он приглашал художника «вообще» в соавторы, когда описывал орешину в сентябре, вспыхнувшую, словно девушка:

Вот теперь, живописец, выхватывай
кисть за кистью и на полотне
золотой, как огонь, и гранатовой
нарисуй эту девушку мне.

Правда, поэт замечает, что подлинная радость русского пейзажа «даже не каждому художнику видна». Сам он ее чувствовал. Заболоцкий писал в автобиографическом очерке: «Чудесная природа... никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих моих стихотворениях». Основные излюбленные краски у Заболоцкого — золотая, серебряная, синяя, белая, багровая — взяты у русской природы.

К поэтам, активно живописующим словом, принадлежал и Николай Рубцов. Его пристрастие к живописи осталось, быть может, тайной и для него самого: никто из друзей не слышал, чтобы он говорил о живописи. Но в его стихах то и дело встречаются, казалось бы, только миру изобразительного искусства принадлежащие слова: «панорама», «пейзаж», «картина», «заштрихован».

Можно заметить, что первостепенным для себя поэт считал острое видение. В одном стихотворении он просто «видит», в другом — «смотрит в окно», в третьем — «привычным взглядом созерцает».

От стиха к стиху вырисовывается любимая палитра Рубцова, она близка есенинской. Тут и много раз повторяющийся зеленый и голубой, желтеющий и желтый, белый и черный, серебриано-янтарный и золотой, бирюза и багрянец.

Для Рубцова, как и для живописца, важно освещение: свет — тень. Он выбирает нужные ему оттенки черного цвета — асфальтово-черный, черно-коричневый, иссиня-черный. В стихах его слова-синонимы «мгла», «мрак», «потемки», «сумерки» имеют различия. И свет у него разный: «лунный свет», который «разливается», «закатный пламень» и «холодный пламень» грозового неба, «фонарный тусклый свет»

и «зеленый болотный», и блуждающий свет «неясных небесных светил».

«Глаза свои мучая тьмой», Рубцов, как Куинджи, сумел разглядеть сквозь разбегающиеся тени, туман и дым огни в реке, запоздалый в поле огонек искрящейся папиросы, луч окошка и желтый рой огней поезда.

Нет ни одного стихотворения в его книге «Сосен шум», где бы не было пейзажа. Иногда это только «окно, светящееся чуть...». А то вдруг сразу — «и бирюза, и огненные перья ночной грозой вымытых небес». О каждом времени года — иное, иными красками. О весне кратко: «в лучах весны». О лете: «желтеющие зданья меж зеленеющих садов», «город зеленый, дворик зеленый». Об осени щедро, разнообразно: «поблекшие травы», «роща золотая», «желтые поля», «багряный тихий лист», «сон золотой увяданья», «в рассветном воздухе пылает пламенем мятежным наследник розы — георгин...» О зиме скупее: «в саду ледяные акации под окном освещенным горят», «заштрихована ночь снегопадом», «свет соседнего барака еще горит во мгле снегов».

Рубцов делает видимым даже время: «дни рекой зеркальной потекли» — и душевное состояние: «овладевает светлая печаль, как лунный свет овладевает миром». Обращаясь к прошлому, к истории, он снова использует этот прием: «Чингисхана сумрачная тень над целым миром солнце затмевала...» Стихи Николая Рубцова оставляют чисто зримые впечатления яркости и многоцветности.

Измерима ли многоцветность стиха? С недавних пор стало возможно сравнивать цветовую насыщенность стихов разных поэтов. С. Соловьевым для подобных исследований введено числовое определение. Числитель — количество упоминаний того или иного цвета, а знаменатель — количество печатных листов произведения.

Сравним стихи нескольких авторов, принадлежащих одному поэтическому поколению.

Например, цветное число (не по отдельным цветам и оттенкам, а в целом) у Горбовского — 19, у Рубцова — 13, у Ахмадулиной — 10, у Вознесенского — 5. Не удивительно, что стихи Вознесенского оставляют впечатление графики, а стихи Рубцова — этюдов, написанных маслом. Но интересно, что живописные детали рассыпаны у Горбовского по строкам, цельного пейзажа он рисовать не хочет, несмотря

на большую цветовую насыщенность и более богатую палитру: у Горбовского использовано 16 оттенков цвета, у остальных по 11. Любимый цвет поэта — синий, если синий и голубой считать оттенками одного цвета, потом — белый и зеленый, потом — серый и красный.

Рубцов всем цветам предпочитает желтый, потом зеленый, дальше белый и, наконец, — черный. Красный он не упоминает. У Ахмадулиной на первом месте — белый, второе делят синий и зеленый, третье — красный и серебряный. Серый цвет поэтесса не любит.

Вознесенский работает белой, черной и красной краской.

Можно было бы подробно рассматривать стихи и с точки зрения освещенности — поэзия Николая Рубцова интересна для исследования в этой области. Но мы еще не исследуем, а только ненадолго зашли на небольшую выставку поэтов-живописцев, каждый из которых — неповторим.

И. СЕРГЕЕВА

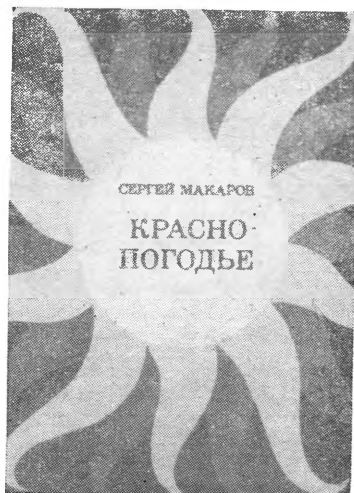
«Русь моя, краса моя...»

(Сергей Макаров. Краснопогодье. Стихи. М., 1971)

Мы идем и любимся зеленым нарядом города. Подходим к устремленному в могучем порыве вперед памятнику Ленину на площади у Финляндского вокзала. Мы смотрим на памятник и вслушиваемся в стихи Сергея Макарова. Он читает их мужественно с распевно-лирической интонацией:

Тебя, земля, не вытоптали кони,
Не задушил песками сухостей.
Когтистые, разлапистые корни
Не высушили жадностью своей.
Тебя давили грузные колеса,
Калили войны бешеным огнем,
Но спелостью набрякшие колосья
Встречают нас доверчивым зерном! . .

О чем эти стихи? Конечно, о земле, о Родине, о Ленине. В любом произведении поэта чувствуется любовь к Отчизне.



Он умеет находить свежие слова и образы, глубокие и волнующие обобщения, создавать проникновенные картины прошлого и настоящего.

Десять лет назад была опубликована его первая подборка стихов на страницах «Огонька». С тех пор творческие дебюты С. Макарова в многочисленных «толстых» и «тонких» литературных журналах все более и более утверждали его поэтическое дарование. И вот перед нами его первая книга «Краснопогодье». Ее сразу заметили. Раскупили — тираж небольшой: всего девять тысяч. Читают. Она

вызвала положительные отзывы в прессе и поставила имя Макарова в один ряд с известными читателю именами современных лириков.

Поэты старшего поколения, отмечая тематическую идейно-художественную значимость стихов С. Макарова, обратили внимание на его мастерство и лексику. Намеренное употребление автором народно-поэтической речи говорит о его стремлении к национальным формам литературы. Поэт правильно считает, что обращение к русской истории, к преданиям, сказкам, былинам, песням приводит к обогащению и освежению современного поэтического языка. Он убежден, как пишет в стихотворении «Корни», что «если мы о корнях позабудем — будут мелкими наши плоды».

Именно здесь поэт черпает глубоко патриотические темы для целого ряда своих стихотворений («Предок», «Чудо-юдо семиглавое...», «Сила», «Песнь про Стеньку Разина и княжну»). Он напоминает современникам о том, как наши предки — витязи, былинные богатыри, легендарные народные герои ратовали во все времена за свободу и правду на Руси, проливали кровь и складывали свои буйные головушки за правое дело:

Чудо-юдо семиглавое,
Не мути раздолье рек!

Я стою за дело правое,
Крепкорукий человек!
Коль до этого вот камушка
Ты дойдешь по-над ручьем —
Я, по имени Иванушка,
Изрублю тебя мечом! . .

Воспоминания о деяниях предков вызывают в памяти события из недавнего прошлого. Между старым и новым все время идет переключка. Это и понятно, так как поэт, обращаясь к прошлому, ведет разговор от лица современника: «Верь нам, предок, — твой грозный меч не уронят твои наследники!», «Россия, поплачь, Россия, горючей слезой суровой — еще до грома «Авроры» полтысячи тяжких лет!», «И глазами Саши Матросова на врага глядит Пересвет!»

Стараясь душой прикоснуться к истокам плачей, притчей. . . забытое найти и переосмыслить, поэт не идеализирует феодально-крепостническое прошлое Родины. С ним, так же как и с иноземными поработителями, борются в его стихах народные герои. Тревожась за Родину, Степан Разин говорит:

— Русь моя! В тебе богатства есть несметные,
Урожай удивительно обильные,
Самоцветные камни знаменитые,
Для торговли с иноземцами пригодные;
Почему ж одни — счастливые и сытые,
А другие — несчастливые, голодные?
Горемычная моя Расея, родина,
Встать с мечом в руках на бой не побоялся я,
Пусть же рухнет всенародная невзгодина —
Насосавшаяся крови знать боярская!

Сильную натуру русского человека, независимость его характера, гордость и вместе с тем доброту убедительно воспевает поэт в своих лучших стихах. Показательно в этом отношении стихотворение «Я не забыл», в котором повествуется, как «смерд в порыве гневной боли впервые отодвинул страх», восстав против унижения своего человеческого достоинства. В стихотворении «Люблю гостеприимные селенья. . .» раскрывается широкая душа русского человека, у которого «в глазах, как в солнечных восходах, и в заморозки светится Добро».

Поэт хочет видеть новую Русь «в размахе новизны», счастливой и радостной. К ее людям, их трудам и делам

обращено его творчество. Особым вдохновением, музыкальностью проникнуты стихи, навеянные образами родной природы. Они наполнены солнечным светом, запахами лесов и цветов, пением птиц. Они зовут из душных городов на просторы полей, где «птицы, в клетки никем не пойманные, нам откликнутся, засвистят», а «цветы несорванные души вынесут в лепестках».

В небольшом, композиционно точно решенном стихотворении «Ожидание» поэт настолько выпукло и осязаемо, с обостренным ощущением слова и образа, рисует хорошо знакомую с детства картину осеннего леса, что возникает чувство нетерпеливого ожидания свидания с этим лесом.

Луна зевает, рта не закрывая,
И тьма исполосована зарей.
Веди меня, тропинка зарева,
В осенний лес по голову зарой!
Там пахнет красноликою рябиной,
Дубы стоят по-царски меж деревьев.
Перед рассветом с выси ястребиной
Слетают к лесу звезды, опалев.
Коряг замшелых злобные усмешки,
И кочковатый клюквенный покров.
И розовое блюдо сыроежки
Наполнено росой до краев.
А ветер дунет — листья, словно свита,
Спешат за ним в тягучей синеве...
Глубокий след лосиного копыта,
Размером с ковш, скрывается в траве.
Прощание выкрикивают гуси,
Летят на юг печально, высоко,
А лес молчит, как сказочные гусли,
И ждет веселых, добрых рук Садко.

Духовная близость поэта к природе, к родному фольклору неразрывно связана в его стихах с темой труда. На Первом съезде советских писателей А. М. Горький сказал: «Мы должны научиться понимать труд как творчество». Эта мысль в поэзии С. Макарова воплощается в идее взаимосвязи великих трудов матери-природы и упорного труда человека: «Август-жнивень, с тобою пойдем по зерно, всполошив перепелочьи тайны» («Лето»), «Жарко дышало сено, градом со лбов срывался пот» («Страда»).

Одухотворяющую силу труда особенно убедительно удалось показать поэту в стихотворении «Каменотесы». Его начало суровое, созвучное труду каменотеса, тяжелому и

однообразному, который, казалось бы, должен действовать угнетающе, притупляюще. Однако поэт доказывает как раз обратное. Уже во второй строфе тон стихотворения меняется, переходя в торжественный, и «звуки мужественной музыки» слышатся в «гулком перестуке». Завершается оно строфой, которая заставляет поверить, что человек своим трудом может разбудить душу даже в камне:

Ударь сплеча, сосед мой дюжий, —
Пускай под каменными брызгами
Проснутся каменные души!

Лирика С. Макарова отличается своеобразием, яркостью и метафоричностью. Почти на каждой странице встречаешься с истинно поэтическими находками: «Как рыжий медведь из берлоги, из хвороста вырос огонь», «И солнышка студёные лучи садятся греться на мою ладонь», «В минуты солнечные Русь искрится у нас в зрачках», «И густо перечеркнуты окопы зеленокровой, смелою травой...» Их много, прекрасных находок, в книге. И тем заметнее случайные, недавшие стихи, к сожалению проникшие в нее. Обидно за поэта, когда он «лепит» маловыразительные, банальные штампы:

Из податливых звезд кружева
Рукодельница-полночь связала,
И росой обливалась трава,
Паровоз голосил у вокзала...

Или:

Видел я, уходя на вокзал:
Взгляд у Павла — уверен и светел.
— Будьте счастливы! — им я сказал.
— Будем счастливы, — Павел ответил...

Несколько слащавы не раз повторяющиеся строчки, связанные с поцелуями: «Когда вечерняя зарница поцеловала шар земной...» («Встреча»), «А зиму в холодные губы лохматый костер целовал...» («Он чайник подвесил к треноге...»), «Мне найти бы меч Иванушки, рукоять поцеловать» («Чудо-юдо семиглавое...»), «Дай сделую медвяны губы!» («Песни гусляра»)...

Подобные погрешности обидны в талантливой книге, хотя они и не характерны для творчества в целом молодого поэта. Указывая на них, хочется подчеркнуть главное словами поэта Александра Решетова, сказанными в напутствии

о Сергее Макарове десять лет назад: «Его стихи — не вымученное рукоделие: они живые. Ощущение слова на цвет и на запах, богатая образность — вот те черты, что делают стихи Сергея Макарова поэзией. Так кажется мне. Хочется, чтобы так же показалось многим читателям, чтобы новый поэт утвердился в людской памяти». Сборник «Краснопогодье» показал, что поэт сделал уже многое для этого.

Н. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

Человек шел спиной назад...

Михаил Светлов как-то сказал: «Человек в своей короткой жизни бывает счастлив дважды: в первый раз, когда он слушает сказки, во второй раз, когда он их сочиняет».

Не знаю, можно ли в полной мере отнести эти слова к автору новой детской книжки Олегу Григорьеву, но, несомненно, он испытал радость сочинительства для детей. Лучшие его сказки, шутки, забавные истории, стихотворные и прозаические, составили его первую книжку «Чудаки», вышедшую в 1971 году в Ленинградском отделении издательства «Детская литература». И хотя адресована она ребятам младшего школьного возраста, думаю, охотно прочтут ее и читатели постарше.

Вспомнил, как радуются наши дети, да и мы, взрослые, вместе с ними, когда читаем: «Жил человек рассеянный на улице Бассейной...». И зная наперед, все же с удовольствием предвкушаем рассказ об удивительно смешных историях, происходящих с милым, чудаковатым и любимым всеми героем Самуила Яковлевича Маршака.

А не сродни ли нашему старому знакомому, «человеку с улицы Бассейной», чудаки Олега Григорьева?

Вот этот, например:

Дачник взял кошелек и корзину,
В лес пошел покупать малину.
Вернулся домой, не принес ничего:
Ягоды есть, продавцов — никого!

А человек с зонтом в стихотворении «Дождь», или лудильщик в прозаической шутке «Кровать», или герои очень странной истории под названием «Лестница»? Среди чудачков и любитель маков в стихотворении «Букет», которое открывает книжку Олега Григорьева.

Любитель маков приходит к продавцу маков, но продавец, кстати не менее чудачковатый, чем покупатель, решил в этот день переквалифицироваться в продавца раков на том лишь основании, что «вареный рак красен, как мак». «По-моему, так, а по-вашему как?» — спрашивает он покупателя.

— Да, это так, —
Сказал любитель маков, —
Хоть я и не любитель раков,
Но коль сегодня маков нет,
То дайте раков мне букет.

Чудак — образ, любимый детьми. Потешаясь над несообразностями действий неумелого, забывчивого, рассеянного человека, маленький читатель, будучи тщеславным по натуре, не может удержаться от радостного ощущения собственного превосходства над таким человеком. Любит этот образ и Олег Григорьев, поэтому большинство стихов книжки — о чудачках, поэтому название книжки — «Чудаки». Но образ чудака не единственный у молодого автора.

Смешные, озорные истории сменяются стихотворными и прозаическими размышлениями о чувстве долга («Почтальон»), смелости («Заступник», «Трус»), аккуратности («Порядок»), гостеприимстве («Радужный хозяин», «Гостеприимство»), жадности («Апельсин»). В этих стихах и прозаических историях Олега Григорьева подкупает то, что поучительность их не назойлива, они лишены излишней назидательности и написаны живо и с юмором.

Правда, наряду с такими встречаются в книжке и стихи, в которых юмор переходит в иронию. Наиболее показательны в этом отношении стихотворения «Яма» и «Бак».

Вот построенное, как и многие стихи Олега Григорьева, в форме диалога стихотворение «Яма»:

— Яму копал?
— Копал.
— В яму упал?

- Упал.
- В яме сидишь?
- Сажу.
- Лестницу ждешь?
- Жду.
- Яма сыра?
- Сыра.
- Как голова?
- Цела.
- Значит, живой?
- Живой.
- Ну, я пошел домой.

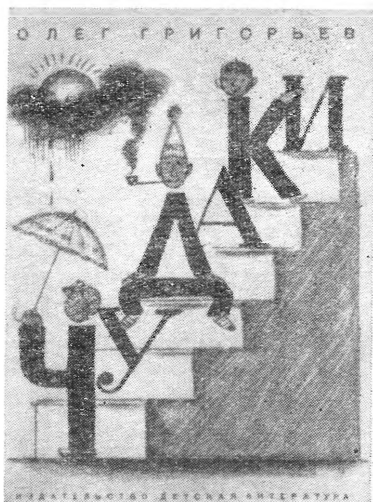
Но подчас ирония стихов Олега Григорьева малодоступна, на мой взгляд, детскому восприятию. Примером тому служит стихотворение «Бак»:

В бак налили кипяток.
 Бак закрыли на замок.
 Точно сейф, тяжел наш бак.
 Не поднять его никак,
 Сбоку кружка на цепи:
 «На, попробуй отцепи».
 Бак запаян, замурован,
 Ввинчен в пол, к стене прикован,
 Остается к баку
 Привязать собаку.

В книжке «Чудаки» есть стихи надуманные и претенциозные, малоудачные («Былина», «Стаканы», «Дрожащие стихи»), но их немного.

В основном же стихи Олега Григорьева отличаются точностью, лаконизмом, умением подчеркнуть самое главное в предмете, музыкальностью. Во многих из них присутствует игровой элемент. В каждом стихотворении, в каждой прозаической шутке Олега Григорьева есть действие. Такие стихи, как «На собрании», «Разбили», «Моряк», «Букет», «Велосипед», построены автором на игре слов. И конечно, в книжке много юмора, много смешных, озорных стихов. Одним из них, небольшим стихотворением «Наоборот», я закончу свою небольшую рецензию на первую книжку Олега Григорьева:

Человек шел спиной назад.
 Ногами назад и затылком назад.



А может, он шел вперед?
Вперед, только наоборот.

Остается добавить, что оформил книжку «Чудаки», чем безусловно способствовал ее успеху, художник В. Гусев, многочисленные красочные рисунки которого выполнены доступным и понятным ребенку художественным языком, отличаются простотой и мягким юмором.

А начинается книжка небольшим предисловием — обращением к маленькому читателю. Написала его известная ленинградская поэтесса Е. Серова.

Н. АЛЕКСЕЕВА

Далеко до апреля

(Алла Драбкина. Далеко до апреля. Повести и рассказы.
Л., 1971)

Перед нами первая книга Аллы Драбкиной «Далеко до апреля», и можно уверенно сказать: в литературу вошел интересный писатель со своими темами и героями. Со своим видением жизни.

Алла Драбкина действительно молода, но в ее книге явственно ощущаем жизненный опыт. Издательство предпослало книге маленькое вступление: «Алле Драбкиной 25 лет. Она родилась в Ленинграде. Детство ее прошло на Псковщине. После окончания школы работала на Сталепрокатном заводе, училась в Театральном институте». Каждое из этих лаконичных предложений в книге расшифровывается определенной темой.

Можно было бы и не сообщать, что детство А. Драбкиной прошло на Псковщине. Об этом свидетельствует то, с каким знанием и любовью пишет она о псковской деревне. А скупое упоминание в аннотации: «...работала на Сталепрокатном заводе» раскрывается повестью «Охтинский мост» о молоденькой девушке, после школы пришедшей на завод.

Наиболее тонко и органично дарование Драбкиной раскрывается в ее «деревенских» рассказах. Слово «деревен-

ские» взято в кавычки преднамеренно. Потому что рассказы Драбкиной нельзя квалифицировать как «деревенскую прозу» в устоявшемся в критике понятии.

Книга открывается рассказом «Семеновна», названном по имени героини.

Вот идет Семеновна по деревне. обстоятельно толкует с попадающимися ей навстречу людьми. Желает «бог в помощь» работающим в поле, с достоинством принимает подарок, степенно благодарит за хлеб-соль. Через некоторое время читатель догадывается, что Семеновне шесть лет, а в самом конце рассказа выясняется, что зовут ее Леночкой (чему немало удивляется и сама героиня). А Семеновной прозвали девочку за то, что «она «Семеновну» горазд добро играет». Маленькая девочка, воспитываемая у бабушки, и впрямь напоминает степенную рассудительную женщину.

Девочка усвоила и говор и понятия взрослых. Знает, что нельзя бегать по травке, как предлагает городская подружка, потому что тогда траву «косить худо будет». С чувством превосходства объясняет ей, что детей находят не в капусте. Семеновна — это уже характер, индивидуальность, личность. Она по-детски поэтически видит мир. Жизнь среди взрослых, среди природы позволяет ей в раннем детстве познать многие вещи, о которых городские дети узнают гораздо позже.

Семеновна шаг за шагом открывает для себя сложный мир взрослых, думает о нем, размышляет. Старая, казалось бы, тема открытия мира ребенком обернулась у Драбкиной по-своему.

Драбкина на все смотрит и все видит глазами маленькой героини. И только в последней, заключительной фразе открыто зазвучит авторский голос. И этот прием резкого смещения восприятия усиливает эмоциональное воздействие рассказа.

«Семеновна» датирована 1963 годом. Она была написана почти десять лет тому назад. Дата эта может лишний раз подтвердить, что талант, если он есть, может раскрыться и в самом юном возрасте.

Деревенской теме посвящены и рассказы «Летят перелетные птицы», «Фроська приехала», «Примака». Образы работающей, всегда готовой к доброму делу, немногословной, преданной Фроськи и упрямой, своенравной, отнюдь не безответной бабки, которая, как перелетная птица, каждую весну возвращается в родную деревню, — по праву продол-

жают традиционную тему нашей литературы: тему русской деревенской женщины-труженицы.

Чтобы рассказать о своих героинях (любовь к ним писательницы звучит в каждом слове), Драбкина находит удивительно точные и выразительные слова. Вот бабка после долгих сборов, писем в деревню, приготовлений гостинцев для родни приезжает на вокзал:

«...бабка стоит неподвижная и отчужденная, вся поглощенная предстоящей встречей с родиной. Ей не до нас. В несколько заходов вносим в вагон ее вещи, распихиваем по полкам и торопливо целуем ее в пестрое, как сорочье яичко, лицо. А она уже не видит нас

и, наверное, негодует, что мы все не уходим, а стоим на перроне, и стучим ей в окошко, и мешаем думать. Наконец поезд трогается. И ее тревожное лицо мерцает из темного вагона, как светлый лик на старой засиженной мухами иконе».

Драбкина умело строит диалоги. Они играют существенную роль в построении ее произведений. Но это диалоги именно прозы. Тут весьма существенны ремарки. Они нагнетают, усиливают напряжение диалога и в то же время оттеняют авторское отношение к героям.

«— Где шпиг взяла? — спросила бабка Матрена.

— А люди добрые на что? — гудела Фроська.

— Халтама, — ругалась бабка Матрена, — опять в долги небось залезла?

— Что мы, плохо живем или мало кому должны? — гремела Фроська».

Надо сказать, что образ далекой деревни отголоском прозвучит и в других, сугубо городских, повестях Драпкиной.

Теме открытия мира посвящена повесть «Пятнадцать



лет мне скоро минет...» Только здесь мир познает не шестилетняя девочка, а подросток, ученица седьмого класса Маша Сухова. Повесть строится в виде дневника, в который Маша, мечтательница и книжница, вносит свои первые жизненные наблюдения. Обиды в этом возрасте переживаются как смертельные. Радости и первые разочарования незабываемы. Перед читателем проходит процесс воспитания чувств, формирование личности, человеческого характера с обостренным восприятием добра и несправедливости.

Надо сказать, что эта повесть во многом уступает другим произведениям книги. И хотя Драбкина и затрагивает в ней острые вопросы современной школы, вся система художественных образов кажется несколько заданной и неорганичной. Однако следует оговориться: требования к молодой писательнице были бы меньше, если бы своими рассказами Драбкина не доказала, что талант ее может раскрыться значительно ярче и самобытнее.

Повесть «Охтинский мост» посвящена той же теме, что и «Пятнадцать лет мне скоро минет...».

Опыт писательницы позволил рассказать о жизни современного завода, передать ощущение девушки, впервые перешагнувшей порог непонятого, грохочущего цеха. И далее — процесс нравственного мужания, повзросления. Открытие порою горьких истин. Превращение чуть восторженной мечтательницы, воспринимающей жизнь по книгам, во взрослую женщину, для которой уже сама жизнь начинает понемногу приоткрывать свои истины.

Конечно, многие могут заметить, что тема молодой героини, пришедшей на завод, который сформирует затем ее как личность, далеко не нова в литературе. Все это так. Но уже давно всем известно, что в искусстве важно не только *что*, но и *как*. Драбкина так живо и непосредственно пишет свою героиню, так богата и интересна ее духовная жизнь, что следить за перипетиями этой жизни увлекательно и поучительно.

Прочитана последняя повесть, завершающая книгу. Мы не нашли в ней произведения, давшего название всему сборнику. Далеко до апреля — все еще впереди у юных героинь книги. Все впереди и у писательницы, которая ненамного старше своих героинь, но уже так ярко заявила о себе первой книгой.

Е. ХОЛШЕВНИКОВА

Ветры странствий и дым отечества

(Александр Городницкий. Атланты. Л., 1967; Новая Голландия, Л., 1971)

Творческая судьба Александра Городницкого складывалась своеобразно. Его уже знали как поэта до выхода в свет первого сборника «Атланты» в 1967 году. И отнюдь не по журнальным и газетным публикациям, которыми он не был избалован. Исключение, пожалуй, составляют песня «Атланты» и некоторые другие песни, публикуемые в молодежных изданиях, прежде всего в вузовских многотиражках и в газетах студенческих строительных отрядов.

Почему же молодые читатели так настойчиво просили печатать песни Городницкого? Потому, что они их пели повсеместно — и в туристических походах, и на праздничных демонстрациях, и просто в дружеском кругу. И не всегда наизусть знали полный и правильный текст. Теоретики, мнимые и настоящие, были единодушны: это туристские песни. Социологи добавляли: рожденные в неформальных

группах, а гитара — это семиотический знак... Музыковеды, говоря о современной гитарной песне, отмечали профессиональные ошибки — в гармонии, в композиции. А молодежь — пела, приняв сразу песни эти за свои... Пела чаще и охотнее, чем многие, более эффектные на первый взгляд, «туристские» новинки. Здесь самое время сказать, что термин «туристские», неточный сам по себе, в отношении Городницкого и неуместен. Традиционные туристские мотивы дальней дороги, расставаний, развлекательность, бравада мнимой всесторонней независимостью — все



это чудачества юности. Стихи же Городницкого, звучащие, а возможно, и написанные «под гитару», — поэзия современная во всем значении этого слова. Поэзия весьма своеобразная, которой ее камерность не мешает подниматься до хорового пения во весь голос гражданственности. Таковы, например, «Атланты». Война и мир, труд и красота, обновленное современностью предание, публицистичность и маршевый ритм стиха, изустная легкость синтаксиса — и все это в сравнительно коротком стихотворении, в котором заложена простая чеканная запоминающаяся мелодия. Я помню, как пела «Атлантов» колонна студентов Ленинградского университета на одной из первомайских праздничных демонстраций. . .

Проследим природу романтики стихов Городницкого. Почему она повлекла за собой песню, а песня привлекла и собрала большую аудиторию? Для начала ответим на вопрос, какая это романтика. Это романтика рядовых армии геологов, геофизиков, топографов, которых профессия, любимая суровой любовью, рассылает во все концы страны и света:

В промозглой мгле — ледоход, ледолом,
по мерзлой земле мы идем за теплом,
за белым металлом, за синим углем,
за синим углем — не за длинным рублем.

Поэту, написавшему строки, которые сами поются, веришь, когда он мужественно ждет вестей из далекого города («Ты мне письмо послать рискни-ка, хоть это все, конечно, зря. . .»); когда кроет на чем свет стоит речные перекаты, которые мешают поисковой партии выйти наутро к большой реке; когда он в маленькой гостинице в пургу подпекает летчикам «песню грустную» («Кожаные куртки»); когда он превозносит «деревянные города», противопоставляя их обжитым каменным громадам больших городов, и, заброшенный судьбой и профессией в Канаду, потрясенный короткой разлукой с Родиной, стремится найти в этой далекой стране черты России. Так неволью мы назвали лучшие песни поэта.

Разумеется, называть Городницкого песенником неправомерно. Его творчество не ориентировано на эстрадно-концертную площадку, куда его песни, если и попадают, то лишь после того, как прозвучат в молодежном отряде.

Во втором своем сборнике поэт больше обратится к «чистым» стихам, которые вообще-то спеть можно, но лучше прочесть наедине с книгой. В первом сборнике таких «чистых» стихов было немного. Особенно запомнилось одно — о паруснике, — не какой-то бригантине, а научно-исследовательском корабле, который помог поэту и нам яснее ощутить века минувшие. Из этого стихотворения во втором сборнике вырастает цикл «Ночная вахта», написанный на борту исследовательского судна «Дмитрий Менделеев», что подтверждает нашу догадку. Стихи цикла воспринимаются как дневниковые записи, записи стихотворные, но, к сожалению, не всегда поэтические. Пожалуй, самостоятельную ценность имеют «африканские» стихи — «Остров Горé», «Черная мадонна», «Гонка пирог» и стихотворение «Человек за бортом». Здесь Городницкий делает важный для себя вывод: «Так не спи, как сигнальщик на вахте, поэт: в целом мире нужнее профессии нет...» В «африканских» же стихах мы встречаем глубокое понимание судеб черного континента, обогащаемся поэтическими подробностями, вдохновившими автора, для которого в названии острова Горé слышится «знакового слова чужой оборот, как будто на местный язык перевод привычного русского «горе». Африка и вообще путешествие на «Дмитрии Менделееве» в южных широтах научили Городницкого искусству цветописы — «цветные» эпитеты отныне не простое украшение стихотворной строки, а нервный ее центр: «Ах, черная Африка, остров Горé! *Ржавяющих* пушек немое каре над *сним* огнем океана».

Однако ветер странствий все чаще доносит дым отечества, и тогда выясняется: «Остров мой родной Васильевский» — не остров, а добрый материк, что не открыт пока, и преодолимая сила влечет на улицы детства, к Новой Голландии или же в тихий Маленец «к тайнствам его прибрежных ягод», к доброму покою Родины. И если поэма «Новая Голландия» не состоялась по причине фрагментарности и отсутствия единого логического стержня, то стихотворение «Маленец» подтверждает поэтическую зрелость поэта:

Я еще приеду, Маленец,
к ласковым дорогам деревенским,
погрустить над убиенным Ленским,
о себе подумать наконец.

Н. СОТНИКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Алексей Полищаров.</i> У памятника под Херсоном, Ладога, «По Неве голубая прохлада...», «Расскажи, по какой из дорог...», «За антеннами, за водопоем...». <i>Стихи</i>	5
<i>Галина Христофорова.</i> Такая долгая осень. <i>Повесть</i>	8
<i>Юрий Красавин.</i> Ягода, Клятва, Секрет, Памяти А. Е. Решетова, Дыня, «К соловьям залетают синицы...». <i>Стихи</i>	52
<i>Борис Водопьянов.</i> Два рассказа	56
<i>Нина Погодина.</i> Из цикла «Ладбога». <i>Стихи</i>	74
<i>Александр Вац.</i> Переправа через Свирь. <i>Стихи</i>	77
<i>Ганна Немирко.</i> Про Шекспира, фланцы и русалку. <i>Маленькая повесть</i>	79
<i>Николай Чехов.</i> «Как хорошо, что вечер вызвездил...», <i>Спальня. Стихи</i>	96
<i>Елена Иганова.</i> «Даже в дружбе нужна двуличиесть...», <i>Урок. Стихи</i>	98
<i>Юрий Шигашов.</i> День далекого детства. <i>Рассказ</i>	100
<i>Евгений Феоктистов.</i> «Три стога — три богатыря...», «Когда мелькают весла над волнами...». <i>Стихи</i>	115
<i>Герман Сабуров.</i> Карельская дудка, «Как жить нам, людям, на земле...», «Мы уничтожили бугры...» <i>Стихи</i>	117
<i>Анатолий Петухов.</i> «Мы спали на травах...» <i>Стихи</i>	120
<i>Валерий Холоденко.</i> Мир на двоих. <i>Рассказ</i>	121
<i>Геннадий Алексеев.</i> Настырные, О пользе вязания, Лучшее стихотворение. <i>Стихи</i>	140
<i>Макс Дахле.</i> На выставке Нади Рушевой. <i>Стихи</i>	143
<i>Семен Хануков.</i> Каюр. <i>Рассказ</i>	145
<i>Михаил Матренин.</i> «Велосипедисты...», «О том, что больше никогда...» <i>Стихи</i>	153
<i>Михаил Гутман.</i> Письмо другу, «Винты вгрызались...», «Журавлиным клином...» <i>Стихи</i>	155
<i>Владимир Насущенко.</i> Два рассказа	158
<i>Юрий Оболенцев.</i> Затвор № 20 403, Тайга не сразу открывается. <i>Стихи</i>	173
<i>Владимир Кавторин.</i> Мокрое утро. <i>Рассказ</i>	176
<i>Герман Цветков.</i> Лось. <i>Стихи</i>	185
<i>Олег Юрков.</i> «Слежу за уходящим мартом...», <i>Домой. Стихи</i>	187
<i>Виктор Перепелка.</i> Проездом. <i>Рассказ</i>	189
<i>Сергей Вольский.</i> «Заката розовый платок...», «Град Палех. Русские умельцы...», <i>Нежность. Стихи</i>	209
<i>Леонид Замягин.</i> «Только камень, да куст облепихи...» <i>Стихи</i>	211
<i>Владимир Губин.</i> У нас в механическом цехе. <i>Короткие рассказы</i>	212

Игорь Фролов. Песня на Литейном, Земля, «Зарос тростником и рогозом...» <i>Стихи</i>	227
Юрий Колкер. Вифлеемская часовня в Праге, «На Гражданском проспекте весна...» <i>Стихи</i>	230
Ирина Габуева. Натурищица. <i>Рассказ</i>	232
Владимир Беспалько. «В такое верится не сразу...», Пригород, «Восходит солнце над землей...» <i>Стихи</i>	241
Анатолий Степанов. Венера, работа и мы. <i>Рассказ</i>	243
Наталья Дзибель. Мой август. <i>Стихи</i>	247
Михаил Мишин. Юмористические рассказы	248
Владимир Ардамацкий. Клоун. <i>Стихи</i>	254
Александр Жигинский. Веселые страницы. <i>Рассказы из жизни</i>	256
Александр Магюшкин-Герке. «Как-то вечером поздним...», «Дружеских не слушая советов...», «Снится мне, что в рубище убогом...», «Я прожил, братцы, жизнь суровую...», «С корзиной в пригородный лес». <i>Литературные пародии</i>	268
Владимир Алексеев. Дорожные этюды	272
Статьи и рецензии: <i>Г. Силина</i> , «Звездинцы». <i>И. Сергеева</i> , Не краской, не кистью. <i>Н. Пантелеймонов</i> , «Русь моя, краса моя...» <i>Н. Алексеева</i> , Человек шел спиной назад... <i>Е. Холшевникова</i> , Далеко до апреля». <i>Н. Согников</i> , Ветры странствий и дым отечества	283

Оформление: *В. Шульга*

Иллюстрации: *Ю. Шабанов, С. Остров, С. Захарьянц,
Б. Дышленко, В. Шульга*

«МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД», 1972

Альманах

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1972, 312 стр. План выпуска 1972 г. № 4. Редактор *П. И. Кочурин*. Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*. Техн. редактор *З. Г. Игнатова*. Корректор *И. Г. Клейнер*. Сдано в набор 19/VI 1972 г. Подписано в печать 5/IX 1972 г. М 54969. Бумага 60×84¹/₁₆, № 2. Печ. л. 19¹/₂ (18,14). Уч.-изд. л. 14,03. Тираж 15 000 экз. Заказ № 874. Цена 66 коп. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзно-республиканского Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Красная ул., 1/3.